Изображение
обложки
отсутствует

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Всю жизнь я пишу одну книгу вне зависимости от жанра, того или иного отрывка этой книги: научная статья или монография, рецензия, очерк, повесть, рассказ, роман и т. д.

Я прекрасно понимаю, что не смогу эту книгу закончить. Вот писать ее я перестану только тогда, когда завершится моя жизнь.

О чем эта книга? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос.

Во всяком случае, это попытка следовать призывам двух великих писателей: английского — Джорджа Оруэлла, восставшего против двоемыслия, и русского — Александра Солженицына, своим творчеством и жизнью показывающим пример жизни не по лжи.

В предлагаемой читателю книге я собрал несколько повестей и рассказов, некоторые из которых были опубликованы в России, Латвии, Франции и Израиле, а большинство написаны за последние годы в Англии и еще нигде не печатались.

Г.Б.Фёдоров.

Содержание:

Предисловие (*Владимир Шахиджанян*)
Дорогой наш ГэБэ (*Юлий Ким*)
Свеча не погаснет (*Марк Харитонов*)
От автора.
Дезертир.
Татьяна Пасек.
«**За Непрядвой лебеди кричали**…».
Обречённая.
Басманная больница.
Брусчатка.
Аллея под клёнами.
Послесловие (*Марианна Рошаль-Строева*)

- Георгий Фёдоров
  - Предисловие
  - Дорогой наш ГэБэ
  - Свеча не погаснет
  - От автора
  - Дезертир
  - Татьяна Пасек

    - "За Непрядвой лебеди кричали…"
    - Обреченная
    - Басманная больница
    - Брусчатка
    - Аллея под клёнами
    - Послесловие
- notes
    -

Георгий Фёдоров

Брусчатка

Предисловие

10-го июня 2007 года я приехал в гости к Майе Рошаль.

Она же Марианна Григорьевна Рошаль.

Она же Марианна Рошаль-Строева.

Она же Марианна Рошаль-Федорова.

Первый раз Майю Рошаль я увидел в 1955 году. Мне было тогда 15 лет.

Майя Рошаль (все привыкли звать ее Майя) — дочь Григория Львовича Рошаля и Веры Павловны Строевой.

Григорий Львович Рошаль, в его семье я длительное время воспитывался, довольно известный режиссер советского кино. Он снял «Петербургские ночи», «Господа Скотинины», «Римский-Корсаков», «Академик Иван Павлов», «Мусоргский», «Вольница», «Хождение по мукам» и др. фильмы, написал книгу «Кинолента жизни», явился одним из основателей детских театров в СССР, был учителем и наставником многих талантливых режиссеров, долгие годы руководил кинолюбительством в СССР, преподавал во ВГИКе.

Вера Павловна Строева, его жена, поставила фильмы «Сердце России», «Полюшко поле», «Марите», «Хованщина» и др.

Когда родилась Майя, они спорили, какую фамилию ей дать и с трудом добились в ЗАГСе двойной фамилии — Рошаль-Строева.

Когда Майя вышла замуж (а с Майей мы на ты), то ее муж, в то время начинающий археолог, Георгий Федоров захотел, чтобы жена носила его фамилию. С трудом добились поменять фамилию на Рошаль-Федорову.

Майя родила двоих детей. Веру и Михаила. Оба носили фамилию Рошаль-Федоров.

Дочь Верба, так ее звали все, стала искусствоведом. Сейчас живет в Израиле.

Михаил Рошаль-Федоров закончил полиграфический институт, художественный факультет, стал известным книжным графиком, увлекся концептуализмом. Его произведения высоко были оценены как в России, так и за ее пределами. Умер Михаил Рошаль-Федоров несколько месяцев назад в возрасте пятидесяти лет.

Майя Рошаль приехала в Россию посмотреть внуков, встретиться с друзьями, побывать на могиле сына, а также начать подготовку его выставки.

Я приехал на чашку чая к Майе Рошаль с моим сыном Сергеем. Мы просидели у нее в квартире на Ленинском проспекте

три часа.

Майя показала мне редкие фотографии. Среди них и эту.

В годы войны Майя вместе с семьей была эвакуирована в город Алма-Ата. Сергей Михайлович Эйзенштейн снимал в то время «Ивана Грозного». Майя работала у него помощником режиссера. Жили Рошали в одном доме (между собой его называли «лауреатником») с С.М. Эйзенштейном. Назвать их жилище домом можно с большой натяжкой. Одну комнату занимал Сергей Михайлович, другую — Г.Л. Рошаль и В.П. Строева с дочерью Майей. В третье, четвертой и пятой комнатах жили тоже известные кинематографисты.

Майя и Сергей Михайлович Эйзенштейн родились в один день. Сергей Михайлович родился 23 января 1898 года, а Майя появилась на свет 23 января 1925 года. Дни рождения, начиная с Алма-Атинского периода, а потом и после войны, они часто отмечали вместе. Сергей Михайлович Эйзенштейн был одиноким человеком.

Майя подарила мне книгу «Брусчатка» Георгия Федорова, которого я тоже знал с 1955 года.

Жора Федоров, известный археолог, талантливый ученый, правозащитник, энциклопедически образованный человек, хороший писатель, умер несколько лет назад в Лондоне — там они жили с женой последнии годы. После смерти мужа Майя осталась в Лондоне.

В моей библиотеке хранится «Инструкция по ведению полевых археологических работ», написанная Георгием Федоровым совместно с Павлом Бырня в 1958 году и первая книга Г. Федорова «Дневная поверхность» с дарственной надписью.

«Брусчатка» издана в 1997 году. Я прочел ее практически за ночь. Умная, добрая, талантливая книга. Я решил ее опубликовать на нашем сайте. Почему?

Во-первых, это интересная книга, во-вторых, это люди, с которыми связана моя юность, в-третьих, мне представляется, что

имя Георгия Борисовича Федорова незаслуженно забыто сегодня. И, возможно, молодым историкам, литераторам познакомиться с «Брусчаткой» будет полезно.

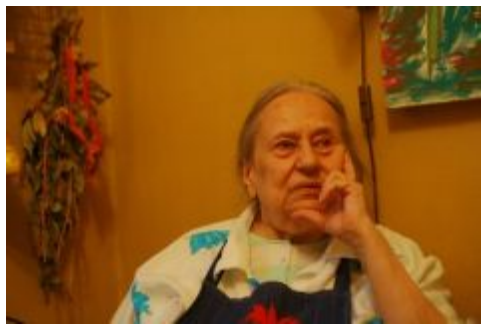
Я рассматриваю фотографии, сделанные моим сыном Сергеем Шахиджаняном. Четыре из них публикую здесь и вспоминаю 50-е годы, когда жил в доме Григория Рошаля на Большой полянке, вспоминаю свои долгие разговоры с Георгием Федоровым, Майей Рошаль, фильмы, снятые ей: «Белый пудель», «Улица космонавтов» и др.

Оказывается, мы с Сергеем приехали к Майе в особый день — день, когда у нее родился третий правнук.

О многом мы поговорили в тот день.

Мне будет приятно, если Вы прочтете книгу Георгия Федорова. Познакомитесь со вступительными статьями поэта Ю. Кима и писателя М. Харитонова, окунетесь в прошлое нашей страны и, может быть, задумаетесь о ее настоящем и будущем.

Владимир Шахиджанян и Марианна Рошаль, 10 июня 2007



Марианна Рошаль, 10 июня 2007

Владимир Шахиджанян и Марианна Рошаль, 10 июня 2007
Фото Сергея Шахиджаняна

Ваш Владимир Владимирович Шахиджанян.
Опубликовано 30 июля 2007

Дорогой наш ГэБэ

Слово «гэбэ» всегда означало «госбезопасность». Посему произносилось с отвращением (как и производные от него: «гэбисты», «гэбешники»). Но для некоторого, причем весьма широкого, крута существовал еще и ононим, который был еще и антоним, то есть произносился с чувством прямо противоположным: «Гэбэ» — «Георгий Борисович» — Г.Б.Федоров. «Вчера славно посидели у ГэБэ… У ГэБэ в экспедиции было замечательно… Звонил ГэБэ, зовет к себе…» Многие звали его «Жора», хотя он был немолодым и вполне почтенным и к фамильярности не располагал, но говорилось так не из панибратства, а по особенной нежности к нему — как произносили «Дэзик», говоря о Давиде Самойлове. Да уж какая там фамильярность: ученый, археолог, доктор наук, писатель… Встречал гостей он, как правило, лично и неизменно ласково, и я все ждал каждый раз, когда дело дойдет до беседы, потому что вот тогда глаз его разгорался, и, зацепившись Бог знает за какой повод, за случайное имя или слово, Георгий Борисович начинал очередной рассказ — о человеке, о событии, — всегда неожиданный рассказ, интересный, захватывающий подробностями. Не имею представления, какой он был историк-археолог, об этом другие расскажут, но вот что касается писательства его — он просто не мог не быть писателем: такое множество историй он знал, настолько богата была его жизнь людьми и событиями. И он мог и любил часами перебирать бесчисленные сокровища своих воспоминаний. Он даже о своих восьми инфарктах и легочных отеках говорил с некоторой добродушной похвальбой, и ни разу не замечал я за ним ни тени трагической печали, которая свойственна бывает инфарктникам.

Из его рассказов люблю вспоминать, как он объяснялся с будущей женой. Дело было в 45-м году. Он отвел ее за локоток в сторонку, чтобы сказать очень серьезную речь. «Вам известны мои чувства к вам, — сказал он, — но прежде чем сделать вам предложение, я обязан открыть вам о себе важную тайну: я ненавижу Сталина».

Молодая красавица Майя Рошаль простила ему этот грех — хотя и была потрясена, еще бы…

Он рано прозрел и, может быть, потому, при его активной натуре и живом интересе к жизни, ушел в археологию. Однако, едва наступили времена новейшей ежовщины, то бишь андроповщины, Георгий Борисович в стороне не остался и, как мог, помогал диссидентам. Когда в Москве припекало, многие из

них спасались у ГэБэ в археологическом поле: и Виктор Хаустов с Верой Дашковой, и Вадик Делоне с Ирой Белогородской, и Сережа Генкин, и Гера Копылов, и Илья Габай…

Вот это-то оно самое и есть, главное в Георгии Борисовиче, что сразу приходит на ум при его имени, — то, что он обладал редчайшим даром сердечной привязанности к людям. Не поверхностное радушие, а именно привязанность, когда человека помнят со всеми его проблемами и расспрашивают не для проформы, а со вниманием, и, полюбив, прощают и стараются не замечать многое, что любить никак невозможно.

— Дом Георгия Борисовича и Майи. Он весь в нашей памяти — с иконами, с тарелками расписными, с битком набитыми книжными полками — теплый, гостеприимный дом…

Юлий Ким, поэт

Свеча не погаснет

Георгий Борисович Федоров был прирожденным рассказчиком, с удивительной памятью. Слушать его можно было без конца, и многие из рассказанных им историй теперь узнаешь, листая эти страницы. А сколько сюда еще не вошло — и в какие тома можно вместить эту разнообразную, богатую жизнь, насыщенную событиями, размышлениями, а главное, встречами с превеликим множеством людей?

Людьми он был окружен постоянно. Его открытый, гостеприимный дом казался всегда полон. Тут можно было встретить историков, археологов, экспедиционных рабочих, с которыми Георгий Борисович был связан профессией, (а среди этих рабочих оказывался и поэт, и доктор физико-математических наук, которых он приглашал в экспедиции по дружбе), и литераторов, к числу которых хозяин дома также принадлежал, и людей самых неожиданных, с которыми Федоров знакомился в больнице или просто в пути, давал свой адрес, а иногда и приют, помогал в непростых делах — он это умел.

Потому что главным талантом Г.Б.Федорова, писателя, историка, видного археолога, был, конечно, талант человеческий. Он раскрывался порой по-особому в обстоятельствах той жизни, о которых повествуют его рассказы. Эти обстоятельства бывали не просто тягостны — противоестественны, унизительны, бесчеловечны. Доброта, сострадание, простая порядочность иногда оказывались наказуемы; чтобы их проявить, требовались душевные силы.

Про одного из друзей Федорова на этих страницах сказано: бывают времена, «когда просто для того, чтобы быть и остаться порядочным человеком, требуется огромное мужество». Георгию Борисовичу, как и его другу, хватило этого мужества на всю жизнь. Читая воспоминания о событиях нашей не такой уж давней, жуткой, постыдной истории, о бесчинствах оккупантов в Литве, унижениях солдатской службы, об ужасах коллективизации и ГуЛАГа, о всеобъемлющей, всепроникающей, разъедающей лжи, о мерзейшем государственном антисемитизме, растлившем даже иных из тех, кто имел звания профессорские и академические, всякий раз задаешься вопросом: как могли в этом отравленном воздухе (а ведь я тоже — один из тех, кто от рождения дышал им) сформироваться люди не просто полноценные — достойные, взрастившие в себе и сохранившие «душу живу»? Г.Б.Федоров поминает в рассказах тех, кто не выдержал изощренного давления этой системы, сломался

морально, стал ее соучастником. А сколько сломалось физически, было попросту уничтожено!

Однако с истинным почтением и благодарностью выводит он на этих страницах людей, чьи доверительные (по тем временам рискованные) разговоры, оценки, суждения, собственные человеческие свойства, жизненное поведение помогли ему стать действительно самим собой. Г.Б.Федорову повезло на такие встречи, как, пожалуй, немногим.

И вот он передает теперь нам, знавшим его или читающим эти истории, частицу того, что перенял, усвоил, испытал, понял в своей многообразной и многотрудной жизни.

Археолог Алексей Петрович Смирнов, один из тех, у кого Федоров имел чему поучиться, неожиданно сказал ему перед смертью в больнице:

— Мне есть кому передать свечу… А вам есть кому?

— Есть, — ответил Георгий Борисович после короткого замешательства. — Свеча не погаснет.

Марк Харитонов писатель, лауреат Букеровской премии

От автора

Nibil est populare quam bonitas.

Всю жизнь я пишу одну книгу вне зависимости от жанра, того или иного отрывка этой книги: научная статья или монография, рецензия, очерк, повесть, рассказ, роман и т. д.

Я прекрасно понимаю, что не смогу эту книгу закончить. Вот писать ее я перестану только тогда, когда завершится моя жизнь.

О чем эта книга? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос.

Во всяком случае, это попытка следовать призывам двух великих писателей: английского — Джорджа Оруэлла, восставшего против двоемыслия, и русского — Александра Солженицына, своим творчеством и жизнью показывающим пример жизни не по лжи.

В предлагаемой читателю книге я собрал несколько повестей и рассказов, некоторые из которых были опубликованы в России, Латвии, Франции и Израиле, а большинство написаны за последние годы в Англии и еще нигде не печатались.

Я не философ, не социолог, не политолог. Я археолог, свыше полувека изучающий летописи, хроники, грамоты, договора, ведший раскопки памятников различных времен и народов во многих местах России, Украины, Прибалтики, Средней Азии, Молдавии, Румынии и т. д.

За это время я встречался со множеством наших предков и современников самого разного возраста, характера, социального и профессионального положения и т. д. Именно потому, что я археолог-эмпирик, я воспринимаю не только историю, но и окружающий меня мир не через какие-то учения, партии, другого рода организации, идеологии, структуры, системы, а через конкретных личностей, которые одни только и возбуждают во мне определенные чувства и мнения. Помню, в мае 1961 года в Риме я увидел на улице приехавшую с визитом в Италию английскую королеву Елизавету II. К ужасу приставленного к нашей группе московских археологов кгбистского стукача, я во все горло стал кричать «Да здравствует королева!» и даже обратил этим внимание (впрочем, вполне доброжелательное) кое-кого из толп итальянцев, приветствовавших королеву. Мог ли я считать тогда себя монархистом? Да, если королева английская; да, если это Елизавета II. В этом случае: да, да, да. То же мог бы я сказать о себе, если бы речь шла о короле Дании Христиане (ведь король с желтой шестиконечной звездой на одежде —

дважды король), или испанском Хуане Карлосе II. Однако, в применении к целому ряду иных монархов, мой ответ мог бы быть столь же категорически отрицательным.

Повторяю, мир и историю я воспринимаю только через конкретные личности. И мое внимание привлекают прежде всего такие люди, которые своей деятельность, а иногда и просто самим фактом своего существования препятствуют торжеству зла, находясь в любых, даже самых экстремальных ситуациях сохраняют человечность и создают вокруг себя соответствующую ауру. Вот именно о таких людях, в частности о моих учителях (не только археологии, но и жизни) и идет прежде всего речь в этой книге.

Все повести и рассказы документальны, открыто автобиографичны. Я старался быть предельно точным даже в самых мельчайших деталях, лишь иногда вполне сознательно изменяя имена персонажей из заботы об их безопасности, так как я убежден, что тоталитарные структуры в России в настоящее время лишь слегка закамуфлированы (и то не всегда), но не разрушены и не потеряли своей зловещей силы, а они никогда ничего не прощают и не забывают.

Думаю, что выбор для книги небольшой документальной повести «Дезертир (Из записок оккупанта)», посвященной советской оккупации Литвы 1940–1941 годов, оккупации, в которой к несчастью и мне пришлось принять участие, в специальных комментариях не нуждается. Замечу только, что с юности мне было чуждо имперское мышление в любых его формах — от киплинговского понимания как высокого служения долгу, согласно предназначению свыше, до зверовидного немецкого национал-социалистического или русского национал-патриотического.

Может быть, поэтому я особенно остро чувствовал всю преступность сталинской аннексии трех прибалтийских государств, их последующего разграбления и терроризирования. Всеми доступными мне средствами старался я помочь литовцам, перед которыми чувствовал особенно остро мою вину и среди которых у меня появился целый ряд близких друзей. Я был начальником первой послевоенной литовской археологической экспедиции, положившей начало возрождению литовской археологии, был в разные годы официальным оппонентом по кандидатским и докторским диссертациям моих товарищей-литовских археологов и т. д.

Читателю, особенно западному, может показаться фантастической та атмосфера террора, насилия, издевательств по отношению к местному населению, которой сопровождалась

оккупация Литвы в 1940–1941 годах. Я включил в текст повести письмо моего чудом выжившего однополчанина тех времен, подтверждающее документальную точность и правдивость описанного.

При отборе повестей и рассказов для настоящей книги я намеренно старался взять не уже многократно описанные, наиболее вопиющие страницы истории монстра, называемого Союзом ССР, а, напротив, гораздо менее известные страницы, тот же период первоначальной советской оккупации Прибалтики, начало хрущевской оттепели, положение в России на последних этапах войны с гитлеровской Германией, судьбы русской интеллигенции в тридцатые-пятидесятые годы уходящего века.

Мне очень хотелось показать, что как ни свирепствовал большевистский террор, как ни действенна была система всеобщего доносительства, подкупа, запугивания, всех способов унижения и уничтожения личности, в России и прежде всего в цвете ее нации — в среде ее интеллигенции сохранялись и передавались из поколения в поколение, пусть и в относительно немногих ее представителях, ее лучшие черты — доброта, высокая интеллектуальность и нравственность и подвергавшаяся наибольшим гонениям честность…

Как известно, Карамзин, еще в XIX веке, желая одним словом определить главное из того, что в его время происходило в России, сказал «воровство». Если бы этому великому историку предложили также определить одним словом то главное чем отличается Россия начиная с 1917 года и до наших дней, то он скорее всего избрал бы слово «ложь». Ложь с маленькой и с большой буквы, ложь всех видов и форм, на всех уровнях государственных и приватных структур.

Это, конечно, не случайность. Кровавый коммунистический режим не устоял бы на одном, даже самом разнузданном терроре, без постоянной лжи, на которую, при всей ее обычной для этого режима топорности, может быть — из-за ее беспримерной невообразимой наглости, попадались не только обычные простые люди, но и самые высоколобые, ироничные, проницательные интеллектуалы, например, Сидней и Беатрисса Вэб, Бернард Шоу, Лион Фейхтвангер, Герберт Уэллс и другие.

Сейчас, когда громокипящий кризис захлестнул Россию, особенно актуальны разоблачения чудовищных тоталитарных эвфемизмов, двоемыслия.

Это относится не только к настоящему и будущему, но и в не меньшей степени к прошлому, так как искалеченная (тем более намеренно) память, — даже хуже, чем потеря памяти вообще. Искалеченная память создает неверную ретроспективу, а,

значит, — и перспективу, что всегда чревато катастрофой, а в наше время — даже катастрофой глобальной. Не имея никаких аргументов для влияния на людей и их судьбы при нормальной памяти и нормальной перспективе развития, при которых невозможны как социальная, так и национальная исключительность, «идеологи» коммунизма, национал-социализма, национал-социал-патриотизма, стремятся всячески искалечить человеческую память, чтобы таким образом найти «обоснование» своим кровавым «теориям» и практике.

Мне хотелось в предлагаемых документальных повестях и рассказах поведать читателям о некоторых подлинных страницах российской истории, о людях, которые даже в самых страшных условиях сохраняли благородство и мужество, доброту и светлый разум.

Дезертир

В уже не темную мартовскую ночь 1941 года редкая по весне вьюга, то затихала, то снова начинала лихо посвистывать в щелях дощатого барака, в котором размещалась наша рота. Я знал, что сквозь щели попадают к нам и снежинки, образующие на деревянном полу аккуратные ровные полоски, но увидеть их в полутьме, да еще со второго этажа нар, где я спал, было невозможно. Барак разделялся неполными дощатыми перегородками на три отсека, в каждом из которых помещался один из взводов нашей учебной роты. Возле стен находились стойки, в которых повзводно стояли винтовки: наши старые добрые мосинские винтовки-трехлинейки образца 1891–1930 годов. Стволы их тускло поблескивали только у выхода из барака, где на табуретке, возле столика с фонарем летучая мышь дремал дневальный. По другую сторону входной двери потрескивали поленья в громадной, до потолка круглой печи, обитой железом и покрашенной в черный цвет. Впрочем, тепло ощущалось не дальше, чем на расстоянии одного метра от нее. Барак был сколочен нами же кое-как, наспех, из горбыля, добытого на лесоторговом складе близ города. Материал был дрянной, мусорный, бросовый. Настоящие деловые доски — тридцатки, сороковки, вагонка — пошли для домиков командного состава полка. Да и строители мы были никудышные.

Полк еще прошлой осенью был выведен из города, так как участились случаи бесследного исчезновения солдат, а еще чаще командиров. По словам политруков, их трупы находили в канализационных люках, заброшенных сараях, канавах и других потаенных местах, нередко изуродованные. Впрочем, полагаю, что по крайней мере некоторые попросту сбегали куда глаза глядят от прелестей нашей армейской жизни.

Наш полк дислоцировался в городе. Третий батальон и взвод пеших разведчиков, куда я был временно зачислен, разместили в действовавшем еще тогда женском католическом монастыре. Трехэтажные кирпичные корпуса, обнесенные высокой каменной оградой, представляли собой замкнутый четырехугольник с просторным двором-садом в центре и собором в одном из корпусов. В другом корпусе разместили наш батальон, выселив оттуда монахинь. В кельях, рассчитанных на двух обитательниц, сбили двухэтажные нары и поселили по отделению — по 10 человек в каждой. Почти сразу же вышли из строя не рассчитанные на такую нагрузку уборные. Солдаты поневоле, повесив ремни на шеи и спустив штаны и кальсоны, садились

орлами прямо во дворе среди цветочных клумб и кустарников. Мимо, мелко крестясь, проходили монахини. Впрочем, почти сразу же установились и куда более тесные контакты. Молодых монахинь насиловали прямо в кельях и даже в соборе. Выстраивались нетерпеливые очереди. Ротные и взводные командиры, в ответ на жалобы, только посмеивались.

Одна из монахинь, после группового изнасилования, повесилась. Санитары бессмысленной в этом случае «Скорой помощи», на носилках, целиком закрытую простыней, куда-то увезли ее. Никто из сестер-монахинь не провожал самоубийцу. Приехавший по этому поводу румяный капитан из Особого отдела дивизии рассеянно выслушал пожилую, со строгим лицом настоятельницу, ухмыльнулся и, пожав плечами, отбыл восвояси. Мне было тогда страшно и стыдно. Очень страшно и очень стыдно…

Увольнительные давали редко, всегда только на два-четыре часа. Мне все же удалось несколько раз их получить. В городе я всегда заходил в магазин «Культура». Хозяин уже знал меня и встречал с поклонами и дурацкими льстивыми словами. Впрочем, он и впрямь относился ко мне неплохо и даже с некоторым доверием. Я, не взглянув на прилавки и стеллажи в магазине, прямо проходил в заднюю комнату. Там, на нескольких полках размещались русские книги рижского издательства «Даугава», уже объявленного нашими властями белогвардейским. Среди этих книг попадались иногда очень интересные. Там я нашел еще нечитанный роман одной из любимых моих писательниц — норвежки Сигрид Унсет и поразительно сильную по глубине, интеллекту, честности и высокой духовности книгу Вадима Белова «Похмелье». Автор — русский дворянин и интеллигент, пошел добровольцем на первую мировую войну. Получил два солдатских Георгия (помните: «Знал он муки голода и жажды, сон тревожный, бесконечный путь, но Святой Георгий тронул дважды, пулею не тронутую грудь.»). Был произведен в прапорщики, дослужился до чина поручика. После большевистского переворота сражался с красными под командованием Александра Васильевича Колчака, затем — барона Унгерна, и в конце концов оказался в Харбине, где и написал эту горькую, умную, предельно честную книгу, которая мне на многое открыла глаза. Чего бы я не дал, чтобы познакомиться с автором! Много лет спустя я узнал, что он вернулся в Россию, некоторое время прожил там, даже издал «Похмелье», хотя и с цензурными купюрами, но потом был расстрелян как белогвардеец. А книгой я дорожил безмерно.

Нам, в боях с литовскими партизанами, приходилось по многу часов лазить по болотам и продираться сквозь лесные

чащи, особенно в Западной Литве — Жемайтии, совершать марш-броски, иногда длительностью до 50 километров в сутки. В этих условиях каждый предмет становился чудовищной ношей. Как и мои товарищи, я прежде всего выбросил противогаз, потом «НЗ»-консервы, белье, потом рогульку-масленку для чистки винтовки, всякую, пусть и нужную ерунду, потом гранаты. Когда уже нечего было больше выбрасывать, кинул в канаву и книги. Все, кроме «Похмелья». Эта одинокая книга в вещмешке, патроны в подсумках да винтовка, вот и все, что у меня осталось. Книга Вадима Белова «Похмелье» и сейчас, спустя более полувека, стоит у меня на книжной полке и не раз мне доводилось ее вспоминать. Я на всю жизнь сохранил чувство благодарности к хозяину магазина — Юстасу — пожилому, толстому человеку с печальными умными глазами и седым ежиком на голове. А первое знакомство было, пожалуй, даже трагикомичным…

В этот город наш полк вступил под вечер жаркого дня, измотанный долгими, неправедными стычками с литовскими партизанами, «лесными братьями», или «шаулистами», как их называли в память, что ли, страшного поражения, нанесенного литовцами агрессорам — немецким орденским рыцарям под городом Шауляем в XIII веке.

В 1940 году, тогда, всего через два месяца после нашего вступления в Литву, какими глупыми, примитивными казались мне прежние представления! Наш младший политрук, поминутно сдвигая белесые, почти бесцветные брови, рассказывал нам, новобранцам, что, перейдя границу, когда мы увидим все ужасы капиталистического рабства, нищету крестьянства и рабочего класса и жиреющую за их счет кучку богачей, мы будем просто поражены…

Мы и были поражены, особенно в западной Литве — Жемайтии, но только совсем в другом смысле. Деревень в Жемайтии мало — почти все расположены вокруг костелов. А так в основном — хутора.

Трудолюбивая семья отвоевывала у лесов и болот сколько ей надо земли. Строили красивые, прочные бревенчатые избы, сараи, амбары, хлевы, птичники, разнообразные службы. Сажали яблони, вишни, сливы, другие плодовые деревья, ягоды. Появлялись пашни, огороды, в конюшнях — по несколько лошадей, в хлевах — коровы, овцы, козы, свиньи, в птичниках — куры, гуси, утки, индюки, даже иногда почему-то — павлины. Где-нибудь поблизости на взгорке или просто на открытом месте часто ставили ветряк с алюминиевыми широкими лопастями. Ветряк крутил динамо-машину, та заряжала аккумуляторы. На хуторах было электричество. Богатство, изобилие, созданное собственным

трудом. И помощи почти ни от кого не надо, лишь бы не мешали. До нашего прихода и не мешали. В основном хуторяне сами себя обеспечивали. А уж если что и надо — например, те же ветряки с алюминиевыми лопастями — денег на их покупку, вырученных на ближайшем базаре или от скупщика за первоклассные продукты, произведенные хуторянами, с избытком хватало.

Книг на хуторах было немного. Кроме непременной Библии, различные сельскохозяйственные журналы, редко что-нибудь из беллетристики. В то же время на хуторах была атмосфера гостеприимства, доброжелательства, высокой духовности. Что привносило ее: незыблемая ли христианская католическая вера, разумный, прилежный, плодотворный труд, слияние ли с природой, с ее мудрым круговоротом, все вместе взятое или еще что-нибудь — трудно сказать. Знаю только, что это было так. В пример приведу хотя бы один обычай, из-за которого в Жемайтии невозможно было умереть с голоду. Может скажете: причем здесь духовность? Подумайте. Еще как причем. А обычай такой: если ты голоден, а денег нет, зайди в любой дом, поздоровайся и попроси: «Аш норю коше жемайче» («Я хочу жемайтийской каши») — священную еду. За нее грех не только брать, но и предлагать деньги. Хозяйка тут же наготовит и накормит тебя до отвала. После войны, находясь вместе с моими литовскими коллегами в археологической экспедиции в Жемайтии, я не раз отведывал этой священной каши — ну и вкусная же и питательная штука! Во время этой экспедиции, занимаясь археологическими разведками, мы обычно останавливались на ночлег в уцелевших еще хуторах, и меня всегда поражал и глубоко трогал царивший там дух гостеприимства, разумности, доброты. Я понял тогда в чем смысл картины великого литовского художника Чюрлениса «Сказка королей», или, как ее еще можно назвать, «Дар Богов». Два великих короля или Божества, склонились над литовским хутором, который помещается у них на ладонях. А над хутором встает солнце…

Может быть, по контрасту, из глубины души поднялось воспоминание, которое всегда со мной…

Это произошло во время той самой экспедиции в Жемайтии. Мы вели разведки по берегам пограничной речки, отделяющей Литву от аннексированной Сталиным у Германии после войны Восточной Пруссии, переименованной в Калининградскую область РСФСР.

…Неожиданно из-за поворота реки показалась и пристала к нашему берегу странная лодочная флотилия. Лодки были черные, длинные. Некоторые из них, как катамараны, скреплены попарно дощатыми мостками. На кормах виднелись латаные-

перелатанные, но очень аккуратные шатры из брезента или просто просмоленной мешковины. На берег вышло человек двадцать пассажиров: несколько одноруких, одноногих и других инвалидов, женщины, дети разных возрастов. Выделялся высокий кряжистый старик с зеленоватыми глазами и окладистой седой бородой, похожей на русскую купеческую. Вид у пассажиров был изможденный, но какой-то замечательно опрятный, достойный, что ли. Как объяснил мне Карл — тот самый, сразу мной замеченный старик, это были немцы-беженцы, коренные жители Восточной Пруссии, уцелевшие во время войны и не бежавшие на Запад. Их, собственно, никто особенно и не выгонял из их жилищ. У них просто отобрали все, что могли найти, на работу не брали, продовольственных карточек не выдавали. В тогдашних условиях это означало верную смерть от голода. Вот они и сбились в нечто вроде артели и промышляли на этой реке ловлей рыбы, раков, собиранием моллюсков и тому подобным.

А все же… Когда я подумал, что их ждет, особенно зимой, я весь сжался.

Позвал моего друга и заместителя по экспедиции Юозаса Петрулиса и сказал ему:

— Старина, распорядись, чтобы из машины на лодки перегрузили все наши продовольственные запасы: ящики с банками американской свиной тушенки, молочные бидоны с подсолнечным маслом, мешки с мукой, словом — все.

— А как же мы? — заикнулся было Юозас, но тут же сам себя поправил, — ничего, мы с нашей машиной, да еще в родной Жемайтии не пропадем.

Я видел, что сотрудники экспедиции с явным одобрением перегружают все на лодки.

Через некоторое время я почувствовал на себе чей-то взгляд. Оказывается возле остановилась и пристально смотрела на меня большими голубыми глазами девочка лет восьми-девяти в вылинявшем ситцевом платьице и такой же косынке на золотистых волосах. Я взял ее на руки и поднял. Девочка ничуть не испугалась и даже прижалась ко мне своим худеньким теплым тельцем.

— Как тебя зовут? — спросил я. Девочка не ответила. Я повторил вопрос по-немецки.

— Эльза, — сказала девочка и обхватила меня рукой за шею. — А тебя?

Я назвал свое имя и спросил Карла: — Где родители Эльзы?

Он ответил так же спокойно, как и давал мне пояснения: — У нее нет родителей. Отец погиб на Восточном фронте, мать — во время бомбежки. Кажется, сохранилась какая-то дальняя

родственница, но где она — неизвестно.

Я почувствовал, что должен взять с собой Эльзу в экспедицию, а потом и в Москву. Уверен был, что жена примет ее с радостью. Однако сидевший во мне постоянно трусливый и подлый раб тут же стал меня отговаривать, утверждая примерно следующее: «Все равно тебе в Москве не дадут ее удочерить. Отберут, поместят в какой-нибудь детский сад или интернат, а там ей, да еще без языка будет еще хуже, чем здесь.»

Но на этот раз номер у него не прошел. Я решительно спросил Карла: «Можно мне взять с собой Эльзу? Ей будет хорошо у нас.»

Он ответил твердо: «Нет, нельзя. Ты человек и ты должен понять. Она останется с нами и разделит нашу судьбу.»

Я молча несколько раз поцеловал Эльзу и бережно опустил ее на траву. Она внимательно, не отрываясь, смотрела мне прямо в глаза, и вряд ли я когда-нибудь забуду этот взгляд. Тут чей-то женский голос позвал ее с одной из лодок. Она убежала, ни разу не обернувшись, и скрылась в одном из шатров.

— Человек, — обратился ко мне Карл, — возьми на память о нас вот это, — и он протянул мне довольно большую книгу в темно- коричневом кожаном переплете, слегка обгоревшую с одного угла.

Я поблагодарил и сказал моим сотрудникам: «Вот что, братцы! Быстро собирайтесь и давайте в машину.» А как только все сели, сказал шоферу: «Поехали, Микенас. Жми на всю железку.»

Господи, сколько раз после этого, я молил Тебя спасти и сохранить Эльзу, Карла и всех их товарищей!..

А в тот день вечером на хуторе, где мы остановились переночевать, с трудом продираясь сквозь неровный частокол готического шрифта, я начал разбираться в подаренной книге. Это был сборник объединения поэтов, существовавшего в семидесятых года XVIII века при Геттингенском университете, называвших себя «Поэтами рощи». Книга эта имела свою судьбу и когда-нибудь я, возможно, расскажу о ней.

Пока же вернемся к Литве 1940–1941 годов. Я тогда много думал о том, что видел в литовских хуторах, деревнях и городах, и сопоставлял это с дурацкими россказнями нашего политрука и с тем, что печаталось в «Правде», «Известиях», «Красной звезде» и других газетах…

В средних и малых литовских городах (во временной столице Каунасе мне тогда побывать не довелось) поражало неслыханное для нас количество магазинов и лавочек всех видов и ассортиментов, кафе, ресторанов и т. д. Первые этажи на ряде

улиц целиком состояли из магазинов (на вторых этажах часто жили хозяева). Продукты были необычайно свежи, разнообразны, вкусны, неправдоподобно дешевы. Особенно привлекательно выглядели мясные магазины «Майстас», стены которых изнутри были сплошь покрыты белым кафелем, и магазины ломились от всех видов мяса — от фасованного до целых, висящих на крюках туш, ветчин, колбас, других мясных изделий, свежайших или копченых птиц. Удивительно разнообразны были и, так сказать, промтовары, как литовские, так и импортные из многих стран.

Неодинаковость и многообразие товаров в разных магазинах делало их особенно манящими и даже таинственными. Теперь о ценах. Мне они показались неправдоподобно низкими. В Литве в обращении были литы, состоящие из 100 центов, в Латвии — латы, состоящие из 100 сантимов. Лат и лит считались равноценными нашему рублю. Так вот, у нас сливочное масло стоило 26 рублей за килограмм, а в Литве — 2 лита за фунт (4 руб. 50 коп. за кг). Костюм из местной ткани стоил 30–40 лит, из английской — 70. Цены на одни и те же продукты и товары варьировались в различных магазинах. Например, в больших магазинах, со стеклянными витринами до пола, цены были несколько выше, зато в маленьких можно было найти совершенно неожиданные, диковинные товары. Там Цены были пониже, да еще можно было поторговаться, выпить кружку превосходного литовского пива или чашку кофе, поболтать с хозяином, а если надо, то и свести знакомство с вполне доступными девушками.

Ну, а зарплата? Крестьяне вообще мало что покупали, и на это, а также, чтобы при желании провести субботний вечер, ночь и воскресенье в городе — денег им вполне хватало. Квалифицированный рабочий получал в среднем 400 лит в месяц. Все остальные цены и соотношение их с доходами и зарплатой были соответствующими.

…Части Красной армии, вошедшие в Литву и Латвию (в Латвии я побывал в Риге и Даугавпилсе) местные жители встречали в основном очень хорошо, тем более, что наши солдаты, находившиеся на советских военных базах с конца 1939 года в трех прибалтийских государствах, в соответствии с навязанными Сталиным пактами о дружбе и взаимопомощи, ничего особенно плохого не делали, да в большинстве были полностью изолированы от местного населения.

Так что, когда в июне 1 940 года пришли мы, чтобы установить в Прибалтике советскую власть, нас встретили даже радостно. Над Литвой и другими прибалтийскими государствами нависла гитлеровская Германия, наглая, бесцеремонная во всем. Так, например, когда Гитлеру что-то не понравилось, он разорвал

экономические отношения с Литвой. Произошло страшное затоваривание: Литва поставляла Германии много продовольствия. И вот какое-то время в городах рабочим и служащим пришлось часть зарплаты выдавать, к их ужасу, копчеными гусями. Так что нас встретили хорошо и с надеждой на избавление от угрозы со стороны национал-социалистической Германии. Этому особенно способствовала передача Литве ее древней столицы — Вильнюса и округа, входивших после первой мировой войны в Польшу, а после раздела ее Гитлером и Сталиным в сентябре 1939 года отошедших к СССР.

Но вскоре энтузиазм у литовцев поубавился. Германия еще в марте 1939 года захватила Клайпеду — по существу единственный порт Литвы на Балтийском море — а также Клайпедский край. Гитлеровцы тут же нарекли Клайпеду на старонемецкий лад — Мемельсбург — и ввели там свои порядки. Здесь между СССР и Германией проходила не граница, а демаркационная линия, на которой происходили различные драматические события. Довольно длительное время немецкие и советские солдаты находились тут в тесном и дружественном контакте, прерванном, впрочем, очень резко и заменившимся открытой враждой. Довелось и мне послужить там, но это особый рассказ.

Очень топорно и нагло был сработан захват Литвы Советским Союзом. 15 июня 1940 года вторглись сюда советские войска. Оккупационные власти разогнали законный литовский сейм. Срочно, без всяких выборов, создали новый из послушных нашим властям людей. Марионеточный «сейм» проголосовал за присоединение к СССР. Президенту Литовской республики Антанасу Сметоне предъявили ультиматум, требуя утверждения этого «решения», и дали ему на размышления всего несколько часов. Ребята-танкисты говорили мне, что в сад президентского дворца прямо по цветочным клумбам был под окна Сметоны введен советский танк. Водитель его время от времени заводил мотор, чтобы «прочистить президенту мозги», как выразился рассказчик.

Литовскую армию наши части разоружили моментально, большинство офицеров арестовали и они потом сгинули. Это была маленькая 25-тысячная армия (да откуда взяться большой — население 2 млн 300 тысяч человек), предназначенная для почетных караулов, в частности при приезде высоких иностранных гостей. Помимо всего прочего, разумность именно такой небольшой армии диктовалась и геополитическим положением Литвы, зажатой между двумя социалистическими левиафанами — Германией и СССР; ясно было, что они, в конце

концов, договорятся между собой о судьбе трех прибалтийских государств и, в первую очередь, насчет Литвы.

Разоружая, мы не встречали сопротивления, только сами удивленно таращились на виденные раньше только в кино и театре погоны и множество больших медных пуговиц, сверкавших на амуниции.

Литовцы сначала радовались: Германия больше им не угрожала, они получили свою историческую столицу — Вильнюс, в 1940 году Гитлер вернул (уже Литовской ССР) и Клайпеду. Граница между СССР и Литвой продолжала оставаться закрытой для всех, не имеющих специальных пропусков, так что грабеж был относительно ограничен. В Литве хождение имели только литовские литы и центы. Цены хотя и поднялись, но не слишком высоко.

Потом пришла растерянность — многие советские солдаты и командиры вели себя разнузданно.

А вскоре растерянность уступила место другим чувствам. НКВД начало аресты ксендзов и вообще уважаемых людей (ходили слухи об их расстрелах). Все большее количество литовцев и других жителей Литвы арестовывали, ссылали в Сибирь, бросали в концлагеря и тюрьмы. Многие хутора беспощадно уничтожали: засыпали колодцы, рубили яблони, растаскивали баграми строения… приучайтесь, дескать, жить в коллективах — пока хотя бы по деревням.

А 13 ноября 1940 года стал одним из самых черных дней в жизни Литвы. В этот день наряду с литовскими деньгами (их вскоре вообще изъяли из обращения) получили право хождения и советские. До того наши командиры получали в литах только небольшую часть жалованья. Остальное — в рублях — шло на сберкнижки.

Денег там скопилось немало. Началась безумная вакханалия. Я возненавидел тогда наших командирских жен, «боевых подруг», как их напыщенно официально именовали. Вечно озлобленные пренебрежительным отношением со стороны жен командиров, имевших более высокие звания, чем их мужья, издерганные частыми передислокациями, убогостью армейской жизни, в которой им оставалось только дрожать за судьбу мужей, стирать, готовить, в самодеятельных хорах фальшиво и безголосо прославлять великого Сталина и мудрую партию большевиков да заводить скотские романы с другими командирами, а с опаской даже и с солдатами, они, наконец, получили свой шанс. И они его не упустили. Сняв деньги со сберкнижек, они, как стаи хищниц, кинулись по магазинам. Они хватали все, что попадется, и в огромных количествах. Растерявшиеся хозяева магазинов

переходили от радости (оборот рос) к отчаянию — все исчезало молниеносно. Стремительное повышение пен советских покупателей, а тем паче покупательниц, ничуть не смущало и не останавливало. Как раз в тот день я получил увольнительную. Из любопытства зашел в ювелирный магазин. Толстая рыжая жена начальника штаба полка властно приказывала хозяину магазина завернуть все украшения, лежавшие под стеклом на прилавке. Когда он было замялся — пригрозила комендантским патрулем. Вне себя, я выскочил из магазина.

К концу этого дня Литва была разорена. Цены на многие продукты поднялись в несколько раз, а на другие товары — даже в несколько десятков раз. Но и это не спасло большинство владельцев магазинов от банкротства.

Все потонуло в безбрежном море ничего не стоивших советских денег. Газеты же, захлебываясь от восторга, писали о том, что спички и соль сильно подешевели. В самом деле — спички в СССР стоили пять копеек, а в Литве — десять центов.

Стыдно было в этот черный день быть русским, советским… С какой горечью вспоминались строки поэта: «Читайте, завидуйте — я гражданин Советского Союза!»

Но главное все же заключалось не в этом, а в геометрической прогрессии нараставших репрессий. Стерпеть их твердая в своей вере, не потерявшая человеческого достоинства Литва не могла и не хотела. Народ восстал — прежде всего крестьянство, л оно составляло более 80 процентов населения Литвы. Чувство справедливости и собственного достоинства людей, владевших землей и на ней работающих, заставило крестьян, в особенности хуторян, взяться за оружие.

Прав был Петр Аркадьевич Столыпин, когда делал ставку на хуторян в своих планах реформ в России. Прав был, со своей точки зрения, и наш «великий кормчий», когда, едва достигнув единовластия, он первый уничтожающий, сокрушительный удар обрушил именно на крестьянство…

Аресты населения и т. д. в Литве совершали не мы — не армия. Это делали войска и оперативники НКВД. Мы служили лишь резервным прикрытием. Все чаще не успевали наши славные чекисты ворваться в дом ксендза или окружить хутор, как начинали греметь выстрелы. Из леса появлялись защитники, часто в деревянных башмаках-клумпасах и в соломенных шляпах, украшенных вечнозеленым цветком — рутой, которая стала их символом. Тут происходило нечто вроде шахматной рокировки. Доблестные чекисты отступали, а мы выдвигались вперед и ввязывались в бой с партизанами. Господи, сколько раз я хотел быть убитым в этих перестрелках! Конечно, если бы я сам не

стрелял, то об этом бы непременно донесли бы и меня тут же расстреляли бы те же славные чекисты, а уж очень не хотелось умирать от их рук. А то могли бы отправить в штрафной батальон — это та же смерть, только более растянутая и мучительная. Вот только не целился я в людей ни разу. Такие стычки становились все чаще, не раз сопровождаясь многокилометровыми бросками по лесам и болотам.

…Мы, запыленные, предельно усталые, кое-как держа строй, вошли в город. На тротуарах скопилось немало людей, которые молча глядели на нас с недоброжелательным любопытством. А тут у меня еще, как на грех, развязалась обмотка на левой, йоге. Покраснев от смущения, я вынужден был выйти из строя, поставить ногу на край тротуара, замотать и закрепить обмотку и впопыхах догонять своих. Мы представляли собой убогое и нелепое зрелище и сами чувствовали это. Тогда старшина нашей учебной роты Вилли, из немцев Поволжья (а их было немало в нашем полку; всех их в конце 1940 года срочно демобилизовали, но не распустили по домам, а увезли в неизвестном направлении), не выдержав, закричал: «Запевала! Песню!»

А в нашей роте были ребята из Каменец-Подольской области — голосистые, завзятые певцы. И вот запевала начал, а вся рота подхватила:

Гремя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин
И первый маршал в бой нас поведет…

Рота подтянулась, сравняла строй, курсанты стали чеканить шаг, а вслед за нашей ротой — и весь полк. Насмешливое недоумение на лицах наблюдавших горожан, сменилось совсем иным выражением, хотя вовсе и нерадостным…

…Получив первую увольнительную, я, прямо из монастыря, отравился в магазин «Культура», который заметил, еще когда мы входили в город. Дверь открылась с мелодичным звоном. Хозяин, увидев меня, несмотря на тучность, стремительно выскочил из-за прилавка и бросился навстречу. Почти без акцента, он сказал по-русски, льстиво улыбаясь:

— Добро пожаловать, господин советский офицер! Что вам угодно?

— Здравствуйте. Только я не офицер, а солдат, — ответил я, оглядывая книжные полки, — хотел бы купить что-нибудь интересное.

— Сию минуту, господин офицер, — понимающе подмигнул

хозяин, достал из-под прилавка пачку открыток и протянул их мне.

— Да говорят вам, не офицер я — солдат! — с досадой ответил я и стал рассматривать данную мне пачку. Это были немецкие пошлые и безвкусные порнографические открытки, рассчитанные, видимо, на гитлеровских вояк. Торопливо вернув их хозяину, я сказал:

— Послушайте, как вам не стыдно! Я кончил Московский Университет. Зачем мне такая дрянь?

— Вот как, — озадаченно ответил хозяин, — а другие господа — советские офицеры, когда я им такое предлагал, были очень довольны.

— Не клевещите на Красную армию. — сдержанно и лицемерно оборвал я хозяина. Он испуганно охнул, но тут же просиял:

— Э, извините, я не сразу понял, с кем имею дело. Я знаю, что вам нужно, господин. Только! — тут он многозначительно приложил палец к губам и поманил меня за собой.

Я прошел за прилавок в заднюю комнату и тут увидел на полках множество книг на русском языке, в основном напечатанных рижским издательством «Даугава»: переводные романы и детективы (особенно много Эдгара Уоллеса), мемуары, памфлеты и многое другое. Я просто впился в них и потом каждую увольнительную проводил время в основном у Юстаса Арвидаса в его «Культуре», причем он неизменно угощал меня чашкой кофе и вкусными булочками. Надеюсь, что его миновала кровавая десница НКВД и невзгоды войны…

Бои с партизанами — носителями руты — учащались со дня на день. Кроме того, убивали солдат и стоявших на часах — в основном у складов с боеприпасами. Стали исчезать солдаты и командиры просто в городе. Увольнительные совсем перестали давать.

Как-то, находясь в комендантском патруле, я попросил напарника подержать мою винтовку, а сам заскочил в пивную. УЖ очень мне нравилось литовское пиво, особенно портер и черное бархатное. Пока я пил свою кружку, заметил, что трое парней за соседним столиком смотрят на меня долгими, пристальными, оценивающими взглядами и тихо переговариваются. Уловил слово «оккупантос». Я сразу почувствовал себя неуютно, понял, что еще немного, и меня здесь могут прикончить. Быстро допил свою кружку, расплатился и выскочил на улицу. Кстати, литовские деньги у меня были, потому что сразу после прибытия в Литву я сменял свои сто рублей на сто лит у какого-то очень довольного этой операцией усача. Признаюсь, я не стал его

разочаровывать….

…Но я понимал, что одним своим присутствием с оружием в руках причиняю горе литовцам, и в этом мой великий грех…

…По мере усиления репрессий — арестов, расстрелов, ссылок, выселений и т. д. — росла сумятица среди литовцев, поляков, евреев и местных русских. Множество народа металось по стране в поисках пропавших близких и родных. Большинство из них обращались за справками и помощью к нашим военным комендантам. Это было совершенно бесперспективным занятием. Комендантыдействительно осуществляли фактическую власть на местах, но репрессиями ведало совсем другое учреждение, которое никому, в том числе и комендантам, не подчинялось. А очереди на прием в комендатуры все равно продолжали расти. Вот и в длинной унылой комнате — приемной коменданта, у двери кабинета которого я стоял на часах, — находилась очередь, тоже унылая, отчаявшаяся, и все-таки на что-то надеющаяся.

В приемную вошла какая-то молодая женщина с грудным ребенком на руках. Она была босая, в выцветшем сатиновом платье, простоволосая, с замечательно милым, как будто знакомым лицом, обрамленным светлыми спутанными волосами. Ее маленькие, неразбитые, некрестьянские ноги были запылены. На лице застыло выражение безнадежности и тоски. Она, совсем обессиленная, прислонилась к стене в самом конце очереди. Не выдержав, я закричал что было мочи:

— Разводящий!

Так как ожидать можно было чего угодно, то разводящий примчался тут же из караульного помещения, вытаращив глаза и расстегивая на бегу кобуру.

— Стул для этой женщины! — тоном приказа сказал я, указывая на нее рукой. Разводящий громогласно обложил меня матом, но стул все-таки принес. Это было вовремя. Женщина почти упала на стул. Потом, оправившись, расстегнула ворот платья, обнажила маленькую, со светло-коричневым соском, грудь и накормила мирно посапывавшего ребенка. В это время она до боли была похожа на Мадонну. Да я с тех пор только такой себе Мадонну и представляю. Не у Леонардо или Рафаэля, а именно такой.

Часа через два она, наконец, попала в кабинет к коменданту и почти сразу же вышла из него с. каким-то совсем потерянным лицом.

Проходя мимо меня, она, не глядя, сказала только одно слово: «Ачу» и навсегда ушла из этой комнаты, из моей жизни, но не из моей памяти. Много позже, когда у меня уже появились друзья среди литовцев, я узнал, что «ачу» по-литовски значит

«спасибо».

А несколько лет спустя я увидел другую молодую женщину — мертвую, с мертвым грудным ребенком на руках. И хотя это было за тысячи верст от Литвы, хотя женщина эта была совсем другой национальности и судьбы, хотя я даже не запомнил черты ее прекрасного лица, в моем сознании и сердце эти две женщины навсегда слились в одно, как две родные сестры. Потом я много раз молил Господа о спасении их душ.

…Поздней осенью наш полк перевели за город, где мы сами построили военное поселение, обтянутое двумя рядами колючей проволоки. Оно состояло из деревянных бараков различных размеров и качества. Правда, существовало одно трехэтажное каменное здание — кажется, бывшая казарма какого-то подразделения литовской армии… Его отдали под дивизионный медсанбат. Над входом в поселение — арка. На ней — красивое полотнище. В центре его — портрет нового наркома обороны Тимошенко, обрамленный еловыми ветками.

Жизнь в этом военном городке была нелегкой. Во всякое время суток нас то и дело выдергивали по тревоге для стычек с литовскими партизанами. Кормили плохо. Помимо всего прочего, за исключением ежедневных четырех кусочков рафинада, большую часть полагающегося нам пайка, разворовывали все, кому не лень. Положение в полку было ужасное. «Вожди» страны хвастливо не раз заявляли, что любого врага мы быстро разобьем на его же территории малой кровью и сокрушительными ударами.

То, что это была пустая и страшная болтовня показала развязанная нашими хозяевами 30 ноября 1939 года война против маленькой, героически защищавшейся Финляндии. С первых же дней победные реляции, печатавшиеся в наших газетах, были лживыми, как и наспех сочиненные и долженствующие исполнятъся в войсках песни о якобы героических подвигах и блистательных победах частей Красной армии — например, песня о некоем комбате Угрюмове и его славном батальоне, первым захватившим приморское курортное местечко Териоки. На стенах многих учреждений — например, Красно-пресненского райкома комсомола в Москве — были развешаны кровожадные зажигательные плакаты в стихах и прозе, призывающие к расправе над финнами, такого типа: «Чтоб победа стала ближе, звеньями, отрядами, догоняй врага на лыжах, бей его проклятого». Финны таких плакатов не развешивали, но, в противоположность нашей пехоте, отлично умели сражаться на лыжах. Много наших солдат и офицеров было убито и «кукушками» финскими снайперами-смертниками,

маскировавшимися среди ветвей деревьев. А когда наши войска наткнулись на систему долговременных, хотя и несколько устаревших укреплений, перегораживающих Карельский перешеек, — на так называемую «линию Маннергейма» — советское наступление и вовсе выдохлось. «Первый маршал», который должен был вести нас в победные бои, без толку завалил снег десятками тысяч трупов наших солдат и офицеров. Ворошилова, наконец, сняли (правда оставив его зам. пред. Совнаркома и Председателем Совета обороны). Новый нарком обороны Тимошенко, бывший комбриг Первой Конной армии, тоже завалил десятками тысяч трупов наших солдат и офицеров, но уже Не просто снег, а укрепления «линии Маннергейма», которая была прорвана только в феврале 1940 года. Четыре месяца сражалась Финляндия против Советского Союза, который потерял в этой войне не менее 100 тысяч убитыми (финны — около 20 тысяч). 12 марта был, наконец, подписан мирный договор. Эта бесславная для СССР война не только показала слабость советских вооруженных сил, но и открыла всему миру подлинное лицо «поборников всеобщего и полного разоружения и коллективной безопасности» — наших демагогов, прикрывавших наглую безудержную агрессию. Захваченные у финнов Карельский перешеек до Выборга включительно, еще некоторые небольшие территории и полученный в аренду для военной базы полуостров Ханко были молниеносно возвращены финнами, как только началась советско-германская война. Вот за что мы заплатили столькими жизнями людей моего поколения — тогда молодых, цвета нации.

Новый нарком обороны успел в Дисциплинарный устав Красной армии, и без того свирепый, внести измененный параграф 20. Согласно этому параграфу, командир, в случае неповиновения, имел право и был обязан применить силу и оружие. В такой дикой, беззаконной стране, как наша, это давало широчайший простор для всех видов открытых издевательств и насилия командиров, по отношению к подчиненным, в частности для мордобоя. Процветали эти — издевательства и мордобой — и у нас в полку, особенно в нашей учебной роте, готовившей младших лейтенантов и потому состоявшей из людей со средним и высшим образованием. Для обучения армейской премудрости над нами ставили настоящих барабанных шкур, грязных садистов в качестве сержантского и младшего командного состава. Исключением был ротный старшина Вилли — строгий, но разумный и справедливый человек. Однако, как я уже писал, всех немцев из нашего полка срочно куда-то увезли и мы больше о них ничего не слышали. Место Вилли в нашей роте занял старшина

Хряпкин — тупая и злобная скотина.

В полк я попал вместе с восемью другими выпускниками Московского Университета — нам едва дали сдать госэкзамены и получить распределение. Мы попали в учебную роту и ужаснулись. Подавляющее большинство ребят в роте — вчерашние десятиклассники, беззащитные и доверчивые. А командовали нами совершенно невежественные, тупые люди, если их вообще можно назвать людьми. Они в нашей роте особенно злобствовали — может быть, хотели отомстить за то, что мы образованные, а они — нет, а может, и чувствовали страх десятиклассников и презрение со стороны нас, университетских. Больше всего доставалось вчерашним школярам. Самые тяжелые и унизительные, да еще и внеочередные наряды: чистить бездонные армейские сортиры, разгружать уголь из вагонов на железнодорожной станции и многое другое, а главное — непрерывный мордобой. К тому времени, как мы прибыли в полк, уже четверо таких парнишек покончили жизнь самоубийством — все наши. Не трогали, собственно, только нас — москвичей и еще уже упомянутых мной каменец-подольских. Их было в роте человек 15, по национальности они почти поровну делились на украинцев и евреев, но отличить одних от других можно было только по фамилиям, так много в них было сходства. Все, как на подбор, темноволосые, широкоплечие, сильные, красивые, какие-то независимые, они почти все были связаны с деревней, с землей. Один кончил сельскохозяйственный техникум и работал зоотехником, механизатором, агрономом; другой преподавал в сельских школах и тому подобное. Один из них — Ефим Семенович Латер — оказался моим соседом по нарам, и мы вскоре подружились. Кстати, от того, кто твои соседи, многое зависит в жизни. Плохой сосед может сделать эту жизнь совершенно невыносимой. Относительно соседа слева я был спокоен — это был выпускник географического факультета МГУ Саша Вишняков, парень что надо. С некоторой опаской отнесся я сначала к соседу справа, которым оказался Фима Латер. Но очень скоро убедился, что опасаться было нечего — он отличался благоразумием, рассудительностью, какой-то природной тактичностью. Далее деликатностью.

Вскоре между нами установились вполне доверительные дружеские отношения. Как-то Фима сказал мне:

— Я в Московском Университете не обучался, но я кончил педучилище и старался чему мог обучить Ребят, а он в это время, — тут Фима указал на командира второго взвода младшего лейтенанта Малашкина, особенно часто бившего

солдат и вообще ко всем постоянно придиравшегося, — он сидел на печке и ковырял пальцем в жопе. И это еще лучшее из того, что он делал. Так теперь он хочет пустить мне юшку из носа и скребет меня хуже вши. Как ты думаешь, Жора, это справедливо?

— Это несправедливо, Фима, — ответил я, — но только не вздумай сейчас качать права.

— Почему? — удивился Фима.

— Надо разобраться, друг…

Прошло некоторое время, пока мы, выпускники МГУ, посовещавшись, приняли решение и кинули жребий.

Однажды вечером, перед отбоем, проходила ежесуточная проверка на вшивость. Роту выстраивали в две шеренги вдоль нар. Надо было раздеться до пояса и продемонстрировать дежурному подмышки. Это было форменное издевательство. В условиях частых неожиданных тревог мы вообще не раздевались. На ночь снимали обмотки и ботинки, расслабляли поясной ремень да расстегивали ворот гимнастерки, чтобы целлулоидный подворотничок так не давил на шею. Все-таки отпущенной по регламенту минуты еле хватало, чтобы соскочить с нар, успеть привести себя в порядок, прихватить винтовку и стать в строй. Лежали мы на нарах почти впритык друг к другу. А баня, полагавшаяся каждые 10 дней, часто бывала только с холодной водой. В этих условиях вши, да еще в огромном количестве, были у всех. Мы давили их, но толку от этого было мало — их становилось все больше и больше. Я уже хорошо различал две породы вшей — маленьких, почти черных, особенно зловредных, как бы пилящих кожу пилкой, и побольше — серых, скребущих, медленно ползающих, ленивых, и каких-то еще, с красной точкой в удлиненном, как у инфузории, теле, впрочем, может быть, просто напившихся крови…

Так вот, мы кинули жребий. Он, как на грех, выпал на меня. После вечерней проверки на вшивость, одевшись, я подошел к Малашкину и, взяв под козырек, сказал:

— Товарищ младший лейтенант, разрешите обратиться?

— Что надо? — сквозь зубы процедил Малашкин.

— Важный разговор, товарищ младший лейтенант, давайте выйдем из казармы.

Заинтригованный Малашкин вышел и тут же оказался в плотном кольце из 9 выпускников МГУ- Я ему без обиняков сказал:

— Если ты, сука, еще раз кого-нибудь хотя бы пальцем тронешь, то ты после этого, может, и проживешь часов 10–12. Это ты проживешь, но больше ты не проживешь ни минуты.

Малашкин побледнел и онемел от страха. Он понимал, что

это не пустые слова. В условиях непрестанных боев с литовскими партизанами совершенно свободно и незаметно можно всадить ему пулю в затылок, в лоб, да вообще куда душа пожелает. А дальше: «Геройски погиб при исполнении воинского долга». Малашкин явно не захотел стать героем. Губы его дрожали, сам он весь трясся. Мы, не торопясь, вернулись в казарму. С тех пор Малашкин действительно полностью прекратил мордобой, а вслед за ним, смекнув, что пахнет жареным, что тут не до шуток, унялись и другие командиры нашей роты. Впрочем, по поводу мордобоя — у меня с армией свои личные счеты. Об этом — ниже.

Только поздней весной 1941 года нам зачитали приказ наркома обороны, запрещавший мордобой и предписывающий о каждом случае самоубийства докладывать лично председателю Совета обороны Ворошилову. Видимо, слишком угрожающе много стало самоубийств в результате мордобоя, и это не могло не сказаться на боеспособности армии.

Страшная участь эта не обошла и мою семью. У меня был горячо любимый двоюродный брат Юра, ласковый, тихий, на три года младше меня. Мы росли вместе и были очень привязаны друг к другу. Он попал в амию раньше меня %u2022 сразу же по окончании средней школы, еще летом 1939 года. Служил он в дивизии, дислоцированной неподалеку от Москвы. Мы переписывались, а когда я несколько раз получал командировочные предписания в Москву, то сразу же после отметки в военной комендатуре ездил к нему в дивизию на свидание. До демобилизации ему оставалось совсем немного. В марте 1941 года он принимал участие в лыжных соревнованиях войск московского гарнизона. Лыжник он был отменный. Шедший сзади него ротный командир потребовал, чтобы Юра освободил ему лыжню. Он отказался. Тогда вечером, уже в казарме, ротный командир дал ему пощечину. Все перенес Юра: муштру, издевательства, тяжелые походы, ужас финской войны, во время которой он отморозил руку, а этого не перенес. Он пошел в Ленинскую комнату — единственную, где можно было уединиться, написал три записки. Одну — родителям: «простите за доставленные неприятности. Эта — последняя.» Другую — своей невесте, а третью — мне: «Ты должен понять и запомнить».

Потом он снял сапог, размотал портянку, большой палец ноги положил на спусковой крючок винтовки, сунул дуло в рот и выстрелил.

Как раз в этот день я прибыл по командировочному предписанию в Москву. Хотел тут же после отметки поехать к брату, но так устал, так саднило все тело от вшей, что решил:

приму ванну, отдохну, мама горячим утюгом передавит вшей, а завтра с утра — к Юре. Если бы я наплевал на усталость и вшей и тут же поехал к нему, то он, возможно, остался бы жив. Но я не поехал, я не поехал…

Ты просишь меня понять и запомнить, брат. Я понял и запомнил. И я рассчитаюсь с ними. Конечно, не их методами. То, что я сейчас пишу — ведь это и есть часть расплаты…

В нашей роте мордобой прекратился задолго до того приказа, но служба все равно была непомерно тяжелой, главным образом из-за ее неправедности и полного идиотизма. О том, что могут убить партизаны, как-то не думал никто, а о ранении даже мечтали вырваться из казармы, не участвовать в боях с партизанами, отлежаться в медсанбате, где и вшей выведут и хоть на время более или менее подкормят.

Идиотизма и издевательства в строевых подразделениях было хоть отбавляй. Например, командир третьего батальона капитан Корпусов любил, когда его измученный за день батальон шел строем в столовую, положить какую-нибудь из рот на снег и заставить ее метров 500 ползти до столовой по-пластунски. Да и много чего еще он придумывал, солдатам — на мучение, себе — на потеху, особенно с похмелья. Война была на носу, это каждый понимал. Так в батальоне открыто говорили: «Начнется — первая пуля капитану Корпусову, а уж вторая — немцу.»

Правда, на тот свет его отправила все-таки не русская, а немецкая пуля…

…По два раза в неделю, особенно с появлением старшины Хряпкина, всем солдатам роты устраивали шмон. Его производил сам Хряпкин с подручными сержантами — младшими помкомвзвода. Выворачивали вещмешки, карманы, шарили под тюфяками. Громко и похабно оценивали фотографии солдатских девушек и жен, вслух зачитывали наиболее впечатлившие Их отрывки из писем, при этом отвратительно кривляясь. Отбирали все, что считали нужным, и присваивали. Очень радовался Хряпкин, если ему удавалось увидеть солдата с рукой в кармане. Тут же следовала команда: «Зашить карманы и доложить!»

Неисполнение грозило гауптвахтой, а то и более тяжелыми последствиями. А разрешение на то, чтобы распороть швы, обычно давалось не скоро и сопровождалось грязными комментариями.

Под Новый, 1941 год, около часа ночи, когда Измученные солдаты крепко спали, к нам в казарму Неожиданно явился совершенно пьяный старший лейтенант, исполнявший обязанности командира батальона (потом говорили, что это его жена за безобразное поведение выгнала из дома). Роту по тревоге

подняли и выстроили вдоль нар. Хряпкин притащил откуда-то плетеное кресло, в которое и плюхнулся красный, как от натуги, старший лейтенант с мутными глазами. Держа роту по стойке «смирно», сначала он долго и хвастливо рассказывал о своей славной военной карьере и рассказ этот закончил словами: «И вот теперь — я комбат». Это было враньем. Настоящий комбат капитан Никонов, раненный в боях с партизанами, отлеживался в медсанбате, а он только временно исполнял обязанности комбата. Потом старший лейтенант приказал каждому из нас по очереди пройти перед ним парадным строевым шагом, отдавая честь и повернув к нему лицо. Тут же он громко оценивал: «отлично», «хорошо», «плохо» и «ничего не скажу». Я удостоился последней — загадочной, но вряд ли лестной оценки: «ничего не скажу» и был очень доволен. Так мы встретили Новый, 1941 год.

А потом наш полк сделали из стрелкового мотострелковым. Выразилось это в том, что возле бараков на столбиках водрузили громадные ящики — видимо, имитировавшие кузова грузовиков и бронетранспортеров (настоящих не было и в помине). Усталые, после стычек с партизанами, или учебных занятий, или разгрузок-погрузок, и других хозяйственных нарядов, мы должны были многократно запрыгивать в эти ящики и выпрыгивать из них. Командир полка майор Маслов прекрасно понимал весь идиотизм этого занятия, но ничего не мог поделать — так было в инструкции, а неукоснительность ее соблюдения систематически проверяли всякие дежурные инспектора из штаба дивизии. А еще вместо пусть и устаревших, но надежных трехлинеек нам выдали дурацкие десятизарядные винтовки, у которых то и дело заедал патрон при досылке его в ствол. Дали и автоматы ППШ (пулемет-пистолет Шпитального), круглые диски которых, случалось, тоже перекашивало.

Война была «на носу». На демаркационной линии возле Клайпеды не смолкал днем и ночью шум подходившей немецкой военной техники. Идиллические отношения между нашими и немецкими солдатами (с обменом сигарет на папиросы, с дружескими похлопываниями по плечам) давно сменились враждебными.

Гитлеровцы уже вторглись 6 марта в связанную с нами союзным договором Югославию, а наши агитаторы все костили греков за то, что они, сопротивляясь немецким оккупантам, расширяют фронт войны… От внешнего мира наш военный городок был напрочь изолирован. Увольнительные не давали, или почти не давали — да и в самом городе, и по дороге к нему можно было запросто отправиться к праотцам. Слушать же нашу самодеятельность, в основном безголосый и лишенный слуха хор

командирских жен, не было ни сил, ни желания.

Поэтому солдаты охотно шли в откомандирование в другие части (особенно к артиллеристам), хотя обычно и это было совсем не безопасным. Ведь откомандировывали часто туда, где погорячее. Из разумных, не идиотических занятий было, по-моему, только два: дежурство по кухне и расчистка снега. Впрочем, и тут еще «бабушка надвое сказала». Измотанные до предела солдаты картошку, например, чистили несколькими ударами ножа, оставляя лишь небольшой белый кубик. Две трети, а то и больше, шло в отходы, не без выгоды для интендантов. Это тоже была одна из причин, почему мы всегда ходили полуголодные. А расчистка снега, в особенности на подъезде к городку, облегчала посещение его начальством, что, как известно, ничего хорошего не сулит…

Мне очень повезло. На целый месяц я был освобожден от строевой службы и всех нарядов, так как командир полка приказал мне написать историю нашего славного непобедимого полка. Сначала я думал 1ильнуть от этого весьма сомнительного поручения, потом вспомнил вольноопределяющегося Марека бессмертной эпопеи о Швейке и вдохновился его Примером. Ведь Марек тоже писал историю своего Полка, и я решил пойти его путем. Кстати, знакомство солдата с командиром полка — случай почти невероятный. Ведь в армии нельзя миновать ни одного вышестоящего командира, а от солдата до командира полка их множество: командир отделения, младший помкомвзвода, старшина роты, командир взвода (обычно младший лейтенант), командир роты, командир батальона, а иногда и начальник его штаба, а также его помощники, начальник штаба полка, помощник командира полка по политчасти (комиссар), вообще все политруки и, наконец, сам командир полка. А между ними еще полно всяких ординарцев, вестовых, адъютантов и т. д.

У меня же получилось так, что из-за страшного гнева, который я вызвал у начальника штаба полка, я познакомился с командиром полка и проникся к нему большим уважением и симпатией, как и к его милой, бесконечно деликатной и доброй жене — Зое Михайловне.

…Ссора с начальником штаба полка произошла совершенно случайно. Нам выдавали не сапоги, а обмотки и тяжелые ботинки с толстыми, но дрянными подошвами (картонными, что ли?). Да и те — не новые, а второго или третьего сроков. За лето, пока мы лазили по лесам и болотам, почти все ботинки прохудились. А зимой в дырки, особенно со стороны носка, стал набиваться снег. От долгих маршей он таял, но потом снова замерзал. У многих курсантов появлялись обморожения ног, пальцы гноились.

Кое-кто попал в медсанбат. И вот как-то нашу роту выстроили повзводно перед казармой и остановившийся перед вторым взводом начальник штаба полка майор Коршунов, пуча серо-белесые глаза, стал орать хриплым командирским голосом:

— Маменькины сынки, барчуки, еби вашу мать!

Копыта у них, у хуевых курсантов, разомлели! Всех вас, ублюдков, в штрафной батальон, всех отправлю… — И все в таком роде.

Вдруг кто-то из задних рядов крикнул:

— Чем орать, лучше бы обувь крепкую выдали!

Майор побагровел, поперхнулся, а потом еще больше выкатил глаза, заревел:

— Кто это сказал? Выйти из строя!

Я стоял в первом ряду, но как-то само собой получилось, сделал два шага вперед и отрапортовал:

— Это я сказал, товарищ майор.

Коршунов удивленно пробурчал:

— Нет. Это кто-то сзади.

Но меня уже понесло:

. — Не имеет значения, товарищ майор. Я тоже так думаю.

Четыре наряда вне очереди, — прохрипел, задыхаясь от злости, майор.

Положение мое стало после этого незавидным. Все чаше и чаще посылали меня вместе с подобными мне же проштрафившимися на прикрытие трусливых чекистских карателей. Внеочередные наряды сыпались один за другим, и я приготовился к худшему. Но вот однажды, глубокой ночью, меня дернул за ногу вестовой из штаба полка и сказал:

— Федоров, по тревоге, к начальнику штаба, быстро!

Еще не проснувшись толком, я обулся, подхватил винтовку и бегом, в сопровождении вестового, направился к Коршунову. Доложил:

— Товарищ майор! Курсант Федоров по вашему приказанию явился!

И вдруг Коршунов сказал мне чуть ли не отеческим тоном:

— Ну, что вы так официально, товарищ Федоров? Поставьте винтовку к стене. Садитесь, поговорим.

В полном изумлении я промямлил:

— Слушаюсь.

Прислонил винтовку и присел на край стула, напротив майора. А он стал говорить многозначительно и едва ли не мечтательно:

— Вот так, служишь и не знаешь, какие люди у тебя под командой, — тут он как бы с опаской искоса взглянул на меня. —

А люди попадаются ой-ой какие, и он назидательно поднял кверху указательный палец.

В полном недоумении я продолжал слушать. А майор разглагольствовал:

— Вот вы, например, человек образованный. Небось и Хехеля читали?

— Да, доводилось, товарищ майор, — пробормотал я.

— А что вы его читали? — полюбопытствовал Коршунов.

— Ну вот, например, «Философию истории», — ответил я все еще ничего не понимая.

— Ну и как? — осведомился майор.

— Умно и интересно, хотя и нелегко разобраться, — ответил я, начиная находить забавной эту таинственную игру.

— Да, — согласился Коршунов, — здорово это немчура пишет, а может он из этих? Но ведь идеалист, Идеалист, — сказал он назидательно.

— Это точно, это есть, — ответил я и подумал: «На кой черт ему понадобилось поднимать меня в два часа ночи по тревоге, чтобы беседовать о Гегеле, которого он явно не читал, да и я не был по этой части специалистом?»

Между тем майор продолжал каким-то интимным тоном:

— Да, вот так служишь и не знаешь, какие в полку люди, а люди-то есть та-а-а-кие, — протянул он и продолжал: — Тут на ваше имя фельдъегерская почта прибыла, пакет то есть, из Пятого управления Наркомата обороны.

Тут я, наконец, все понял, приосанился и постарался состроить глубокомысленно серьезную мину. Дело в том, что мой друг еще с университетских времен Юлий Цезаревич Босис в самом деле служил в это в Наркомате обороны, в Разведывательном его управлении. Явно он послал мне письмо через экспедицию управления, не без основания рассчитывая, что такое письмо произведет впечатление на моих командиров и тем сможет как-то облегчить мою жизнь солдата захудалого армейского полка.

Между тем, майор вытащил из сейфа и протянул мне довольно большой красный пакет с сургучными печатями по углам и в центре. Взломав печати и вскрыв пакет, я вытащил письмо Юлика и бегло прочитал его. Так и есть. Сообщив всякие новости и попросив меня ответить ему, Юлик в конце написал: «Посылаю тебе письмо в служебном пакете и фельдъегерской почтой. Может быть, оно тебе поможет в отношениях с твоими балбесами-командирами».

Я со значительным видом положил письмо обратно в пакет и сунул его за пазуху. Коршунов же, сгорая от любопытства и

почтения, спросил:

— Скажите, какие у вас отношения с Разведывательным управлением?

— Не имею права разглашать, товарищ майор, — отчеканил я, — служба!

— Да, да, я понимаю, конечно, — засуетился Коршунов, искательно улыбаясь. — Это я так, знаете ли, проверить, — неожиданно и жалко хихикнул он.

— Вы свободны, товарищ Федоров. Желаю успеха в вашей деятельности.

— Служу Советскому Союзу. — рявкнул я, козырнул, прихватил винтовку и вернулся к себе на нары.

С тех пор Коршунов не только перестал меня шпынять, но, видимо, и сообщил командиру полка о загадочном солдате. Как-то майор Маслов вызвал меня к себе и очень мне понравился. Служака он был отменный, но человек справедливый, образованный и глубоко порядочный. Он стал давать мне время от времени различные поручения, то просто интересные, а то и опасные, но всегда требующие сообразительности, которую я, по мере сил, и старался проявлять. Хотя никаких поблажек я не получил и не хотел, но между нами установились доверительные отношения, и я не мог скрыть от него то горькое, что действительно происходило в полку. Однажды, между прочим, я Рассказал ему о проделке Юлика с фельдъегерской почтой. Борис Семенович очень смеялся, обещал мне хранить тайну, но все же рассказал об этом своей жене Зое Михайловне, которая ответила, что уже давно молится о том, чтобы мне было хорошо…

Командир полка как-то поручил мне составит! полковую библиотеку для него, выделил значительные средства и отправил меня в командировку в Москву. Я накупил в букинистических магазинах много хороших книг: Флобера, Ахматову, Цветаеву, Гумилева, Киплинга, Гауптмана, Гамсуна, Ибсена, Достоевского, Сервантеса, Волошина, Тютчева, Уайльда, Гофмана, О`Генри, Генриха и Томаса Маннов, Марка Твена, Конан-Дойля и много других. Образованные офицеры (а такие изредка встречались, особенно в артиллерийских частях) приезжали в нашу библиотеку не только из соседних полков, но и из других дивизий. Сам командир нашей дивизии — тупой усач из бывших буденовцев-конармейцев — тем не менее гордился нашей библиотекой и ставил Маслова всем в пример.

И вот теперь приказ: написать историю нашего полка. Поразмыслив, я понял, что со времен бравого солдата Швейка в армии мало что изменилось, и писать эту историю нужно точно

по таким же рецептам, что и вольноопределяющийся Марек, нисколько не заботясь не только об исторической достоверности, но даже и о правдоподобии. Работа спорилась… Правда, иногда меня все же посылали в составе частей прикрытия…

…В одно сумрачное мартовское утро 1941 года я, чтобы избежать воплей Хряпкина, еще до подъема соскользнул с нар, обул ботинки, замотал обмотки, надел шинель, буденовку и тихонько вышел из барака. В сумраке занимавшегося утра особенно уныло выглядели заснеженные бараки, большие сугробы между ними, покрытая инеем колючая проволока.

Я решил зайти в библиотеку. Она помещалась в холодном неотапливавшемся клубе — таком же бараке, как и тот, в котором обитала наша рота, но только из обрезных досок. В клубе было еще холоднее, чем на улице, да еще и сыро. Я вытащил было ключ, но не успел подойти к двери библиотеки, как вдруг услышал звуки гармоники. Это было чудо какое-то в холодном мертвом бараке. Невидимый гармонист играл широко известный тогда сладенький романс:

«Веселья час и боль разлуки
Хочу делить с тобой всегда.
Давай пожмем друг другу руки
И в дальний путь на долгие года.
Мы так близки, что слов не нужно,
Чтоб повторять друг другу вновь,
Что наша нежность и наша дружба
Сильнее страсти, больше чем любовь…

Я пошел на звуки гармоники, дошел почти до конца коридора и открыл дверь, из-за которой эти звуки слышались. В комнате было очень тепло. Жарко топилась печь в углу. Наискосок от нее верхом на лавке сидели друг против друга два солдата. Между ними стоял котелок с пшенной кашей, в которой виднелись и красноватые кусочки мяса. В другом углу на табуретке сидел парень и играл на гармошке. Это была обыкновенная двухрядка, да еще, видимо, здорово потрепанная: из нее время от времени слышались какие-то непроизвольные посвисты и вздохи. Но парень, слегка склонив голову набок, играл с большим воодушевлением. Я заметил свободную табуретку, подсел к лавке, вытащил из-за обмотки ложку и тоже стал есть кашу.

— Давай, давай, — поощрительно сказал один из сидевших на лавке, горбоносый и черноволосый, видимо, грузин. Поев, я облизал ложку, снова сунул ее за обмотку и огляделся. Тут я заметил, что другой солдат, сидевший на лавке, белобрысый и

веснушчатый, с ярко-синими глазами, был без ремня, а потом обратил внимание, что винтовок в комнате всего две — они мирно приткнулись в одном из углов комнаты. Поняв в чем дело, я спросил синеглазого:

— За что тебя?

Но прежде чем он успел ответить, гармонист перестал играть и важно сказал:

— Да драпанул он.

— Это как? — опешил я.

— Как, как, — передразнил меня гармонист, — не сообразишь что ли, дурья башка? Дезертир он, дезертир, теперь понял?

Да, теперь я понял, хотя и не все. Ясно, что он арестован за дезертирство, что судьба его страшна, и что стражники ему сочувствуют и стараются потрафить, чем могут.

— Ну, чего ты? — обратился я к дезертиру. — Куда здесь бежать? Все равно или Литва придавит, или наши сволочи схватят, а это еще хуже.

Синеглазый шмыгнул своим курносым носом и сказал:

— Тоска, — и повторил: — Тоска.

Это единственное слово для постороннего ничего не значило. Но я не был посторонним. Для меня в нем заключалось очень многое. Парнишку я раньше не знал, он был из другого подразделения. Я спросил:

— Как тебя звать? Откуда ты родом?

— Сережа, — моргнув, ответил синеглазый, — из деревенских мы, Орловской области.

— Послушай, отстань, не тяни душу, — вмешался грузин, а гармонист снова заиграл, на это раз, с трудом узнаваемый вальс „Дунайские волны“. Я погладил синеглазого по плечу и вышел из комнаты. Пока шел по коридору, мне как по лицу ударила вся неправедность, преступность того, что мы делали здесь в Литве, все горе, которое мы принесли и продолжаем приносить людям, весь идиотизм и мерзость нашего армейского быта. А ведь и вправду — тоска…

Весь этот день ручка валилась у меня из рук, и я не написал ни одной строчки из баснословной героической истории нашего полка.

…Среди ночи раздался сигнал тревоги. Мы вскочили и построились. Ротный командир старший лейтенант Богданов — человек недалекий, но и не вредный, — прохаживаясь вдоль строя, хрипло сказал:

— Часа полтора назад из-под стражи бежал дезертир, рядовой Петров. Конвойные это проспали, а когда хватились и

выскочили за вахту, его и след простыл. Начальник штаба полка майор Коршунов приказал нашей роте изловить дезертира и, живого или мертвого доставить его в штаб. У меня на карте-двухверстке для каждого отделения указан квадрат его поиска. Первый взвод, налево! Ко мне шагом марш!

Наш взвод во главе с анемичным младшим лейтенантом Зубровым подошел к ротному. Богданов разложил на столе карту и при свете фонаря стал указывать каждому отделению его квадрат. Когда очередь дошла до нашего отделения, он указал мне квадрат и спросил:

— Задача понятна?

— Так точно, товарищ старший лейтенант: изловить дезертира и доставить его в штаб полка. Разрешите выполнять?

— Выполняйте, — хмуро сказал Богданов. Разобрав винтовки, мы вышли через вахту в поле. Был сильный снегопад. „Бушует снежная весна…“ Крупные влажные хлопья снега падали сплошной стеной…

Еще до того, как мы начали строить военный городок, куда-то выселили всех жителей в радиусе нескольких километров. Дворы со всеми строениями и дома разнесли. Остались только стога соломы в поле и сена — т- на лугу. Как раз в нашем квадрате было несколько стогов сена. Когда мы дошли до первого из них, я отдал команду:

. — Стой! Примкнуть штыки.

Мой друг Фима тихо сказал мне:

— Ты что, сдвинулся?

— Боец Латер, — осадил я его, — выполняй приказ.

Фима пожал могучими плечами и примкнул штык. Когда я отдал следующий приказ:

— Каждому штыком в стоге сделать ямку и закопаться. А то замерзнуть можно.

Ребята молча выполнили команду. Я взглянул на часы. Ровно через два часа приказал:

— Выходи. Забросать ямки. Снять штыки. Почистить друг друга.

После того, как команда была выполнена, я повел отделение в наш военный городок и доложил Богданову:

— Товарищ старший лейтенант! Квадрат прочесан. Дезертир не обнаружен.

Мне показалось, что Богданов взглянул на меня с облегчением. Во всяком случае, он почти по-домашнему сказал:

— Хорошо, а теперь идите отдыхать.

Мы протерли винтовки и поставили их в стойки, повесили мокрые шинели на гвозди, сняли ботинки и забрались на нары.

— Да, — сказал Фима, который был моим соседом, — Москва-таки столица.

— А как ты думаешь, никто не стукнет? — спросил я.

— Ребята свои, — медленно ответил Фима, — кроме того, каждый знает: если стукнет, будет иметь дело со мной. Веселый разговор, а жить-то каждому охота.

…Этот день был еще более утомительным, чем другие, но мне не спалось. Уже после подъема Б казарму вошел Богданов и, выслушав рапорт Хряпкина, сказал:

— Дезертир задержан военным патрулем на станции железной дороги. В расположении полка из штаба дивизии прибыл военный трибунал и сейчас, наверное, уже заседает.

В столовой во время завтрака у меня кусок не лез в горло. Я думал: „Эх, Сережа, Сережа! Ну куда ты кинулся? На станцию! Да еще без шинели и даже бет ремня. Да тебя там всякая шкура, какой не лень, сцапала бы“.

После завтрака, едва мы занялись идиотскими прыжками в ящики и из них, нашу злосчастную роту снова „дернули“ за десяток километров для прикрытия энкаведешников, которые разоряли очередной хутор. Но и „рута“ не дремала. Потеряв четырех человек убитыми и семерых ранеными, из которых одного тяжело — в живот (мы с напарником старались нести его поосторожнее на импровизированных носилках), мы вернулись незадолго до времени обеда в казарму. Но ни отдохнуть, ни пообедать нам на этот раз не пришлось. Раздалась общеполковая тревога. Полк был построен в виде буквы „П“ на плацу в центре военного городка. Снегопад прекратился еще до того.

Вышел помощник командира полка, старший батальонный комиссар Лукьяненко и зычным голосом зачитал приговор военного трибунала: „За двойное дезертирство — расстрел перед строем.“

Потом под барабанный бой два конвоира вывели Сережу, поставили его на свободной стороне прямоугольника, на самом краю плаца, куда уже сгребли свежевыпавший снег, и быстро ушли. Барабанный бой прекратился. Петлицы на гимнастерке Сережи были спороты. Он стоял совершенно спокойно, слегка выдвинув правую ногу вперед. Я находился в строю недалеко от него и все хотел поймать его взгляд, чтобы как-то ободрить, чтобы он знал, что и я и многие другие нисколько его не осуждают. Но он не смотрел ни на кого из нас. Он слегка закинул голову и смотрел на небо.

Вдруг я, похолодев от ужаса, подумал: „А что, если расстреливать прикажут нашему отделению?“ Безостановочные, лихорадочные мысли проносились у меня в голове: „убью того,

кто постарше чином… забросаю штабных гранатами… убегу…“ и другая чепуха.

Не знаю, что было бы в этом случае, но комиссар вызвал отделение совсем из другой роты и даже из другого батальона.

Младший политрук с двумя кубарями на петлицах срывавшимся голосом торопливо скомандовал отделению, выстроившемуся в одну шеренгу напротив Сережи, метрах в тридцати от него:

— Готовьсь!

Солдаты взяли на изготовку. Лязгнули затворы. В вспомнил я две строки из стихотворения Уткина:

„Зачем им дюжины стволов?
И одного вполне довольно.“

А политрук закричал:

— Целься! Пли!

Раздался залп. Сережа упал на свежий чистый снег, мягкий как перина. Упал, не подогнув колени, навзничь, на спину. Только с одного бока слегка подтекло. Мертвыми, широко раскрытыми глазами он продолжал смотреть на небо, которое в этот солнечный мартовский день, было такого же цвета, как и его глаза.

Комиссар скомандовал: — Полк! Разойдись!

Два каких-то незнакомых мне солдата положили Сережу на носилки и почти бегом потащили в сторону медсанбата, скорее всего в помещение, приспособленное под морг, куда клали наших убитых в бою и самоубийц.

Когда его уносили, я почему-то вспомнил ту монашку из монастыря, которую под простыней положили в машину санитары „Скорой помощи“.

„Дезертира“, в которой описана лишь небольшая часть из того, что довелось увидеть и пережить во время службы в оккупационных частях Красной армии, я написал летом 1988 года, когда находился на излечении в одной из московских больниц. Поправившись и выписавшись домой, я давал „Дезертира“ в редакции нескольких московских журналов, хотя и знал по собственному горькому опыту в „Огоньке“ и „Московских новостях“, что политическая цензура продолжает существовать. Все-таки времена переменились, и я рассчитывал, что, по крайней мере, с этой стороны препятствий для публикации не будет. Я сильно ошибся. В редакциях всех московских журналов, в которые я предлагал рукопись, и о сюжете ее и о том, как написана,

отзывались вполне одобрительно, но печатать отказывались даже не скрывая, что делают это по цензурно-политическим соображениям. Тогда я послал рукопись в Латвию (тогда еще Латвийскую ССР), в Ригу, в редакцию журнала „Даугава“, который я очень любил и подписчиком которого состоял уже несколько лет. Через некоторое время главный редактор „Даугавы“ Владлен Дозорцев сообщил мне, что рукопись принята к печати, и она была действительно опубликована, и при том лишь с незначительными купюрами, в номере 1 этого журнала за 1990 год. Откликов было много и не только из России, Латвии, Литвы, но и из других стран. Например, в номере 7 той же „Даугавы“ за 1990 год было опубликовано письмо „Прочитав "Дезертира““ из Польши. Особенный интерес эта документальная повесть вызвала, естественно, в Литве, где отрывки из нее были опубликованы в переводе на литовский язык, передавались по радио.

Да и на дом я получил немало писем — откликов на публикацию повести. Но вот пришло письмо из г. Каменец-Подольска совершенно необычное. Письмо датировано 28 мая 1990 года. Привожу его целиком:

"Уважаемый товарищ Фёдоров!

Я прочитал в журнале «Даугава» номер 1 за 1990 год Ваш рассказ "Дезертир".

В своем рассказе Вы упоминаете мою фамилию Латер Ефим. Я тот самый Латер, только Семен Ефимович, который служил вместе с Вами. Я многое забыл и хочу вспомнить некоторые подробности. Было ли это в городе Паневежисе (Литва)? Мы там служили в 1-й учебной роте. (По-моему, 185 стрелковая дивизия). Помню, что вместе с вами служили товарищи из Москвы, среди них был и рядовой тов. Надточеев.

После службы в г. Паневежесе нашу часть перевели в г. Себеж Калининской области, где нас и застала война. Помню хорошо командира полка тов. Маслова, бывал у него на квартире и занимался с ним немецким языком. Помню также, что он знал китайский язык.

Несколько слов о себе. Прошел всю войну, был тяжело Ранен и в 1945 году демобилизовался в звании капитана. Все эти годы живу и работаю в г. Каменец-Подольске, сейчас персональный пенсионер, но еще работаю директором Каменец-Подольского дома отдыха Хмельницкого облпотребсоюза.

Если, есть у Вас возможность, прошу — напишите, как служилась у Вас судьба? Кто остался жив из наших, сослуживцев и имеете ли с ними связь? Бываете ли в наших краях?

Милости просим на нашу прекрасную Подолию, буду очень рад встретить Вас.

С уважением С. Латер."

Признаюсь, письмо это я воспринял буквально "…как громы медные, как голос Господа в пустыне".

Я немедленно ответил Семену. Объяснил, почему в «Дезертире» я изменил его имя и что имя это прекрасно помню. Кое-что уточнил. Рассказал о судьбах наших товарищей-однополчан после первого страшного удара немцев в самом начале войны и потом о тех судьбах, которые были мне известны, о своей собственной жизни, работе археолога и писателя, спросил, читал ли он еще что-нибудь из моих повестей и рассказов. Просил передать привет живущему и работающему в Каменец-Подольске моему доброму приятелю — археологу профессору И.Винокуру. Попросил написать поподробнее о его жизни.

В ответ получил письмо, которое также привожу полностью:

"Дорогой Георгий Борисович!

С большой радостью и волнением получил твое письмо. Сколько лет прошло и казалось, что все это давно прошло и забыто, а вдруг такое событие.

Какая у тебя хорошая память и как все правдиво написано.

Особенно меня взволновал рассказ «Брусчатка». Аналогичный случай я увидел в г. Дунаевцы нашей области, когда я приехал после войны.

Надгробные камни из еврейского кладбища были выложены на тротуаре возле райкома партии.

Кроме как словом «варварство» иначе не назовешь.

С большим интересом прочитал "Басманную больницу".

Во всех твоих рассказах чувствуется большая любовь к людям, интернационализм и знание жизни.

Я, как твой друг, а сейчас и твой читатель, могу только сказать большое спасибо за такую любовь к людям, правдивость и самое главное — человечность.

Как сейчас многим этого не хватает!

Не раз я задумываюсь, неужели это все еще долго будет?

Где выход? Что нужно делать, чтобы наше общество стало другим?

Не понятно многое из того, что сейчас делается.

В личной жизни хорошего мало. Жена очень больна — лейкемия. Внук — парень 17 лет — более года болеет (рак средостения), лежал в Москве в онкологии, в Киеве, и никаких

результатов. Ездил с ним недавно в Болгарию. Там в городе Пловдиве есть профессор Ходжаев, писали в газетах, что он лечит такие болезни. Тоже никаких результатов. Лечат такие болезни в США. Нужно 250–300 тыс. долларов.

Вот такие дела. Ну, а наша медицина? (На высоком уровне, к тому же бесплатная). Но нужно крепиться. По той поговорке: "А куда денешься?"

На службе никаких изменений нет. Пока работаю. (Вернее, пока не "предлагают").

Передал от тебя Винокуру привет и самые лучшие пожелания. Он тебя сердечно приветствует и был очень рад, что мы с тобой однополчане и знаем друг друга. Кстати, ему вчера исполнилось 60 лет.

Бот собственно, все мои новости. Пиши как твое здоровье, Марианны Григорьевны? Где работает сын, есть ли внуки?

Передай большой привет и наилучшие пожелания твоей супруге, сыну. Был бы очень рад познакомиться с ними.

Крепко обнимаю. Семен. 27.VI. 1990 г."

Вот такие дела, дорогой читатель. События, описанные в «Дезертире», происходили в 1940–1941 годах. Прошло более 50 лет — целая жизнь. Я ничего не знал о судьбе моего друга Семы Латера, как и о судьбах большинства моих однополчан. Честно говоря, думал, что он погиб, как и многие в самые первые и особенно страшные для нашего полка дни и недели войны.

И вот такие письма — можно сказать через всю жизнь. Подарок судьбы… А чья оценка моих рассказов и повестей может быть для меня дороже?

Я долго думал над ответом на второе письмо Семы. Увы, так и не смог помочь ему с внуком, да и с ответом на мучающие его вопросы. Они ведь и меня мучают…

Держись, Сема. Держись, хотя бы и из самых последних сил, друг! Помнишь, как бывало…

Конечно, очень важны были для меня мнения о Дезертире" литовцев — как моих друзей, в том числе сотрудников возглавленной мной первой послевоенной литовской археологической экспедиции (один из эпизодов этой экспедиции я описал в "Дезертире"), так и вовсе незнакомых. Из писем последних приведу начало письма научного сотрудника Шауляйского музея «Аушра» Дангираса Малюлиса:

"Шауляй, 1990.06.91.

Уважаемый Георгий Борисович,

Прочитал, в журнале «Даугава» (в номере 1) Ваши

воспоминания под названием «Дезертир» — большое спасибо Вам за Ваши воспоминания, за ту правду, которую Вы раскрыли."

А письма-отзывы литовских друзей, в том числе товарищей по экспедиции, и сейчас продолжают согревать душу…

Но вот наступил страшный день 13 января 1991 года. С ужасом узнали мы, русские интеллигенты, об убийствах безоружных литовцев в Вильнюсе. В тот же день я обратился через свободную радиостанцию "Эхо Москвы" к солдатам и офицерам Советской армии в Литве. Позже это «Обращение» передала и радиостанция «Свобода». Кроме того его перевели на литовский язык и распространили в Литве.

Вот его текст:

"Обращение.

Солдаты и офицеры Советской армии, посланные в Литву для наведения «порядка», для насилия и убийств, на позор и бесчестье.

Я обращаюсь к вам, я, Федоров Георгий Борисович, бывший солдат 667-го стрелкового полка 185 стрелковой дивизии, в 1940–1941 годах принимавшей участие в оккупации Литвы.

Перед переходом границы наши политруки внушали нам, что мы увидим в Литве все ужасы капиталистического рабства, нищее крестьянство, нещадно эксплуатируемых, шатающихся от голода рабочих и жиреющую за их счет кучку богачей.

Мы увидели цветущую, изобильную страну, хутора, и села, полные плодов земных, города со множеством магазинов, ломящихся от всевозможных продуктов и промтоваров, по таким низким ценам, которые и не снились нам в России. Рабочий получал в Литве почти в 10 раз большую зарплату, чем у нас, если брать сопоставимые цены.

Наши власти — преступники и проходимцы всех мастей — разграбили Литву. Многие священники были расстреляны, десятки тысяч ни в чем не повинных людей — арестованы, обречены на то, чтобы гнить в тюрьмах и концлагерях. Палачи, которые тогда, словно в насмешку, назывались сотрудниками народного комиссариата внутренних дел, принесшие неисчислимые беды самой России, особенно зверствовали в трех захваченных, до того процветавших прибалтийских государствах, в частности, в Литве. А мы, солдаты тогда еще Красной армии, своими штыками прикрывали этот разгул грабежей, насилия, убийств, издевательски называвшихся якобы проявлением воли литовского народа.

Тяжкий грех лежит на нас на всех — солдатах оккупационной армии, осуществившей в 1940 году захват Литвы, Латвии

и Эстонии. Тяжкий грех лежит и на мне лично. С тех пор неустанным покаянием, всеми доступными мне средствами, пытаюсь я искупить или хотя бы уменьшить мою вину.

Теперь, спустя полвека, части той же армии, только ставшей называться Советской, снова посланы в Литву, чтобы пролить море крови и слез ни в чем не повинных людей. Нет для этого никаких законных оснований и быть не может. Не верьте тем вашим командирам, которые утверждают обратное — никому, начиная с министра обороны Язова. Это единственный в истории маршал, получивший свою Маршальскую звезду за убийство беззащитных девушек (в Тбилиси). Может быть теперь он мечтает о Получении звания генералиссимуса за то, что приказал расстреливать и давить танками жителей Вильнюса.

Все выдвигаемые нашими, хозяевами предлоги для вооруженного вмешательства в дела литовского народа — лживы. Даже якобы необходимость защиты русских в Литве. Я много раз бывал, в Литве в разные годы, но уже как писатель и археолог, и ни разу не встречал ничего, кроме самого сердечного гостеприимства. А права русских — их никто не ущемлял в независимой Литве до нашей оккупации, никто не будет ущемлять и в Литве, вновь обретшей свою независимость. Придется только соблюдать законы Литовской республики. Представьте себе, что вы с большой семьей живете в собственном доме. Вдруг приходят вооруженные люди, убивают или угоняют неизвестно куда часть членов вашей семьи и на их место поселяют чужих вам людей. Что же, вы от этого потеряли права на ваш дом, на тот распорядок, который вы в нем установили? Нет, конечно, нет…

Не думайте, что вас ждет в Литве увеселительная прогулка. В 1940–1941 годах, в ответ на массовые репрессии, значительная часть литовцев восстала. Разыгрались кровавые стычки. Наш полк, например, еще до начала войны с немцами понес тяжелые потери. Так будет и сейчас. Литовцы никогда не забывают слова своего великого поэта Майрониса:

"Литва моя, отчизна, край любимый,
Под синим небом на земле твоей
В курганах, средь лесов непроходимых
Хранишь ты прах своих богатырей."

Солдаты оккупационной Советской армии 1991 года в Литве! Послушайте товарища по оружию и по несчастью — солдата оккупационной Красной армии 1940–1941 годов в Литве. Если вы не хотите покрыть себя вечным позором и невинной кровью, если вы не хотите, чтобы потом всю жизнь вас мучила совесть, как

она мучает меня, — отверните ваши штыки, дула и жерла.

Не мешайте литовскому народу восстанавливать свое независимое государство. Не только литовцы, но и ваши матери будут тогда вас благословлять.

Георгий Федоров
13 января 1991 г.
Москва"

В Москве это «Обращение» было опубликовано во втором выпуске за 1991 год очень хорошего журнала «Странник», правда с некоторыми мне непонятными со мною несогласованными купюрами. Однако мне неоднократно сообщали, что «Обращение» в полном виде и своевременно дошло до адресатов и свою роль сыграло. Если это так, то и слава Богу.

Во всяком случае Литва восстановила свою, попранную Сталиным в 1940 году, независимость, причем сделала это наиболее цивилизованным путем, как будто вернула независимость одна из колоний бывшей Британской империи, а не сатрапия кровавого коммунистического режима.

Еще остались в Литве советские оккупационные войска, еще не решено много экономических, социальных, национальных и других проблем, но главное уже сделано.

В добрый час, свободная Литва! Счастья тебе! Над тобой занимается заря нового утра. Лабас ритас, Лиетува мано! Лаймас, бривибас Лиетува!

Как мечтаю я удостоиться чести и еще успеть побывать гостем на твоей земле.

— Что же мне все-таки напоминает его шея? — вот уже минут пять старался сообразить я, уставившись на заместителя директора нашего Института археологии Евгения Игнатьевича Крутшова. И вдруг меня озарило: увеличенную до неприличия конфету "Раковая шейка" (тогда повсюду в Москве продавались такие конфеты). Ну, конечно же, — такая же темно-красная, толстая, перепоясанная тугими темными обручами морщин. Вот только начинена она была отнюдь не шоколадом. Это, однако, дела не меняло. Наконец-то я сообразил и довольно улыбнулся этому. Тут же раздался возмущенный голос Крутшова:

— Мало того, что Вы нас совершенно не слушаете, Вы еще позволяете себе и усмехаться нашим словам!

— В этом обвинении концы с концами не сходятся. Если я, как Вы выразились, усмехаюсь Вашим словам, то выходит, что я Вас слушаю, а если не слушаю, то получается, что вовсе не по поводу Ваших слов усмехаюсь.

— Видите ли, Георгий Борисович, — осторожно и как бы даже застенчиво промямлил наш директор, член-корреспондент Академии Наук СССР Александр Дмитриевич Удальцов, нерешительно пощипывая седую бородку-эспаньолку и глядя на меня небесно-голубыми глазами, — мы с вами не на семинаре по диалектическому материализму. Мы собрались по совсем другому делу. Давайте его и решать.

— Это вы собрались, — уточнил я, — я никуда не собирался. Просто вы меня вызвали, а я только ответил на обвинение, выдвинутое Вашим заместителем. Кроме того, элементарная логика никогда не помешает. Это еще Гегель писал. Что же касается дела, то вот уже час, как я не могу понять, в чем его суть.

Удальцов уставился на меня, и я в который ’уже раз удивился тому, как такие ясные глаза могут быть у этого доносчика, хитрого и глубоко бездарного человека. Кстати, после его смерти именем его была названа одна из магистральных улиц в престижном юго-западном районе Москвы. Правда, еще при его жизни, в Академии была широко известна эпиграмма:

Ах, друзья, в конце концов,
Кто такое Удальцов?
Не пора ли кончить всуе
Говорить об этом… члене-корреспонденте
Академии Наук СССР?

Впрочем, автор эпиграммы поплатился за нее шестью годами концлагеря и так бы и сгинул там, если бы не смерть великого вождя всех народов, нашего незакатного солнца…

— Как это Вы не можете понять, в чем дело? — пытаясь взять рассудительно-миролюбивый тон, сказал секретарь нашего партбюро Петр Дмитриевич Либеров, невысокий и далеко не молодой человек с каким-то стертым лицом, — дирекция института и партбюро просят Вас уговорить Рабиновича — Вашего, друга еще с университетских времен, а ныне начальника Московской экспедиции нашего Института, добровольно подать заявление об уходе с работы по собственному желанию. Что же здесь такого непонятного? — с тупым удивлением спросил он, — Что мы уже больше часа с Вами бьемся и никак втолковать не можем?

— Все непонятно, — напуская на себя еще большую тупость, чем Либеров, что, впрочем, давалось мне без всякого труда, когда я (всегда не по своей воле) попадал в этот кабинет, — вот именно, что все непонятно. Почему я должен просить Михаила Григорьевич это сделать? Он что — плохо работает? Наоборот. Уж как вы его хотели скомпрометировать. Специально для проверки работы его экспедиции создали комиссию в основном из людей к нему недоброжелательных. Для видимости объективности включили туда и меня. Председателем назначили "истинно русского патриота", как любит выражаться Крупнов, профессора Алексея Петровича Смирнова. И что же? Комиссия, перед которой была тайно поставлена задача скомпрометировать Рабиновича, прежде всего благодаря глубокой порядочности Алексея Петровича, дала блестящий отзыв о его работе. Почему же институт должен лишиться такого сотрудника?

— Скажите, Георгий Борисович, — не отвечая на мой вопрос, сладенько спросил директор, — а откуда Вам известно, что перед комиссией была поставлена именно такая задача?

— Подзабыл, — глядя ему прямо в глаза и чувствуя поднимающуюся ярость, ответил я.

Секретарь партбюро безнадежно махнул рукой и пробормотал:

— Вы всегда недооценивали значение политического фактора и сути стратегии нашей партии.

— Ну, почему же, — успокаивающе усмехнулся я, — очень даже оценивал, именно поэтому…

— Да перестаньте, наконец, — не скрывая раздражения, крикнул Крупное, — Вы нас за нос водите, ведь ясно же, в чем дело.

И все более возбуждаясь, он стал в который раз перечислять

свои лживые и демагогические доводы Мне стало скучно, и я перевел взгляд на четвертого члена дирекции, за все это время не произнесшего ни одного слова — нашего ученого секретаря Татьяну Сергеевну Пассек, доживавшую, впрочем, в этой должности последние дни. Бархатные темно-синие глаза ее, в которые я так любил смотреть, были опушены, лицо, одновременно бледное и очень свежее (сочетание, встречающееся только у потомственных петербуржанок) побледнело еще более обычного. Напряжение вылаваои и сильно сцепленные между собой пальцы обеих рук, и насупленные, густые, — как говорили на Руси, соболиные — брови. Мне стало очень жалко ее, но что я мог сделать в таких обстоятельствах?

— Ну, поняли, наконец? — между тем, кончив свою речь, зло спросил Крупнов.

— Ничего не понял, — безмятежно ответил я, — раскопки в Москве — труднейшее дело. Я бы, например, ни за что за них не взялся.

Тут я увидел, как торжествующе блеснули глаза Крупнова, понял, что допустил промах, который может мне дорого обойтись, но слово — не воробей… Мне ничего не оставалось, как продолжать:

— Михаил Григорьевич сумел преодолеть все препятствия, у него блестящие результаты в Зарядье. Да институт за него обеими руками должен держаться, а не выгонять!

— Позвольте, — решил прибегнуть к наглядной агитации директор и ткнул пальцем в какую-то точку на зелёном сукне своего письменного стола, — Вот Москва, — тут он многозначительно поднял палец, — а вот — Рабинович, — и он снова ткнул пальцем в ту тачку, — как же это получается?

— Если в Ваших словах заключается какой-то намёк, то я его не понимаю, — тем же тоном ответил я, — а если нет — тем более не понимаю. Да почему это я должен уговаривать Рабиновича подавать заявление об уходе?

— Да потому, что он еврей, — не выдержал, наконец, Крупнов, — теперь понимаете?

— Вот теперь понятно, — почти весело сказал я.

— Так Вы поговорите с Рабиновичем? — спросил Удальцов, и облегченно вздохнув снова принявшись пощипывать бородку.

— Нет, не поговорю.

— Это почему же? — мгновенно еще более побагровев, спросил Крупнов.

— Да потому, что я — не член Союза Михаила Архангела и записываться в него не собираюсь! — И, понимая, что вот-вот сорвусь, вышел из кабинета директора, сильно хлопнув дверью.

Следом за мной выскочила Татьяна Сергеевна и, прижимая руки к груди, сминая свою белоснежную блузку, прошептала не свойственной ей горячей скороговоркой:

— Голубчик, Георгий Борисович, ну как Вы с ними разговариваете! Ведь это же бандиты. Они вас уничтожат.

— Ничего, кривая вывезет, — бодрясь, погладил я ее по рукаву черного жакета. — Кроме того, Вы же знаете — на себе испытали — человек может отступать только до определенной черты, иначе он уже не будет иметь права считать себя человеком. Они загнали меня до этой черты. У меня просто не было другого выхода.

А теперь возвращайтесь в кабинет, пока они чего-нибудь не заподозрили.

— Вечером приходите ко мне с Майей пить чай, — тихо сказала она, — Вера Сергеевна, Иван Яковлевич и я будем очень рады. И да хранит Вас Господь, голубчик. — Туг она дважды крепко поцеловала меня и скрылась за дверью директорского кабинета…

А теперь немного о дальнейшей судьбе моего друга Миши Рабиновича и о том, как все это отразилось на мне.

В 1951 году наша мерзкая дирекция все-таки уволила его. Миша довольно долго был без работы, но потом неглупая женщина, директор Музея истории к реконструкции Москвы, сообразила, что она может "за здорово живешь" обзавестись специалистом высочайшего класса по истории и археологии Москвы, и приняла Мишу на работу в качестве своего заместителя. На новой работе зарплата у него была мизерная, но больше всего Миша страдал от невозможности заниматься полевой археологией, что он страстно любил и отлично умел делать.

Я в это время руководил Прутско-Днестровской археолого-этнографической экспедицией Академии Наук СССР и Академии Наук Молдавской ССР (тогда она ещё называлась Молдавский филиал Академии Наук СССР). Экспедиция была большая и имела несколько, как теперь выражаются, спонсоров: Институты Археологии и Этнографии Академии Наук СССР, Институт Истории Академии Наук Молдавской ССР, Одесский Археологический музей, Ленинградский артиллерийский музей, Музеи по договорам давали мне деньги на раскопки, часть оборудования и материалов, откомандировывали на сезон полевых работ нескольких своих сотрудников, Я же, после камеральной обработки полученных во время раскопок материалов и написания научного отчета, обязан был передавать

музеям часть открытых во время раскопок экспонатов. Остальное музеи не интересовало, и в работу экспедиции они никак не вмешивались. Пользуясь этим, я зачислил Мишу к себе в экспедицию в качестве начальника Белгород-Днестровского отряда, с оплатой по Одесскому музею. Очень щепетильный, Миша, хотя и был счастлив, что снова сможет вести раскопки, но долго не соглашался, тряс своей огромной рыжей бородой (от чего еще в Университете получил прозвища Агенобарба или Барбароссы) и говорил: "Нет. Не могу я ставить тебя так сильно под удар".

Я, конечно, настоял на своем. В 1952 году последовал и удар. Как-то, придя на работу в Институт, я увидел вывешенный на доске приказ, согласно которому меня снимали с руководства Прутско-Днестровской археолого-этнографической экспедицией и назначали начальником Московской археологической экспедиции. Да, в коварстве этому приказу не откажешь. Мало того, что меня лишали созданной мною экспедиции — моего детища, главного дела моей научной жизни — но еще и назначали начальником Московской экспедиции взамен уволенного из института Миши. Смотрите, мол, — заступался за дружка, а когда того уволили, занял его место. Было от чего прийти в отчаянье. Все мои переговоры с дирекцией нашего института, все заступничества других спонсоров Прутско-Днестровской экспедиции ничего не дали. Крупнов открыто и нагло ухмылялся, встречая меня, а секретарь партбюро Либеров назидательно сказал: "Вас же предупреждали".

Тогда я решился на непростой шаг: обжаловать решение нашей дирекции академику-секретарю Отделения исторических наук Академии Наук. Это был шаг не легкий, но и не безнадежный. Дело в том, что этот пост как раз тогда совсем недолгое время занимала академик Анна Михайловна Панкратова, которую я немного знал еще с тех времен, когда учился в школе. До 1933 или 1934 года (точно не помню) история считалась у нас буржуазной наукой, в школах и вузах она не преподавалась. Вместо нее преподавали нечто аморфное, большевистско-восхвалительное, под названием «обществоведение». Так вот известный историк профессор (впоследствии — академик) Б.Д. Греков полулегально, при Институте Красной Профессуры вел для нескольких школьников занятия по истории. В число этих школьников входил и я. К нам захаживали и иногда вели занятия некоторые историки, среди них и Анна Михайловна, а все мы были наперечет, Я не следил, да и не мог следить за карьерой Анны Михайловны. Думаю, — для того, чтобы стать академиком, она немало грехов приняла на

душу. Однако было в ней что-то очень человечное, притягательное. Недаром послужила она прототипом трагической героини поэмы Наума Коржавина "Танька".

Академиком-секретарем она стала благодаря одному из непредсказуемых курбетов сталинского деспотизма.

Как-то в журнале "Вопросы истории" напечатала она статью о Шамиле, довольно объективную. Было время, когда, стремясь заручиться особенной преданностью нерусских народов ленинско-сталинской империи, были подняты на щит и всячески воспевались как герои национально-освободительных движений казах Амангельды Иманов, кавказцы Кенесары Касимов, Шамиль и другие вожди народов, боровшихся против порабощения их царской Россией. Но вот ситуация коренным образом изменилась — особенно после зверской расправы, учиненной Сталиным в конце войны над целым рядом народов, и введения им множества прежних имперских реалий. А историки, которые вечно не поспевали за поворотами взглядов великого вождя, продолжали "дудеть в прежнюю дуду", И вот в «Правде» появились статьи, в которых те же Иманов и Касимов объявлялись предателями России, всадившими нож в спину русского народа в период тяжких для него испытаний, наемниками иностранных государств. Тут уж историкам стало не по себе. Один из них, азербайджанец, защитивший докторскую диссертацию по национально-освободительному движению в Закавказье, даже покончил жизнь самоубийством. Не избежал развенчания и сам Шамиль. В статье, опубликованной в той же «Правде», сам он был объявлен английским и турецким шпионом и наймитом, а его мюриды — носителями черных реакционных феодально-мусульманских нравов. Над Анной Михайловной Панкратовой нависла страшная опасность. Незадолго до того была арестована и сведена с ума в сталинских застенках известнейший ученый с мировым именем — академик Лина Самойловна Штерн. Так что звание академика не предохраняло от ареста и любой расправы. Анна Михайловна это хорошо понимала. Она уехала на дачу, выключила телефон и радио и коротала время, читая английские детективы и ожидая ареста.

Наконец раздался сильный стук в дверь. Анна Михайловна молча встала с дивана и, подойдя на негнущихся ногах, открыла. Но это были не они. Это была страшно возбужденная соседка, которая закричала;

— Аня! Поздравляю, ты избрана членом ЦК

— Ты с ума сошла, — раздраженно ответила Анна Михайловна, — я даже не делегат съезда, да и вообще это невозможно. Ты что, не знаешь ситуации?

— Знаю, знаю, — снова закричала соседка, — но сама только что слышала об этом по радио.

— Не верю, — решительно и с досадой сказала Анна Михайловна, — глупости ты болтаешь.

Однако через некоторое время соседке принесла, газеты и она снова прибежала с. «Правдой» в руках. Анна Михайловна сама прочла среди списка новых членов ЦК КПСС (на этом XIX съезде партия и получила это новое наименование): "Панкратова Анна Михайловна- Академик."

Что же произошло? То, что я сейчас расскажу, конечно, — «апокриф». Однако он упорно муссировался в кругах историков не только, но и партработников высоких рангов. Да иначе и трудно объяснить то, что произошло.

Завершал работу XIX съезд КПСС. Секретарь Сталина генерал-лейтенант Поскребышев (тупая и жестокая скотина) принес Сталину на утверждение список вновь избранных членов ЦК. Сталин внес кое-какие изменения, а потом недовольно сказал:

— Почему среди новых членов ЦК так мало женщин? Надо ввести еще хотя бы одну и при том достойную.

— Мудрое замечание, товарищ Сталин, — залебезил Поскребышев, — только вот кого?

Сталин, подумав, предложил:

— Надо ввести академика Анну Михайловну Панкратову. Это произведет хорошее впечатление, а в руках мы ее прочно держим.

— Но, — решил напомнить Поскребышев, — она же реакционерка. Она воспевает Шамиля. Представила его как героя.

— Идиот, — ответил Сталин, — он и есть герой. Сделай, как я сказал, и убирайся.

Вот такие дела. Руководство Академии Наук прекрасно поняло, что в той ситуации сделать Панкратову членом ЦК КПСС мог только лично Сталин. Стремясь всячески продемонстрировать солидарность с решением великого вождя, оно и назначило Анну Михайловну академиком-секретарем Отделения Исторических Наук, и сделало ее членом Президиума Академии.

Уповая на ее справедливость и давнее знакомство, я и поплелся на прием к новоиспеченному академику секретарю.

Анна Михайловна приняла меня незамедлительно, внимательно выслушала, а потом, близоруко щурясь, устало сказала:

— Вот мерзавцы! Но вы не расстраивайтесь. Это дело я улажу.

На другой день в коридоре Института я встретил Крупнова. Судя по тому, что шея у него была уже даже не красной, а синей, а морщины — черными, и по тому, как он на меня посмотрел,

улаживание состоялось. Задыхаясь от злости, он потребовал, чтобы я пришел к нему в кабинет и там, даже не пригласив сесть, заорал:

— Вы как смели обращаться к члену ЦК через голову секретаря партбюро?

— Я обращался не к члену ЦК, — ответил я, с возможными удобствами располагаясь в кресле, — а к академику-секретарю Отделения Исторических наук — вашему непосредственному начальству — с жалобой на вас, На это я как научный сотрудник Академии имею полное право.

Корчась от злости, Крупнов молча указал мне на дверь, и я с удовольствием выполнил это его начальственное указание. В тот же день появился приказ, восстанавливавший меня в прежней должности. Для руководства Московской археологической экспедицией, видимо боясь новых «проколов» со своими сотрудниками, — пригласили из Иванова местного археолога Дубинина — бездарного ученого, подхалима и наушника.

Анна Михайловна скоро покинула пост академика-секретаря, да и правильно. Не по ней была эта придворная должность. Мне же в том же 1952 году снова пришлось побывать в этом кабинете, на этот раз по другому поводу.

В "Госкультпросветиздате" (впоследствии — издательство "Советская Россия") я был составителем и Редактором серии "По следам древних культур". Я задумал ее как серию сборников, в которых ведуну археологи страны в живой и доступной форме должны были рассказать о тех областях археологии, а которой они работали. В каждом сборнике предполагалось поместить по 10–12 статей, тематически связанных между собой. Уже был опубликован и тут же переведен и издан в ряде стран, — например, во Франции — , сборник по Кавказу и Закавказью. Готовился к сдаче а печать сборник "Древняя Русь", в стадии редактирования находился сборник "От Волги до Тихого Океана". Неожиданно меня вызвал к себе в кабинет новый заместитель академика-секретаря Отделения исторических наук, член-корреспондент Академии Наук Петр Николаевич Третьяков. В вашем Институте он заведовал сектором этногенеза, а работу археолога он совмещал с должностью одного из инструкторов сектора науки ЦК КПСС и хотя бы поэтому был Человеком весьма влиятельным. Меня он знал хорошо, поскольку по его приглашению в 1949 году я принимал участие в его экспедиции в Житомирской и Новоград-Волынской областях Украины, да еще некоторое время работал в его секторе. Человеком он был неглупым, но, как говорится, полностью продавшим душу дьяволу. Когда-то довольно способный ученый, он уже давно

махнул рукой на настоящую науку и был озабочен только тем, чтобы в возможно более пристойной и наукообразной форме популяризировать указания своего чекистского начальства. Прежде всего поэтому, собственно, я и ушел из его сектора.

Так вот, усадив меня и глядя на меня своими ничего не выражавшими (их, видимо, в ЦК учили так смотреть) серыми глазами, он спросил:

— Это правда, что в сборник из серии "По следам древних культур", который должен скоро пойти в печать, "Древняя Русь" Вы включили статью Рабиновича об археологии Москвы?

— Да, это так, — ответил я.

— Так вот, — не допускающим возражения тоном заявил Третьяков, — статью надо изъять. Это не пожелание, а требование. Наличие статьи Рабиновича в таком сборнике может сыграть роль ложки дёгтя в бочке меда. Понятно?

– 'Госкультпросветиздат" в систему Академии Наук не входит, — ответил я, — и работу по сборнику я веду не по плану Академии. Так что ничего Вы от меня по сборнику требовать не можете. Если Вас не устраивает соавторство с Рабиновичем в этом сборнике то можете забрать обратно Вашу статью. Мне будет жалко — статья неплохая, — но сборник получится и без нее.

Повторяю, Третьяков хорошо знал меня. Он поглядел на меня с холодным бешенством и проворчал;

— Идите. Пусть все останется как есть.

Сборник так и вышел и тоже был переведен на ряд языков и издан за рубежом — в частности, в Польше.

Ну, а Рабинович? Через некоторое время его взял на работу директор Института Этнографии Академии Наук, член-корреспондент Академии Сергей Павлович Толстов, фигура неоднозначная, скорее трагическая, и не чуждая благородным порывам, как, впрочем, и чудовищно-злодейским деяниям. О нем еще не раз придется говорить в этом повествовании. Так или иначе, с возвращением в Академию Наук материальная сторона жизни Рабиновича наладилась. Вот только возможности заниматься кровным своим делом — раскопками Москвы — он уже никогда больше не получил. Впрочем, в свое время меня тоже лишили экспедиции.

Вернемся, однако, к моим злоключениям в 1952 году. К сожалению, на том, что я уже описал, они не кончились.

Коммунистическая система калечила, ломала и губила людей не только в тюрьмах и лагерях, но и "на воле". Лживая и безнравственная в самой своей основе ("морально и нравственно то, что полезно для революции", "диктатура не ограничена

никакими законами"), — она утверждала правомерность массового и индивидуального террора, полную не только политическую и социальную, но и экономическую зависимость любого советского гражданина от «государства» — узурпировавшей власть банды преступников, именовавшей себя партийной коммунистической номенклатурой или "слугами народа". Декларируемая «демократия», "власть трудящихся", якобы осуществлявшаяся через Советы разных уровней, фактически была господством этой мафиозной банды преступников. Это господство, осуществлялось экономическим и внеэкономическим принуждением и террором — прежде всего через всесильное и совершенно не подконтрольное обществу "государство в государстве" мощнейший аппарат тайной полиции, способной арестовывать, держать в заточении, пытать и казнить любое количество людей без суда и нормального следствия. Профсоюзы и другие организации, якобы призванные защищать интересы людей, на деле стали орудиями коммунистического террора. Наушничество и доносительств были возведены в ранг высшей доблести. Коммунистическая система уже самим фактом своего существования унижала человеческое достоинство, разрушала человеческую личность, отвергала те моральные и нравственные ценности, которые заключены в религии, выработаны человечеством путем проб и ошибок на протяжении его истории. Кроме того, была специально разработана и осуществлялась через партийные, советские, профсоюзные, комсомольские и другие организации система подавления и разложения человеческой личности, долженствующая превратить людей в стадо покорных, не рассуждающих, готовых на любую подлость циников и подонков. Для этого всячески раздувались в людях страх, тщеславие, корыстолюбие, зависть, национальное чванство, антисемитизм и другие низменные чувства…

Выступая на похоронах моего старого друга — долголетнего члена редколлегии "Нового мира" при Твардовском и члена Художественного совета Театра на Таганке, талантливого писателя и замечательного человека Александра Моисеевича Марьямова, — я сказал примерно следующее: "Бывают не только ситуации, но и целые эпохи, когда просто для того, чтобы быть и оставаться порядочным человеком, требуется огромное мужество. Саше Марьямову этого мужества хватило на вою жизнь".

После экого выступления ко мне подошел мой (ныне, увы, тоже покойный) друг Александр Шаров и, пожав мне руку, проговорил:

— Ты сказал главные слова.

Так вот этого мужества на всю жизнь хватало далеко не всем.

Долго стоял несокрушимо, но в конце концов был почти совсем сломлен мой главный учитель археологии, замечательнейший человек и ученый — Артерий Владимирович Арциховский. Мне уже приходилось неоднократно поликовать о нем свои впечатления и воспоминания (рассказ «Граница» и др.). Поэтому здесь для его характеристики я приведу только два факта.

На исторический факультет Московского университета (тогда он был имени М. Н. Покровского) я поступил в 1935 году, с твердым намерением стать дипломатом. Первые два года обучения у блистательных наших профессоров были, может быть, лучшими годами моей жизни. Но в 1937 году все изменилось. Наш факультетский профессорский корпус был разгромлен. Одни профессора были расстреляны, другие — заключены в тюрьмы и концлагеря или отправлены в ссылки, третьи — просто уволены. Их место заняли, как правило, невежественные, тупые партийные ставленники, разные там почетные чекисты и т. д., над которыми мы, студенты, просто смеялись. Одним из немногих уцелевших из старого профессорского корпуса был Артерий Владимирович Арциховский.

Между тем я, еще не очень-то разбираясь в событиях, происходивших в стране, еще с пеленой коммунистической утопии на глазах, все-таки "ни за какие коврижки" не мог поверить, что мои любимые профессора оказались врагами народа.

Да, "что-то там не благополучно в датском королевстве". Во всяком случае, становиться дипломатом у меня пропала всякая охота.

Смутные мысли, раньше подавлявшиеся, все настойчивее появлялись в моей голове; вставали тревожные, требовавшие ответа, совсем непростые вопросы. Душу бередили воспоминания, — например, о сценах коллективизации, свидетелем которых я был в одном из русских хуторов под Весьегонском и в украинском селе Новые Санжары на Полтавщине. Снова требовали объяснения Торгсин, процесс Промпартии, слухи о причинах смерти Фрунзе и многое другое. А спросить было не у кого. Отец, которого я очень любил, страшась за меня, либо отмалчивался, либо говорил какие-то вымученные, ничего не значившие слова Мне было его жалко, и я перестал его донимать. Друзья сами были в таком же положении, как и я. Кого же спрашивать, что делать? Неясно.

В это время, в зимний семестр 1937—38 годов, Арциховский начал читать курс лекций "Введение в археологию". Мой однокурсник и друг Шура Монгайт и я влюбились

в Арциховского, а через него — и в археологию. Решили стать археологами — и в 1938 году под руководством Арциховского работали на раскопках в Новгороде, после чего наше стремление еще более окрепло.

Однажды осенью 1938 года я, как уже не раз случалось, был в гостях у Арциховского. Мы разговаривали о русской поэзии, которую оба очень любили, читали друг другу наизусть стихи. Вдруг Арциховский спросил меня:

— Георгий Борисович (он всех студентов величал по имени-отчеству), какого вы мнения о Сталине?

Опешив от такого поворота разговора, я стал мямлить что-то маловразумительное.

Тогда Артерий Владимирович, сверля меня взглядом сверкающих черных глаз, сказал громко и четко:

— Сталин — палач и убийца.

Я обомлел. Ведь шел 1938 год. Я даже не подумал, что Арциховский таким образом вручил свою судьбу двадцатиоднолетнему мальчишке-студенту. Впрочем, я бы пошел на любые муки, но не выдал бы его. А Арциховский стал высказывать без обиняков то, что смутными мыслями и образами бродило у меня в голове, лежало на сердце, то, что я старательно и безнадежно старался гнать от себя. А потом он сказал:

— Вы знаете, что я родом из Новочеркасска. Во время Октябрьской революции я учился в одной из местных гимназий. Так вот, я пошел добровольцем в армию Каледина и сражался с большевиками. Был одним из номеров артиллерийского расчета. После ранения и победы красных пришлось скрываться. Уехал в Москву и здесь затерялся.

Господи! Что бы там ни было после, за этот разговор, — может быть, главный в моей жизни — до сих пор коленопреклоненно благодарю моего учителя, память которого священна для меня. Нашу, ставшую общей с ним, тайну его молодости я хранил до самой его кончины, да и потом рассказал о ней только двум близким людям и вот сейчас пишу о ней впервые.

Другой факт. По окончании Университета я был рекомендован в аспирантуру кафедрой археологии, которой заведовал Арциховский. Определенные права на это у меня были. Я получил диплом с отличием. Моя работа "Нумизматические материалы по истории борьбы Москвы с Тверью" получила вторую премию на общеуниверситетском конкурсе студенческих научных работ, хотя среди претендентов были авторы работ о Ленине, Сталине и т. д. Однако партком истфака мою кандидатуру категорически отверг — так сказать, по идеологическим мотивам.

Тогда Арциховский заявил примерно следующее: "Не знаю почему, но вы присвоили себе право вмешиваться в отбор будущих аспирантов. Однако кому быть моим ассистентом, решаю только я сам. Я беру Федорова ассистентом на кафедру археологии и, если деканат мое решение не утвердит, уйду вместе с ним из Университета".

И меня, единственного со всего курса, зачислили ассистентом истфака МГУ.

Да, он был большим и сильным человеком, Артерий Владимирович Арциховский, и Софье Власьевне (так мы между собой называли Советскую власть) пришлось немало потрудиться, чтобы все-таки надломить его.

Гораздо проще ей было с еще одним из моих учителей — Борисом Александровичем Рыбаковым. Выходец из старообрядческой купеческой (позже нэпманской) семьи, некогда талантливый ученый, он, впрочем, с самого начала был не слишком разборчив в средствах. Ради эффектного вывода в статье или в докладе он мог и подтасовать факты; а уж тезис "так могло быть — значит так и было" — стал одним из основных его «методологических» приемов с самою начала его научной деятельности. Однако при этом он был безусловно одарен, способен к ярким, парадоксальным выводам и наблюдениям. Но тщеславен безмерно. Находка для коммунистической системы. Вступил в коммунистическую партию. Стал все более вхож на Старую площадь — в ЦК КПСС. Охотно выполнял все исходившие оттуда указания — вне зависимости от того, соответствовали ли они истине или нет. Он всячески поддерживал невежественных партийных бонз, желавших стать академиками. За это он был ласкаем, поощряем, облагодетельствован. Ордена, звания. Член-корреспондент Академии Наук, академик, Герой социалистического труда, академик-секретарь Отделения исторических наук, член Президиума Академии Наук СССР, директор сразу двух академических институтов — Археологии и Истории, неоднократный лауреат ленинской и сталинской премий и т. д. Но проституирование таланта — опасное дело. На подлинную научную работу уже не оставалось времени, да, видимо, и охоты. Все более наглая фальсификация, чтобы угодить начальству, да и себе самому, хотя бы непрофессионалам казаться действующим, дерзающим ученым. Роскошные издания глубоко лживых, фальсификаторских книг с красивыми рисунками, на глянцевой бумаге. А содержание их — все позорнее. Поэтому он перестал делать доклады по археологии в Институте археологии — как ни раболепны сотрудники а все-таки… Поэтому вообще уход от

археологии в фольклор, летописание и т. д., где, впрочем, его «труды» вызывали у специалистов только брезгливую усмешку. Поэтому — бешеная ненависть ко всем талантливым людям, стремление даже физически их уничтожить. Например, беспардонная издевательская травля выдающегося археолога Юрия Владимировича Кухаренко, тяжело больного сердечника, закончившаяся его гибелью. Поэтому — зоологический антисемитизм, ложь, злобная клевета, опора на бездарей и уголовников и т. д.

Но в 1952 году все это было еще "в зачатке". Мы поддерживали отношения и даже бывали в гостях друг у друга. Как-то за ужином у него дома, Рыбаков мне сказал:

— Георгий Борисович! У Вас в экспедиции слишком много евреев и полуевреев. Вам надо от них избавиться.

Я опешил. Если бы этот разговор происходил в Институте, я бы нашел что ему ответить. Но я сидел у него дома, ужинал за его столом…

— Я ведь подбираю людей в экспедицию по тому, какие они люди и работники, а не по национальностям, — промямлил я.

— Придется вам учитывать и этот фактор, — непреклонно сказал Рыбаков. Но к этому моменту я уже пришел в себя.

— Как мне воспринимать Ваши слова, как приказ или как дружеский совет? — осведомился я.

— А как вам легче?

— Конечно, как приказ.

— Ну, вот и воспринимайте как приказ.

— Тогда, будьте любезны, — в письменной форме, по всем правилам: дата, номер, параграф, подпись.

— Не буду я ничего писать, — позеленев, зарычал Рыбаков.

— А я устных приказов не выполняю.

— Смотрите, пожалеете.

— Посмотрим.

Кажется, это был мой последний визит в его дом. Однако санкции против меня толком «развернуть» не успели. Через несколько месяцев, 5 марта 1953 года, произошла, как выразился придворный писатель Константин Симонов, "великая утрата" — Сталин "дал дуба", а вслед за тем, 4 апреля, появилось Сообщение МВД, реабилитировавшее врачей-евреев, этих якобы "убийц в белых халатах". В «Сообщении» осуждалась национальная рознь и люди, ее возбуждающие; так что явным антисемитам пришлось временно прикусить языки…

Впрочем, дирекция и секретарь партбюро все-таки изыскали способы и средства, чтобы хотя бы частично рассчитаться со мной. Но об этом — позже…

…Вечером того бурного дня, который начался в кабинете директора Института археологии по поводу моего друга Миши Рабиновича, мы с женой на квартире Татьяны Сергеевны пили чай в "чайной комнате" Кроме нас, в чаепитии принимали участие мать Татьяны Сергеевны, какая-то необыкновенно умиротворенная старушка, похожая на персонаж из сказок братьев Гримм, и ее муж, главный художник Московского Художественного театра Иван Яковлевич Гремиславский, сын гримера Гремиславского — одного из ближайших и многолетних соратников Станиславского и Немировича-Данченко. Иван Яковлевич — безупречно воспитанный, интеллигентный — как пришел в неописуемый восторг, когда впервые увидел свою будущую красавицу жену, так и пребывал в этом состоянии до конца жизни. И в тот вечер то и дело он бросал восхищенные взгляды на Татьяну Сергеевну, и во взглядах этих, помимо любви и нежности, можно было заметить и любование художника такой прекрасной натурой или моделью.

Квартира Гремиславского-Пассеков находилась в большом, заселенном актерами и другим театральным людом, дом на улице Немировича-Данченко (бывшем Большом Козихинском переулке), выходящем на Тверскую улицу и прославленном в студенческой песне одной из самых распространенных еще с дореволюционных времен:

Есть в Москве на Тверской переулок такой,
Он Козихой Большой называется.
От зари до зари, лишь зажгут фонари,
Там студенты толпою шатаются…

В этом доме жили Сергей Образцов и другие знаменитости. Каждая квартира была своеобразной, содержала множество ценностей и произведений искусства. И все же, полагаю, эта квартира выделялась из всех. В громадной светлой комнате — гостиной, столовой и кабинете Татьяны Сергеевны (одна мастерская Ивана Яковлевича располагалась на верхнем этаже этого же дома, другая в здании театра), в горнице Веры Сергеевны, в узкой и длинной чайной комнате (в этой семье чаепитие было своего рода священнодействием, которым распоряжался Иван Яковлевич, большой знаток и любитель сего напитка), в спальне супругов, даже в подсобной комнате, на стенах висели великолепные картины известнейших художников, стенды с удивительными историческими реликвиями, на полу и на столах стояли скульптуры и муляжи и т. д. В то же время

квартира была не загроможденной, очень просторной и какой-то радостной. Я очень любил в ней бывать и делал это по несколько раз в месяц.

Воспользуюсь случаем, чтобы немного рассказать об удивительном роде Татьяны Сергеевны. Ее бабушка по матери (мать Веры Сергеевны) была известной детской писательницей и общественной деятельницей второй половины XIX века. Ее псевдоним — Надежда Толиверова — составлен из имен ее детей — сына Толи и дочери Веры. Необыкновенная жизнь и судьба ее описаны в книге «Воспоминания» писателя Ал. Алтаева. Писательницей она была хорошей, но куда большую известность получила как борец против всякого деспотизма. Эта борьба привела ее в ряды соратников Джузеппе Гарибальди, сражавшегося за объединение Италии и за освобождение ее от Австро-Венгерской империи. Невероятно красивая, обаятельная, талантливая, безумно смелая, она очень скоро стала другом Гарибальди и одним из самых популярных его сподвижников, вместе с ним принимала участие в знаменитом гарибальдийском "походе на Рим". Когда же Гарибальди был арестован, заточен в одной из камер замка Святого Ангела в Риме и ждал казни, Толиверова проникла к нему в камеру под видом его невесты, пришедшей на прощальное свидание. По ее настойчивой просьбе Гарибальди переоделся в ее наряд и, благополучно выбравшись из замка, снова возглавил национально-освободительную борьбу своего народа. Галантные итальянцы не сделали Толиверовой ничего плохого — тем более, что даже среди тюремщиков было много тайных сторонников Гарибальди. А он на память о совместной борьбе, подарил ей свою красную рубашку, и с тех пор она хранилась в семье. Нужно сказать, что с разрешения Татьяны Сергеевны я несколько раз примерял эту рубашку — ничего, подходяще. Да, если бы дело было только в рубашке. А еще от этой знаменитой бабушки сохранился ее портрет в полный рост работы Верещагина. Портрет этот висел в передней квартиры Гремиславских-Пассеков и, думаю, нет человека, который, попав в эту квартиру, не обратил бы на него внимания.

Когда в начале 60-х годов мне довелось побывать в Италии с несколькими товарищами по институту, во время осмотра Пантеона пояснения нам давал один наш итальянский коллега. Так вот, показывая на гробницу первого короля объединенной Италии Виктора-Эммануила, он, к удивлению некоторых из моих товарищей, сказал, что дорогу к престолу королю проложил именно Гарибальди. Это совершенно не вязалось с нашей

официальной историографией, представлявшей Гарибальди едва ли не как последовательного марксиста…

Еще более знаменитым был род Татьяны Сергеевны со стороны отца.

Как рассказала мне мой друг Нина Карсов, родившаяся и выросшая в Польше и далее успевшая отсидеть в тюрьме при коммунистическом режиме за свои демократические убеждения, род Пассеков был хорошо известен в Польше еще с позднего средневековья. Сама фамилия Пассек происходит, вероятно, от ласкательного, уменьшительного имени Павел. Пассеки принадлежали к дворянскому роду. Их "родовое гнездо" находилось недалеко от Варшавы на Мазовщине. В XVI веке часть из них переселилась на Волынь, еще одна часть — на земли возле Смоленска. В XVII–XVIII веках, когда эти земли вошли в границы Российской империи, Пассеки получили российское дворянство.

В XVII веке жил и творил классик польской литературы Ян Хризостом Пассек, оставивший в частности, хорошо известные ныне «Мемуары», в которых повествуется о его жизни: поездке в Данию, участии в войне против Московии, а затем и в польском посольстве в Москве.

При императрице Елизавете Петровне из этого обрусевшего дворянского рода выходили просвещенные гвардейские офицеры. Многое сделали Пассеки в России и на других поприщах.

Лейб-гвардии Преображенского полка офицер Петр Богданович Пассек был именно из этого рода.

Ко времени царствования Петра III и подготовки Дворцового переворота Петр Богданович уже имел чин капитан-поручика. Молодой офицер был горяч, блестяще образован и настроен решительно против императора. Хотя в Петре III и текла кровь его великого предка Петра I, но воспитанный при голштинском дворе, он открыто презирал все русское, издевался над! 1равославным духовенством, публично хвастался, что 80 время Семилетней войны (1755–1761 годы) передавал секретные сведения в ставку врага — немецкому Командованию. Он сделал своих голштинских унтер-офицеров, парикмахеров и т. п. русскими генералами; он превозносил прусского короля Фридриха Великого, утверждая, что был бы счастлив стать офицером его армии. Петр III позорно перечеркнул все победы России над Пруссией в Семилетней войне (включавшие и взятие Берлина в 1761 году), ради интересов голштинского двора втянул Россию, в бессмысленную войну с Данией, а дни и ночи коротал в пьяных кутежах и дебошах, намеренно оскорбляя все русское. Это не могло не вызвать негодования русского общества — прежде всего образованного, в том числе и офицерства. Указ об

упразднении Тайной канцелярии, о вольности дворянской, а также другие указы Петра III, направленные на некоторое улучшение правового и имущественного положения русского дворянства, не смягчили негодования по отношению к нему со стороны того лее дворянства. Возник заговор, ставивший целью свержение Петра III и возведение на престол его опальной жены Екатерины Алексеевны, которую император не раз грозился сослать в монастырь или заточить в темницу. Сам он открыто жил со своей любовницей, толстушкой графиней Елизаветой Романовной Воронцовой, которую даже сулил возвести на престол.

Екатерина Алексеевна — будущая великая императрица Екатерина II — в отличие от не любящего и нелюбимого мужа, не имела ни капли русской крови. Она была чистокровной немкой. Однако, попав в Россию и приняв православие, она стала подлинно русской императрицей и писательницей, горячо полюбила Россию и, как мало кто другой из русских государей, способствовала ее возвышению и расцвету.

Оставив в стороне теневые стороны ее царствования, скажем сейчас лишь о ее выдающемся таланте государственного деятеля. Не последнее значение Б этом имело ни разу не обманувшее ее умение разбираться в людях, привлекая к себе сердца, умы и шпаги самых ярких, смелых, одаренных. К числу таких относился и лейб-гвардии капитан-поручик Петр Богданович Пассек, ставший одной из центральных фигур заговора, на который Екатерина решилась, исходя из интересов России, да и из своих личных. Собственно, арест Петра Пассека и послужил поводом для немедленных и решительных действий заговорщиков. Став самодержавной императрицей, Екатерина сделала Петра Богдановича камергером своего двора, генералом, кавалером многих высших орденов. При Павле I Петр Богданович был в опале. Снова был возвращен ко двору с воцарением Александра I, но вскоре вернулся в родовое поместье, где и скончался в 1804 году…

Во второй половине XIX века двое Пассеков, известных профессоров, были в разное время ректорами одного из старейших университетов Европы — Дерптского (Юрьевского), ныне Тартусского…

Татьяна Петровна Пассек — двоюродная сестра Герцена, талантливый литератор, обладавший острым и наблюдательным умом — пользовалась огромным уважением своих современников, да и потомков. Она создала ряд литературных произведений, в числе которых знаменитые «Воспоминания», выдержавшие ряд изданий, переведенные на многие языки и не потерявшие своего

художественного и познавательного значения и до сего дня…

Названная в ее часть, Татьяна Сергеевна родилась в Петербурге в 1903 году в обеспеченной и высокоинтеллектуальной дворянской семье. Она получила блестящее образование и воспитание. Детство и отрочество ее были вполне благополучными. Однако после Октябрьской революции с каждым годом и даже месяцем над ней нависала все большая опасность. Петербург то и дело подвергали «чисткам». Попавшие в проскрипционные списки либо уничтожались, либо были обречены на жалкое и страшное существование в тюрьмах, лагерях и ссылках. «Вычищали» прежде всего дворян и интеллигенцию. Татьяна Сергеевна Носилась к обеим этим категориям и, казалось, Упасть ее была предрешена. Где-то в страшных омутах ГУЛАГа на долгие годы сгинул любимый ею человек хитроумный, изящный, блестящий Борис Латынин. Очередь была за ней. Однако тут в Петербург на гастроли приехал Московский Художественный Театр и с ним его главный художник Иван Яковлевич Гремиславский. Увидев Татьяну Сергеевну, он сразу и на всю жизнь в нее влюбился. Они поженились, поселились в Москве. Здесь Татьяна Сергеевна продолжала заниматься археологией, которой увлеклась еще с юности. Археология тогда официально считалась буржуазной лженаукой, и заниматься ею приходилось полулегально. Московские коллеги приняли Татьяну Сергеевну очень радушно. Она посвятила себя изучению энеолитической культуры блестящей крашеной керамики IV–III тысячелетий до нашей эры, распространенной на гигантских просторах лесостепей, степей и пустынь Евразии, в частности, одному из самых ярких вариантов этой культуры, ареал которой находится в Днепро-Дунайском бассейне (в России эта культура называется — Трипольской, в Румынии — культурой Кукутень). Постепенно она стала ведущим специалистом по этой культуре. После официального признания археологии она защитила кандидатскую, а затем и докторскую диссертации, труды ее были широко известны специалистам и у нас и за рубежом. К несчастью, после неудачной операции, она лишилась возможности иметь детей, и на ней знаменитый род Пассеков (по крайней мера эта его ветвь) пресекся…

Я познакомился с Татьяной Сергеевной еще будучи студентом, в 1938 году, и начал с того, с чего начинали свое знакомство с ней все мужчины — влюбился в нее. Когда это чувство прошло, осталась на десятилетия, до самой ее кончины, прочная и доверительная дружба, даже в течение длительного времени полевых археологических работ в одной или в соседних

экспедициях. После моей женитьбы мы дружили семьями, и моя жена работала у нее в экспедиции и сняла о ней и о ее работе очень хороший документальный научно-популярный фильм, который многократно демонстрировался на различных конференциях и конгрессах и в сокращенном виде вышел на широкий экран…

…Конец этой семьи был ужасен. Сначала от рака крови — лейкемии — умер Иван Яковлевич. Затем от рака с метастазами по всему телу в страшных мучениях скончалась Татьяна Сергеевна. Вера Сергеевна, ненадолго пережившая единственную дочь, после смерти ее находилась почти все время в полубезумном состоянии от горя. Семья снова собралась вместе на старом Новодевичьем кладбище…

Но это было уже в конце семидесятых годов уходящего века…

Осенью 1938 года моего друга и однокурсника Шуру Монгайта и меня пригласил к себе наш учитель Артемий Владимирович Арциховский на вечеринку, посвященную окончанию сезона полевых археологических работ.

— Будут начальнити этспедиций, (буквы «к» и «г» он не произносил), — пояснил он, — мужчины и только одна остальная (слово «женщина» он без самой крайней необходимости тоже не произносил — видимо из идейных соображений), но достойная.

Мы очень обрадовались и пришли задолго до начала вечеринки, чтобы помочь ему накрыть стол. Арциховский жил в Кречетниковском переулке, неподалеку от Смоленской площади в красивом старинном доме, просторные квартиры которого после революции были превращены в коммунальные. Он занимал одну комнату, но огромную (примерно 40 квадратных метров), в которой находились его сиротская кровать и несколько книжных шкафов и стульев, а посередине возвышался большой письменный стол. В центре стола красовался старинный чернильный прибор: темно-серая мраморная доска на бронзовых ножках и две таких же мраморных фигурных чернильницы, с бронзовыми крышками. Незадолго до этого Арциховский блестяще защитил докторскую диссертацию на тему "Древне-Русские миниатюры как исторический источник", и мы с Шурой недорого купили на Тишинском рынке эту чернильницу и преподнесли ее шефу по поводу успешной защиты. Арциховский подарку очень обрадовался и сказал нам, что он налил в одну чернильницу «трасные», а в другую — зеленые чернила и будет ими записывать в специальную книжку только гениальные мысли. Через некоторое время мы спросили Артемия Владимировича записал ли он что-либо в заветную книжицу. Он ответил, что

записал, и много, потому что зеленые и красные чернила это стимулируют. Однако когда мы попросили его прочесть, он отказался, пояснив, что сейчас еще рано, что только время может показать действительно ли мысли «дениальные» и действительно ли вино хорошее, а "тат может отазаться, что и мысли — чушь собачья, и вино — бурда".

Пришлось смириться. Однако чернильница по-прежнему красовалась посередине стола. Но теперь ее пришлось "отправить в ссылку" — на подоконник, мы с Шурой принялись накрывать.

Боже, что это был за стол!

Бутылки разной формы, цветов и размеров со всевозможными видами выпивки; черная и красная икра в глубоких хрустальных вазах со столовыми ложками в каждой; нарезанная большими кусками, целая севрюга горячего копчения; копченые же угри и миноги, разного сорта ветчины и колбасы; черные и зеленоватые оливки; огромная фаршированная щука; жареный поросенок со всеми полагающимися к нему аксессуарами; заливной поросенок (последние три блюда, как мы потом узнали, специально приготовила сестра Арциховского); яблоки и груши необыкновенных размеров, вкуса и аромата, продолговатые дыни, какие-то длинные, тугие, тоже очень ароматные коричневые жгуты — вяленая дыня, (Сережа из «Ты-зыл-Тумов» привез, как туманно пояснил нам учитель), и множество другой снеди. У нас, еще несколько лет назад стоявших в длинных очередях за осклизлым черным карточным хлебом, да и сейчас не так уж избалованных на студенческих пайках, глаза разбежались. Но вскоре стали собираться гости, и тут уж нам с Шурой стало не до еды.

Вот вошел и сразу как бы заполнил собой комнату высокий громкоголосый человек в синем костюме и желтых кожаных до колен крагах, которые раньше я видел только в кино и на картинках.

— Сердей Владимирович Тиселев, — представил его нам Арциховский, — лучший специалист по археологии Южной Сибири, Алтая и Тувы.

Киселев захохотал громовым хохотом и густым басом проворчал, ухмыляясь во весь свой большой рот с крепкими рельефными губами: "Ну, ты и скажешь, Тема, — лучший! А где другой, не лучший?" — на каковое замечание, впрочем, наш учитель и ухом не повел. А мы любовались Киселевым. Лицо его с большими и грубыми чертами, изрезанное морщинами, на первый взгляд казалось даже свирепым, но стоило приглядеться, как сквозь неровную сетку морщин отчетливо проступали ум, доброта, насмешливость и, главное, страстная

заинтересованность жизнью. Не успели мы рассмотреть Киселева, как вошел новый гость. Он был тоже высокого роста, широкоплечий, в гимнастерке, перехваченной в тонкой талии узким кавказским ремешком. Лицо с очень правильными красивыми чертами было темно-коричневого цвета и на нем особенно выделялись довольно большие, пшеничные, лихо закрученные на концах усы.

— Сердей Павлович Толстов, лучший специалист по археолодии Средней Азии, — представил его наш учитель.

Толстов принял это представление как должное, крепко пожал нам руки, присел к столу, налил и тут же выпил стопку водки.

А нас с Шурой Арциховский представлял так же однообразно:

— Мои ученити, — и тут он называл наши имена, отчества и фамилии.

Но вот вошли сразу несколько гостей. Горбоносый, тонкими чертами, необыкновенно приветливый и Деликатный Алексей Петрович Смирнов — специалист По археологии Среднего и Нижнего Поволжья, естественно тоже «лучший»; ”лучший специалист по палеолиту"- невысокий, простоватый на вид, но с явной хитринкой на бледном широком лице, украшенном небольшой бородкой и усиками — Михаил Вацлавович Воеводский; еще один — невысокий, но словно стоящий на ходулях, также с бородкой и усиками, необычайно, как-то ненатурально церемонный — Владимир Дмитриевич Блаватский. Этот "лучший специалист по античной археолодии" был на несколько лет старше остальных — ему было сильно за сорок. Бориса Александровича Рыбакова — лысоватого, с большим вислым носом и горевшими карими глазами, наш учитель еще летом в Новгороде представил как "лучшего специалиста по славянской археолодии". Но тут пришла Татьяна Сергеевна Пассек, и я уже надолго перестал замечать кого-либо, кроме нее. Я уставился на нее, и только сознание того, что это невежливо, заставляло меня на время отводить взгляд. Сразу после ее прихода Артемий Владимирович провозгласил: "Прошу к столу!

Это, впрочем, было совершенно излишне — все и так давно сидели за столом, да и негде больше было сидеть в этой комнате, разве что на кровати.

Когда рюмки наполнили, Арциховский громко провозгласил: "Архо!"

Торжественно чокнулись и выпили. После этого тосты следовали один за другим, перемежаясь рассказами о наиболее важных открытиях, сделанных в экспедициях, забавных и интересных случаях из экспедиционной и музейной жизни.

«Архо», как пояснил мне сидящий рядом Киселев, значит сокращенно «Археология». Это был как бы пароль и этим возгласом перекликались археологи на разведке — в лесу и в других местах.

А пили и друг за друга, и несколько раз за Татьяну Сергеевну, и за какие-то, неведомые нам с Шурой, археологические культуры.

Все эти начальники археологических экспедиций, работавшие в самых различных регионах страны — от Черного моря до Тихого океана и от Якутии до Таджикистана — прошли немалые испытания. В течение ряда лет они вынуждены были заниматься любимой наукой полулегально, ютясь по музеям и различным "культурно-просветительным" учреждениям. Они сохранили верность археологии, получили теперь возможность заниматься ею открыто и торжествовали.

Тут встает такой вопрос: ведь шел 1938 год. В кровавой сталинской мясорубке уже погибли десятки миллионов людей: так называемые «кулаки» из деревень и так называемые "враги народа" отовсюду. Погибло много археологов, особенно петербургских. Предстояли новые миллионные жертвы. Чудовищный механизм террора только раскручивался. Время ли было заниматься наукой, да еще и торжествовать по этому поводу? Не надо ли было бросить все, звонить во все еще уцелевшие колокола, призывать к восстанию, самим браться за оружие, идти пусть и на неизбежную, но достойную человека гибель? Сейчас, когда я пишу эти строки, мне уже исполнилось 75 лет, земной путь мой заканчивается, но я до сих пор не могу ответить на этот вопрос. Знаю только одно: люди эти — все они стали моими учителями, а некоторые и друзьями — тогда не предали человеческое в человеке, не дали остановиться взыскующим истины умам и сердцам, а душам погрузиться в черную безысходность отчаянья. И за это им низкий поклон и вечная память…

Вернемся, однако, к осенней вечеринке 1938 года У Арциховского. Хотя из-за впечатления, произведенного на меня Татьяной Сергеевной, я слышал все "в полуха", кое-что я все-таки запомнил. Приведу здесь только одну историю, рассказанную Алексеем Петровичем Смирновым, — историю довольно неприличную, но никого, кроме нас с Шурой, не удивившую, так как все давно знали его пристрастие к генеральским анекдотам.

— Как вы изволите знать, а нашим молодым коллегам позволю себе объяснить, — начал Алексей Петрович Смирнов, — Исторический музей, находящийся на Красной площади, был

построен Иваном Егоровичем Забелиным на пожертвования, собранные им у частных лиц. Человек он был примечательный — из обыкновенного смотрителя Оружейной палаты в Московском Кремле самоучкой превратился в одного из самых образованных археологов и историков. Его книги "Домашний быт русских царей", "Домашний быт русских цариц", а также книги и статьи по археологии Москвы, сохраняют свое научное значение и до сего дня. Так вот, став директором его же попечением выстроенного музея, Иван Егорович обнаружил, что на строительство ушли все собранные деньги и приобретать экспонаты решительно не на что. Тогда он обратился к друзьям и знакомым с покорнейшей просьбой помочь заполнить залы музея экспонатами. Просьба не осталась безответной, однако при этом подбор экспонатов носил в достаточной степени случайный характер. Так, в одном из залов был выставлен огромный мраморный древнеримский, извините великодушно, Татьяна Сергеевна, — фаллос. Какой-то купец обрел его в Италии за большие деньги, но дома его за это непрерывно срамила и пилила жена и, отдав фаллос в музей, он с облегчением вздохнул. Однако экспонатов все же было мало. Тогда Забелин обратился за помощью к богатейшему купцу и меценату Коршу (между прочим, основателю театра его имени в Петровском переулке, в здании которого ныне помещается филиал МХАТа). Корш, до того уже многократно жертвовавший на музей, пожелал лично убедиться в том, насколько обоснованы жалобы друга, и вместе с ним отправился на осмотр. Когда они дошли до зала, где был выставлен фаллос, Корш громогласно заявил (еще раз, Бога ради, простите, Татьяна Сергеевна): "Иван! Что же ты врешь, что у тебя ни хуя нет. Вот же он!" Однако деньги дал.

В тот момент я возненавидел Алексея Петровича за этот рассказ, но, взглянув на Татьяну Сергеевну, вздохнул с облегчением — она была очень увлечена тихим разговором с Блаватским и, видимо, ничего не слышала. Так до сих пор и не знаю — было ли это лишь уловкой или на самом деле она не слышала…

Потом археологи принялись петь песни. Одну из лих — старинный латинский студенческий гимн "Gaudeamus igitur…" — мы с Шурой хорошо знали. Ему обучил нас на уроках латинского языка профессор Кубицкий, бывший до Октябрьской революции ректором Московского Университета. Вместе с нашим славным профессором мы не раз на уроках латыни распевали этот гимн. Зато другие — старинные студенческие песни: "Быстры, как волны, все дни нашей жизни…", "От зари до зари…" и еще многие, мы слышали впервые, и они нам очень понравились.

Вскоре все они вошли в репертуар песен на наших студенческих вечеринках. Бог мой, как не были они похожи на те песни, что передавались по радио, звучали в кинофильмах и в залах перед комсомольскими собраниями!..

Между тем вечер у Арциховского шел своим ходом. Уже изрядно выпивший Толстов прекрасно прочел впервые тогда мной услышанное стихотворение Языкова:

"Свободы гордой вдохновенье,
Тебя не ведает народ.
Оно молчит — святое мщенье
И на царя не восстает.
Под адским игом самовластья,
покорны страшному ярму,
Сердца не чувствуют несчастья
И ум не верует уму.
Я видел рабскую Россию —
Перед святыней алтаря,
Гремя цепьми, склонивши выю,
Она молилась за царя."

В стихотворении речь шла о царской власти, но на ум приходило совсем другое…

Потом Толстов, уже с налитыми кровью глазами, объявил:

— А сейчас я прочту "Плач Ярославны".

Однако Артемий Владимирович тихо и грозно сказал:

— Нет, сегодня ты едо читать не будешь. А то я тебя задушу, Сердей!

Толстов смирился и сел на свой стул, а другой Сергей — Киселев — объяснил мне, давясь от смеха:

— Он как напьется до потери сознания, норовит прочесть наизусть из "Слова о полку Игореве" знаме нитый "Плач Ярославны". А после обязательно начинает приставать к Татьяне Сергеевне. Когда такое случалось на вечеринках в Институте, ей приходилось несколько раз прятаться то в уборной, то в фотолаборатории, то на складе, словом — там, где двери запираются. А сегодня Тема решил этого не допустить.

Я бросил взгляд на Татьяну Сергеевну. Она безмятежно улыбалась соседу и о чем-то с ним болтала.

Когда вечеринка закончилась и гости стали расходиться, Арциховский сказал Татьяне Сергеевне, и сказал очень громко:

— Вас проводят и доставят домой в целости и сохранности мои ученики.

Мы с Шурой это и сделали, причем по дороге я мечтал о том,

чтобы на нас кто-нибудь напал и я мог бы показать на что я готов ради спасения Татьяны Сергеевны.

Много раз после этого я провожал ее домой. Расскажу, пожалуй об одном, особенном случае, когда неясно, собственно, было, кто кого провожал.

Это произошло поздней осенью 1945 года, уже после войны, когда мы с Шурой были аспирантами Института истории материальной культуры (так тогда назывался наш Институт Археологии) Академии Наук СССР.

Москва была голодной и холодной — по крайней мере та Москва, к которой имел отношение я. Того, что можно было купить после стояния в длинных очередях по карточкам, нехватало даже чтобы не умереть с голоду. В поисках дополнительного источника питания приходилось всячески исхитряться. Я, например, какое-то время по совместительству (пока меня не выгнали) служил в Московском Художественном Театре в качестве рабочего сцены; это давало дополнительную «рабочую» карточку на хлеб. Однако возможности добывания еды были крайне ограничены. Из-за голодной дистрофии я несколько раз прямо на улице терял сознание. Это происходило и в присутствии моей будущей жены, с которой я незадолго до того познакомился. По причине той же голодной дистрофии на обеих ногах у меня появились незаживавшие гнойные трофические язвы диаметром до 6–8 сантиметров. Иногда они снаружи подсыхали, но под тонкой корочкой скапливался гной и, прорвавшись, заливал носки и брюки. Ноги приходилось постоянно бинтовать, не говоря уже о боли. Врачи рекомендовали рыночные продукты, но там с моей семисотрублевой аспирантской стипендией на рынке делать было нечего. Буханка плохого черного хлеба стоила 130–150 рублей. Мои коллеги по Институту находились в таком же или лишь немногим лучшем положении. Решили собрать деньги и отправить нас с Шурой в Рязанскую область в деревню Старая Рязань за картошкой. Когда-то на месте этой деревни находился большой и богатый город Рязань — столица одного из самых процветавших русских княжеств. В 1237 году орды Батыя взяли Рязань штурмом, перебили жителей, разграбили, а затем разрушили и сожгли город, который с Тех пор так и не восстановился. Столица Рязанского княжества переместилась в княжеский замок Переяславль Рязанский, на который и перешло название города. А деревушку, появившуюся на месте бывшей столицы, стали называть Старая Рязань. Для археологов это был клад — возможность вести раскопки на не застроенных позже огромных площадях в одночасье разрушенного и сожженного, а потому хорошо сохранившегося для археологии древнего города.

Летом Шура побывал там, провел обследования и небольшие, очень эффективные раскопки, завел многочисленные знакомства. Вот и решили ехать именно туда — знакомые не побоялись бы продать картошку, а иначе в результате доносов можно было надолго загреметь в тюрьму или лагерь, а то и получить «вышку» за спекуляцию: еще действовали «законы» военного времени.

Мы выехали в начале ноября, добрались до Старой Рязани и закупили 7 тонн картошки по вполне приемлемой цене. Но дальше начались непредвиденные сложности. Отвезти картошку в Москву нам подрядился шкипер самоходной баржи — дурной старик, пивший "по черному" со своим одноногим механиком. А вот как доставить картошку на берег Оки, как погрузить? В деревне — одни бабы, старики и инвалиды. У Шуры было искривление позвоночника. Пришлось мне сбросить ватник и на своих плечах перетаскивать эти семь тонн. А ведь это ни много, ни мало — 140 мешков…

Когда я перенес примерно сотню мешков, у меня произошло выпадение и ущемление надпупочнои грыжи. Я корчился от боли, Шура ничем не мог мне помочь, да и вообще помощи ждать было неоткуда. Я разделся до пояса и принялся сам вправлять грыжу, время от времени останавливаясь и пережидая, пока рассеется тьма в глазах от боли. Закончив сей труд (я не только не чувствовал холода, наоборот, меня все время кидало в жар), я передохнул немного, потом прямо на голом теле туго затянул свой солдатский ремень над местом выпадения грыжи и благополучно перенес на берег остальные мешки. Упал на них спиной и, блаженствуя, несколько минут глядел на темневшее небо. Однако вскоре возникла новая трудность. Куда-то сгинул одноногий механик, а без него шкипер категорически отказался вести баржу. Мы было впали в полное отчаянье, тем более, что холодало, пошел снег и появилась опасность, что с таким трудом приобретенная и подготовленная к погрузке картошка замерзнет. Ясное небо (несмотря на легкий снегопад), яркие звезды — все это предвещало усиление холода.

Тут мы заметили, что на противоположном берегу Оки, где раскинулся городок Спасск, у пристани пришвартован огромный теплоход. Мы решили попробовать уговорить капитана теплохода отвезти в Москву нашу злосчастную картошку. Отцепили одну из лодок, болтавшихся у берега и, гребя фанерками, переправились на другой берег Оки. Классный теплоход "Лазарь Каганович" действительно шел в Москву. Это был его последний в этом году рейс — навигация заканчивалась.

Молодой, щеголеватый капитан выслушал нас сочувственно, но в ответ на нашу просьбу только беспомощно развел руками:

— У меня же пассажирский теплоход, не грузовой, — проникновенно сказал он, — я не имею права брать на борт груз. Кроме того, теплоход ходит строго по расписанию, нарушать его я не могу, а до отплытия осталось совсем немного времени.

Видя наше немое отчаянье, капитан, подумав, нерешительно сказал:

— На воде я никому не подчиняюсь, но покатеплоход пришвартован, есть человек, приказы которого я обязан выполнять. Это начальник пристани. Если он прикажет — я приму вашу картошку. Идите к нему, ребята.

Мы вошли в тесный кабинет начальника пристани, расположенный в конце дебаркадера. За заваленным бумагами столом сидел в расстегнутом кителе лысоватый человек с красными от бессонницы глазами. Он безучастно выслушал нас и так лее безучастно сказал:

— Не могу я дать такого приказа. Пассажирским теплоходам строго запрещено брать груз. Это всё.

Мы с Шурой вышли и стали думать, что делать. Кто-то из нас предложил дать взятку. На том и порешили. Установили даже размер взятки — тысячу рублей. Вот только кто будет давать? Опыта по этой части у нас не было никакого, да и приобретать его не хотелось. Кинули жребий и он, к несчастью, достался мне.

Я набрался решимости, как перед прыжком с вышки, снова вошел в кабинет и молча положил на стол тысячу рублей.

— Это что? — мрачно спросил начальник пристани.

— Деньги. Вам, — упавшим голосом ответил я.

И тут смирный, немолодой начальник пристани взорвался:

— Как вам не стыдно! — закричал он, — вы что думаете, что если вы работаете в Академии Наук, то вы — люди, а все остальные нелюди? А у меня двое детей и я институт кончил. Забирайте ваши паршивые деньги и уходите отсюда.

Я бы убежал, куда глаза глядят, но у меня не было другого выхода и я стал бормотать:

— Наши сотрудники собрали последние деньги. В Москве очень голодно. А картошка замерзнет на берегу…

И все в таком роде.

Начальник пристани, несколько успокоившись, все же непреклонно сказал:

— Уходите из моего кабинета.

Когда я вышел, забрав деньги, никаких пояснений Шуре давать не потребовалось. Видимо, по выражению моего лица он и так все понял. В полном отчаянье, мы привалились на корточках к перилам дебаркадера и застыли. Через несколько минут из своего кабинета вышел и, не глядя на нас, куда-то ушел

начальник пристани, но нам было уже все равно. Неожиданно с борта теплохода в аллюминевый рупор страшным голосом заорал боцман:

— Которые здесь из Академии Наук! Быстро на борт. Убираем трапы. Отдаем швартовы.

Этот вопль показался нам с Шурой райской песней. Мы быстро взбежали на палубу. Белоснежный красавец теплоход "Лазарь Каганович", сверкая огнями, отошел от причала и, к полному недоумению пассажиров, поплыл не в сторону Москвы, а к противоположному темному берегу Оки. Там матросы бросили сходни и молниеносно, с молодецким гиканьем, перетащили нашу картошку на корму и хозяйственно прикрыли ее плотным брезентом. Теплоход снова развернулся и на этот раз взял курс на Москву. Мы, пошатываясь, стояли на палубе, когда подошел старик боцман и сипло сказал:

— Сергей Александрович просил передать вам ключи от вашей каюты — номер 18, — и протянул нам ключи. Видимо, так звали капитана, и боцман решил, что мы с ним знакомы. Добравшись до отличной двухместной каюты, совершенно обессиленные, мы рухнули на койки, и тут нас наконец «достали» все испытания, выпавшие нам в этот день. Нас обоих стала бить крупная дрожь: стучали зубы, тряслось все тело, что-то булькало внутри. Неожиданно раздался стук в дверь, и в ответ на наше приглашение вошел матрос с подносом, покрытым белоснежной салфеткой, в одной руке и двумя одеялами, перекинутыми через другую

— Сергей Александрович прислал, — сказал он, хотя никаких пояснений не требовалось. Мы мгновенно выпили по стопке водки, съели большие порции жареного мяса с гречневой кашей — лукуллово пиршество по тем временам. Дрожь прошла. Мы пошли благодарить капитана. Он выслушал нас, усмехнулся и вдруг с какой-то детской гордостью сказал:

— Может вы хотите с борта кому-нибудь телеграмму послать? Пожалуйста. У нас для этого есть все, что нужно.

Бесстыдно крадя текст у Ильфа и Петрова, мы составили телеграмму на имя директора нашего института (тогда им был, к сожалению недолго, академик Борис Дмитриевич Греков) такого содержания: "Погрузили картошку бочками. Миллион поцелуев. Монгайт. Федоров." Потом Борис Дмитриевич говорил нам, что он недоумевал и смеялся, читая эту телеграмму.

Благополучно доплыв до Москвы и надежно укрыв картошку в одном из портовых пакгаузов, мы отправились по домам. Едва я успел умыться, как позвонил приятель, поздравил с успешным завершением такого трудного и нужного дела и сказал, что

сегодня — вечер нашего Института.

И вот я, смертельно усталый, вместо того, чтобы завалиться спать, поплелся на этот вечер. Там я изрядно выпил, сразу же опьянел, и, кроме того, возбужденный и обрадованный поздравлениями коллег, перестал чувствовать усталость. Я начал горячо объяснять моей приятельнице, высокой, необыкновенно добродушной и флегматичной Лидии Алексеевне, какой замечательный прекрасный человек Татьяна Сергеевна Пассек и как я ее люблю. Лидия Алексеевна, покуривая, довольно долго терпеливо слушала, а потом спокойно сказал: — Это все правильно и хорошо, что вы говорите. Но почему вы говорите это мне? Скажите это самой Татьяне Сергеевне.

— Прекрасная мысль, — одобрил я и, пошатываясь, пошел к Татьяне Сергеевне. Та, увидев в каком я состоянии, опасаясь каких-либо эксцессов, поспешно сказала:

— Вот что, голубчик, я устала и хочу домой. Проводите меня, пожалуйста.

Мы пошли к выходу, и я услышал, как за моей спиной один из моих учителей — Сергей Владимирович Киселев (тогда уже ставший заместителем директора нашего Института) сказал своей жене Лидий Алексеевне:

— Лидасик! Пойдем за ними. Там будет что-нибудь интересное.

Увы, он не ошибся. Мы прошли совсем немного, как навстречу нам попался человек в шикарной шубе с бобровым шалевым воротником. В руках он держал большую корзину с цветами. Когда он поравнялся с нами, я запустил руку в эту корзину и вытащил оттуда довольно пышный букет, который галантно преподнес Татьяне Сергеевне. Сзади раздался оглушительный хохот Киселева, человек в шубе застыл с разинутым ртом, а бедная Татьяна Сергеевна оказалась в весьма двусмысленном положении. Брать цветы, добытые таким способом, — стыдно, не брать — Бог его знает, как я на это прореагирую. Она все же взяла цветы и пролепетала: "Благодарю вас".

Вскоре меня на свежем воздухе совсем развезло. Я с трудом держался на ногах, и значительную часть пути Татьяна Сергеевна почти тащила меня на себе. Наконец мы добрались до ее дома и она, облегченно вздохнув, поблагодарила меня и стала прощаться. Но не тут-то было. Я заявил:

"Нет, нет. Я доведу вас до самой двери вашей квартиры."

Мы зашли в лифт, и я в приступе галантности не позволил ей нажимать кнопку лифта, а сделал это сам. Татьяна Сергеевна жила на пятом этаже, но я был в таком состоянии, что никак не

мог попасть пальцем в кнопку с цифрой 5. То нажимал 9, то 3, то еще какую-нибудь. Словом, когда я наконец попал-таки в нужную кнопку и мы вышли из лифта, на лестничной площадке стояли Иван Яковлевич и Вера Сергеевна, которые с изумлением наблюдали, как их жена и дочь в два часа ночи катается с аспирантом в лифте вверх и вниз…

На другое утро, испытывая мучительный стыд, пересиливая себя, я отправился к Татьяне Сергеевне извиняться. Она открыла мне дверь, но я не успел произнести ни одного слова, как она сказала:

— Ничего этого не нужно. Я все понимаю. Лучше пойдем пить чай.

После этого она поцеловала меня и мы пошли в "чайную комнату"…

"За Непрядвой лебеди кричали..."

О предстоящей работе я имел самое смутное представление. Понимал, конечно, что задача не легкая и беспрецедентная. Удивлялся, как это Борис Дмитриевич решился поручить ее мне — аспиранту. Ведь трое других членов экспертной группы были крупными, известными учеными, моими учителями. Профессор Алексей Петрович Смирнов работу в Институте совмещал с постом заместителя директора Государственного Исторического Музея — одного из важнейших в стране и был лучшим специалистом по средневековой археологии Среднего и Нижнего Поволжья. Меня немного раздражало его пристрастие к грубоватым и безвкусным анекдотам, но, несмотря на это, я его очень уважал и любил. Помню, как еще до войны, будучи студентом, пришел я в его шикарный, обставленный старинной мебелью красного дерева кабинет в Историческом Музее и, запинаясь, попросил разрешения посмотреть в фондах коллекции из курганных раскопок, производившихся во второй половине прошлого века графом Уваровым.

Каково же было мое смущение, когда он — тогда уже известный ученый, заместитель директора одного из крупнейших музеев мира — не только разрешил мне посмотреть коллекции, но взял ключи и ради меня — никому не ведомого студента — спустился со мной в подвал и часа два показывал мне коллекции, сопровождая их важными и интересными комментариями, очень расширившими мои весьма скромные познания. Я не только тогда испытал к нему чувство глубокой благодарности и восхищения — это на всю жизнь послужило для меня уроком обращения с младшими коллегами и студентами…

Крупным ученым и оригинальнейшим человеком была не молодая уже Анна Васильевна Збруева. Невысокого роста, с утиным носиком, спутанными пепельными волосами, серыми, часто моргающими глазками, она имела совершенно невзрачный вид. Это, однако, была цельная и очень одаренная натура.

Специалистом она была по одной из ярчайших археологических культур раннего железного века в нашей стране — Ананьинской культуре, распространенной по обоим берегам Камы. Вела там раскопки в очень трудных условиях, особенно для женщины, да еще и немолодой. И всегда с блестящим успехом. А на ее доклады, имевшие к тому же часто весьма интригующие названия (например, "Пустая Морквашка"), приходили сотрудники из всех подразделений нашего института. То, что она показывала и рассказывала, было не только захватывающе

интересно, но и вызывало гордость за людей, которые еще в 1 тысячелетии до нашей эры, в таких, казалось бы, забытых Богом Местах, так много и хорошо умели делать, создали не только высокую для своего времени цивилизацию, но и своеобразное, ни на что другое не похожее искусство. Выводы ее были всегда неожиданными, парадоксальными, даже дерзкими, и при этом неопровержимыми. Но такой она была, когда "Аполлон требовал ее к священной жертве". Зато в обычное время… Смех и грех… Старая дева, целомудренная до обалдения, едва ли не терявшая сознание от анекдотов Алексея Петровича, она была в обыденной жизни потрясающе непрактична, рассеянна, наивна. Однако только человек, забывший Бога и собственную мать, мог бы позволить себе ее обидеть. Во всяком случае, у нас в институте таких не находилось. Да и ее необыкновенной добротой никто у нас не злоупотреблял, хотя деньги то и дело одалживали.

Еще один член нашей экспертной группы, Валерий Николаевич Чернецов, был не только старшим научным сотрудником нашего института в звании профессора, но и главным шаманом народа манси — одного из самых замечательных народов Русского Севера.

Получилось это так: еще учась в 20-е годы на этнографическом отделении исторического факультета Ленинградского университета, он обратил внимание на необычайно высокую (до 80 %) смертность среди студентов недавно открытого в Ленинграде Института народов Севера. Студенты умирали от пустяковой простуды, расстройства желудка и т. д. Он много времени провел в этом институте, расспрашивая студентов, но совершенно безрезультатно. Тогда, по окончании Университета, он решил поехать в Ханты-мансийский национальный округ (с одним из выживших студентов-манси он подружился) и выяснить все на Месте.

На Севере он совершенно влюбился в манси, в их благородство, талантливость, чистоту и другие прекрасные качества. Очень полюбил и их быт, и суровую природу Севера. А, с другой стороны, был потрясен тем, как русские — служащие различных факторий и просто заезжие авантюристы и преступники всех мастей — обманывают и обкрадывают манси, спаивают их, заражают венерическими болезнями и т. д. Даже когда русские власть имущие хотели сделать для манси благо, оно оборачивалось злом. Вот пример: строили из привозного леса или из кирпича целые поселки и едва ли не насильно заставляли манси из чумов переселяться в эти поселки и жить вперемешку с русскими. А в тундре нет болезнетворных микробов. Поэтому у манси полностью отсутствовал иммунитет к ним. Так, походя,

открылась и тайна высокой смертности студентов Института народов Севера.

Всей душой полюбив манси и полный сочувствия к ним, Валерий Николаевич остался в Ханты-Мансийском национальном округе и прожил там 18 лет. Он боролся со всякими злоупотреблениями и преступлениями по отношению к манси, при этом не раз подвергая опасности собственную жизнь, писал для них различные бумаги (манси были бесписьменным народом), представлял их интересы перед русской советской администрацией, в судах и т. д.

Специально он окончил фельдшерские курсы и лечил манси. Полюбил мансийку и женился на ней. Был потрясен красотой мансийских легенд, которые сохранили этому народу его историю в мифологизированном виде. Он создал для манси письменность и, поскольку манси его уже почитали в каждом чуме, стал эту письменность понемногу внедрять. Однако он прекрасно понимал, что целый ряд мансийских легенд и мифов доступен только посвященным. Поэтому он не противился, когда манси ему предложили вступить в один из их родов, а потом и во фратрию. Вскоре его избрали шаманом, а затем и великим шаманом народа манси. Это не только открыло перед ним самые сокровенные предания и легенды народа, но сделало его советы и вообще его слова еще более весомыми. Однако через 18 лет пребывания у манси он тяжело заболел и вынужден был вернуться в Россию, где, увы, очень скоро умерла его мансийская жена. Самому же Валерию Николаевичу врачи категорически запретили не только жить на Крайнем Севере, но даже на короткое время приезжать туда. Он очень тосковал. В конце концов занялся археологией Урала — все-таки поближе к его любимому Северу. Через несколько лет он женился на Ванде Мошинской — моей приятельнице еще со студенческой скамьи. Я очень любил эту семью, а когда и сам женился, мы стали дружить домами.

Однажды, зная, что Валерий Николаевич — глубоко верующий христианин, я спросил его, как же он это совмещает с деятельностью великого шамана. Валерий Николаевич ответил, что никакого противоречия здесь нет, что он и в этом звании выполняет обеты христианского послушания и что это далее помогает ему проникнуть в психологию унижаемого народа с тем, чтобы лучше помогать ему. Был он и сам похож на мансийца — невысокий, крепкий, смуглый лицом, овеянным всеми северными ветрами, с мягкими, неторопливыми движениями, и обычно (не во время камлания) тихим голосом. Манси продолжали считать его своим великим шаманом и приезжали к нему в Москву по

множеству разных дел, за советами и помощью. Он был замечательно добрым, милым человеком, но было в нем множество необъяснимых странностей, порою ставивших в тупик не только его друзей и учеников, но и Ванду.

Всех троих коллег по экспертной группе я считал своими учителями. Да и действительно, у них было чему поучиться. Прежде всего — археологии. Русская археологическая школа была одной из сильнейших в Европе и кое в чем могла соперничать даже с непревзойденной английской школой. И это после большевистской революции, когда русские археологи вынуждены были работать в условиях гонений на науку и на Ученых, не говоря уже о массовом терроре, при очень плохой технической оснащенности, при минимальных средствах, часто в труднейших обстоятельствах.

Конечно, это было благодаря их талантам, энтузиазму, бескорыстной преданности науке, высокой работоспособности, наконец, сопротивлению гонениям. Однако, как это ни странно, развитию археологии, во всяком случае теоретической, в какой-то мере и до определенного времени способствовала и официальная идеология. Так, в Петербурге до революции и в двадцатые годы работал выдающийся языковед и археолог Николай Яковлевич Марр. Теоретические его положения, вплоть до разгрома их Сталиным в конце сороковых годов, считались в советской науке основополагающими. Так вот, согласно теории стадиальности, разработанной Марром, все народы в развитии своей материальной и духовной культуры проходят определенные, сходные стадии, причем переход из одной стадии в другую может происходить скачкообразно при полном и резком изменении облика культуры. Эта теория подрывала основной метод археологов в прослеживании истории того или иного этноса — по преемственности в развитии основных элементов материальной культуры. Однако мы знаем из опыта, что этнос и культура — далеко не всегда совпадающие понятия, что один и тот лее этнос может иметь на разных этапах своего развития материальную культуру совершенно разных обликов и, наоборот, материальная культура одного и того же облика может существовать одновременно у нескольких этносов. Теория Марра, если, конечно, ее не абсолютизировать, давала возможность создать некоторые ориентиры в этом хаосе. Далее, марксистская диалектика исторического развития с ее выделением роли революционных скачков в процессе эволюционного развития, также позволяла по-новому осмыслить ряд исторических феноменов. Другое дело, что став в России государственной идеологией, марксизм омертвел, стал убивать ту самую мысль,

которую он на заре своего существования будил. Да и по существу, ничего марксистского в "идеологии' новых правителей России не осталось — это были сугубые прагматики, не брезговавшие никакими средствами для упрочения своей власти.

Но в науке все это сказалось не сразу, и теоретические изыскания Марра и других марксистских ученых на протяжении ряда лет способствовали развитию беспокойной ищущей мысли. Об этом свидетельствует хотя бы то, что под влиянием русской советской археологии безусловно находился, сам об этом писал и говорил, как я думаю, самый выдающийся археолог XX века — шотландец Гордон Чайльд, с которым я познакомился во время его приезда в Москву. Именно под влиянием русской советской археологии Гордон Чайльд по-новому осмыслил одну из интереснейших эпох в истории человечества — энеолит, ввел ныне общепринятый термин "неолитическая революция". Гордон Чайльд приезжал на археологические конференции в Москву и потом всячески пропагандировал советскую археологию. Кончилось все это плохо. В 1968 году, после вторжения советских войск в Чехословакию, Гордон Чайльд — эта чистая душа — покончил жизнь самоубийством.

Однако было время, когда не только студентам, но и иностранным коллегам было чему поучиться у русских археологов.

Ну, а обо мне и говорить не приходится. Однако учился я у своих старших товарищей по институту далеко не только археологии. По существу, вся их психология, их нравственность, их идеалы, находились в полном противоречии с официальной коммунистической советской теорией и практикой: они основывались на тех моральных и нравственных ценностях, которые были выработаны человечеством на протяжении тысячелетий его развития, и прежде всего на тех заповедях, которыми людей одарило христианство.

Именно в этом отношении работа бок о бок с Членами экспертной группы, когда мы на протяжении почти двух месяцев общались почти круглосуточно, Когда мы все были напряжены до предела, а наши Чувства совершенно обострены, эта работа дала мне Необычайно много…

Впрочем, начало было удручающим. Нерешительно вертя в руках только что полученный международный ценник, я спросил Смирнова, как мы сможем им пользоваться, если в нем нет прямых аналогов тем памятникам, которые нам предстоит обследовать. Алексей Петрович насупился и пробурчал:

— Однажды археологи XXX века нашли в раскопе кусок каменной стены XX века с трехзначной надписью. Изучая ее,

эпиграфист сказал: "Так, первый знак напоминает римскую цифру десять. Что ж, люди XX века любили отмечать всякие юбилеи. Второй знак напоминает римскую же цифру пять. Это как: будто подтверждает мою гипотезу. Но вот третий знак?" После долгого раздумья он в сердцах воскликнул: "А хуй его знает, что это такое!" Увы, мой друг, это — все, что я могу ответить на ваш вполне уместный вопрос…

Наступил день отъезда…

В грозных мандатах Шверник предписывал всем государственным учреждениям, общественным организациям и частным лицам оказывать нам всемерное содействие: вне всякой очереди, по первому требованию предоставлять жилье, все виды транспорта и связи, обеспечивать продуктами питания и нужными для работы материалами. Кроме того, мы получили по несколько банок еще не виданных американских консервов с беконом и какао (раньше я знал только банки со знаменитой тушенкой), которые, впрочем, оставили семьям, полагая, что с такими мандатами мы и так не пропадем. На вокзале военный комендант предложил нам ехать в генеральском вагоне, где нам будет предоставлено отдельное купе и вообще все удобства Однако Алексей Петрович сказал, что его любовь к генералам дальше анекдотов не распространяется и что он предпочитает ехать в обычном вагоне, а мы его дружно поддержали. Комендант посмотрел на нас с недоумением — рейтинг генералов был тогда очень высок — далее пожал плечами и выписал нам литер в общем плацкартном вагоне. Это был обычный зеленый вагон довоенного, и даже, наверное, дореволюционного времени; мы в страшной тесноте и толчее влезли в него и с трудом кое-как расположились. В каждом открытом купе (а других в этом вагоне и не было) находилось по 16 человек. В основном купе на двух нижних полках сидело по четыре человека, на вторых и багажных полках — лежало по одному. На боковых полках — на нижней сидело по трое и один лежал на второй. А тут еще вещи…

Поезд тронулся, и вагон сразу же начал жить своей особой жизнью. Помните, конечно, у Блока:

"Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели.
Молчали желтые и синие,
В зеленых плакали и пели…"

Вагонов первого и второго класса (желтых и синих) в нашем поезде не было видно, разве что роль их играл коричневый генеральский вагон в конце состава. Все остальные вагоны, как и

наш, были зелеными.

У нас действительно плакали и пели. Но не только. Еще ели, пили водку, курили, трепались, смеялись, спорили. Но и это не было главным занятием. Почти все пассажиры обоего пола были молодыми, преобладали военные: кто ехал на фронт, кто в отпуск с фронта, и все в одном направлении, что само по себе было загадочным. Во всяком случае, все находились в состоянии нервного возбуждения и различных степеней опьянения.

Ну, вот и совокуплялись. Вернее даже не в самих вагонах, а в тамбурах. Проводники напрочь закрыли двери вагонов и открывали их, только чтобы выпустить приехавших. Так что в тамбурах нечего было опасаться помех, а время поджимало, и вообще не известно, что будет завтра. Вот в тамбуры и отправлялись пары, иногда по три одновременно. Тамбуры были буквально раскалены от распаренных тел, хотя там, конечно, не раздевались — так, приспускали, расстегивали. В открытых дверях тамбуров неотлучно стояли проводники — то краснолицый седой Сергей Иванович, то щербатый рыжеватый Сережа — следили, чтобы пары не заходили в уборные, что создало бы для других пассажиров непреодолимые трудности, хотя и так добраться туда было не просто. Своеобразная ситуация "тамбур — уборная" в общем была вполне понятна и никаких нареканий или проблем не выдвигала. Для всех нас, кроме Анны Васильевны. Она уже много часов сидела у окна, и лицо ее становилось все более несчастным. Тут к ней наклонился Алексей Петрович и, поводя своим горбатым носом, стал что-то шептать ей на ухо, отчего Анна Васильевна страшно покраснела. Так или иначе, стороны достигли соглашения, и Анна Васильевна, уже едва переставляя ноги, добралась до вожделенного места. Перед ней шествовал Алексей Петрович, который не только расчищал ей путь, но и закрыл от нее вид на тамбур. Так поступал он и в дальнейшем, каким-то образом улавливая нужный момент.

С нами ехали в основном солдаты и офицеры чинами не выше капитана. Видимо, для старшего комсостава были предназначены другие вагоны. Вот капитан Сеня Колюжный, совершив очередной челночный рейд в тамбур с миловидной девушкой, сержантом-связисткой, и, настроившись на философский лад, спросил меня:

— Жора, как ты думаешь, сколько времени лейтенант остается живым на передовой?

— Откуда я знаю, Сеня? Ну, конечно, недолго.

— Нет, брат, ты человек ученый — обязан знать, — даже с некоторым ожесточением сказал Сеня.

— Ну, извини, не знаю.

— Вот так вы, интеллигенты. Да вы просто не хотите знать. А я вот подсчитал — два часа, а даже солдат больше шести часов.

— Да Господь с тобой, быть того не может, — вырвалось у меня.

— Может. Так оно и есть, в среднем, конечно, — я подсчитал. На передовой младшие и лейтенанты обычно взводами командуют. В атаку они взводы ведут. А в кого немец прежде всего целит — в них. Вот и получается. Я точно подсчитал. Конечно, бывает — в затишье иной и 10 суток проживет, 240 часов значит. Но и он мне статистики не испортит. Потому как в наступление под ураганным огнем его сотни других подправят…

Да… мой короткий опыт пребывания на фронте меня на эти мысли не натолкнул…

Вот, значит, откуда, распространенная тогда поговорка: "Меняю мужа-лейтенанта на инвалида-спекулянта".

Выходит, не один Сеня занимался этой статистикой.

В таковых и подобных рассуждениях доехали мы до предместий Сталинграда. Уже километров за 10 до станции по обе стороны железной дороги громоздилась искореженная военная техника: различных видов танки, артиллерийские орудия, грузовики, бронетранспортеры. Они иногда вздымались на несколько метров, закрывая все вокруг. В вагоне притихли. Большинству пассажиров эта картина говорила многое. А иван-чай, бурьян, репейник, чертополох, проросшие между гнутым, опаленным, уже начавшим ржаветь железом, действовали еще более угнетающе…

Подойдя к развалинам вокзала, наш поезд, страшно завизжав железом и заскрипев чуть ли не каждой доской, остановился. Затем его отвели на запасной путь. Старшина — начальник охраны (тогда поезда ходили с охраной из 8—10 человек) сказал, что надо пропустить воинские эшелоны, и мы сможем снова тронуться в путь не раньше, чем часа через четыре. Мы вышли на кое-как утрамбованную щебенку — туда, где, видимо, когда-то был перрон. Здание вокзала было полностью разрушено. Я так и не понял, где размещались привокзальные службы, военная комендатура, телеграф… Вокруг, на всем обозримом пространстве, то в одиночку, то группами торчали скелеты домов — с опаленными стенами, с пустыми глазницами окон, и лишь с остатками кое-где лестниц и межэтажных перекрытий.

Молча вышли мы на то, что когда-то было привокзальной площадью. Вокруг громоздились только развалины. Но — вот чудо: в центре площади находился почти полностью сохранившийся огромный круглый цементный фонтан,

украшенный цементным же хороводом играющих детей, у которых были отбиты только носы, а у одной фигурки — и рука.

Улиц, площадей, мостовых, тротуаров и в помине не было. Однако там и сям виднелись петлявшие, то поднимавшиеся, то опускавшиеся, уже нахоженные прямо по развалинам уходящие куда-то вглубь этих развалин тропинки.

Вскоре нам попался пожилой вислоусый майор — начальник штаба саперного батальона, одного из тех, что занимались здесь расчисткой и прокладкой коммуникаций. Звали его почему-то Клавдий. Хотя и безмерно усталый, майор гостеприимно отвел нас ъ распоряжение своего батальона. Здесь на хорошо выровненной площадке стояли палатки, столы и лавки под брезентовыми навесами, трещавший бензиновый движок, несколько бульдозеров и скреперов; повсюду валялись лопаты, кирки, мотки проволоки и проводов различного сечения, гигантские катушки кабеля. Дымили полевые кухни. На отдельной площадке стояли несколько «виллисов» и "студебеккеров".

Клавдий Петрович накормил нас горячим и вкусным обедом из американских консервов — гречневой кашей с кусочками тушеного мяса и жареным луком, — напоил крепчайшим чаем. От него мы узнали, что среди развалин живет, в основном в подвалах разрушенных домов, довольно много людей, которые неизвестно чем питаются и вообще непонятно как существуют.

— Неужто вы им не помогаете? — ужаснулась Анна Васильевна.

— Как не помогаем? — уныло ответил Клавдий Петрович. — Конечно, помогаем. Да разве всех накормишь?

Еще от него мы узнали, что как раз около фонтана был убит в бою Хосе Ибарури — офицер Красной армии, сын Долорес Ибаррури.

…Ветер гулял над развалинами Сталинграда, принося запах то щебенки и раскаленного известняка, то лебеды и иван-чая, то тухлой рыбы, то какой-то гнили и вовсе черт знает чего…

Страшно было далее подумать о том, какого труда потребует расчистка и восстановление города… Сколько жизней там погребено…

Наконец, мы тронулись в путь. Снова несколько километров тянулись груды искореженной военной техники.

Когда, наконец, гремя, поезд, миновал это чудовищное кладбище и вновь открылись жаркие приволжские степи, все вздохнули с облегчением.

А я вспомнил, как морозной зимой 42–43 года пошел на вокзал провожать знакомых ребят из Военно-воздушной академии

имени Жуковского. Тогда шел самый разгар Сталинградской битвы. Вот и сняли с учебы слушателей 1 × 2-го курсов этой Академии и отправили в Сталинград. Нет, не летчиками — в пехоту. Они знали, что обречены. Немцы уничтожали большую часть подходивших пополнений еще на берегу Волги или на переправе (так стало и с ними — мне рассказали). Умные, талантливые, молодые (других в Академию не брали), красивые…

Поджидая отхода поезда, они вместе с провожающими сгрудились на перроне и негромко пели:

Есть одна хорошая песня у соловушки, —
Песня панихидная по моей головушке.
Цвела — забубённая, росла, ножевая,
А теперь вдруг свесилась, словно неживая…
Пейте, пойте, в юности, бейте в жизнь без промаха,
Все равно любимая отцветет черемухой.

С тех пор прошло полвека, а эта песня, на слова Есенина все еще звучит в моей душе.

… Доехав, наконец, до Краснодара и распрощавшись с дорожными знакомыми, вышли мы из страшной вагонной духоты на перрон, где было чисто, свежо и прохладно.

Здесь встретил нас седой стройный генерал-майор, с неснимающейся черной перчаткой на левой руке. «Протез» — догадался я.

А генерал, вежливо и приветливо поздоровавшись, представился:

— Василий Дмитриевич Сухотин. Руковожу местным отделением комиссии. Так что нам с Вами предстоит вместе поработать.

Тонкие, интеллигентные черты лица Василия Дмитриевича, его естественная и дружелюбная манера держаться произвели впечатление на всех нас, даже на Алексея Петровича.

Кроме генерала, нас встречал загорелый дочерна мужчина средних лет, увидев которого, Алексей Петрович оживился и, знакомя нас, сказал:

— А это археолог Никита Владимирович Анфимов, директор Краснодарского музея, мой старый приятель.

Никита Владимирович тут же пригласил нас жить в музее.

— Хоть и не очень-то комфортно, но спокойно, — пояснил он.

Однако Василий Дмитриевич сказал, что в гостинице нам будет удобнее, и мы, свободно разместившись в трофейном «опель-адмирале», туда и направились.

Краснодар поразил меня красотой и каким-то даже странным

для военного времени благополучием Разрушенных домов попадалось очень мало. Аккуратные, ухоженные дома, в основном одноэтажные я двухэтажные, обычно имели впереди зеленые палисадники, а сзади — фруктовые сады. Вдоль тротуаров зеленели каштаны и липы.

Огромный красный неуклюжий пятиглавый собор — из тех, что во множестве строились на Руси во второй половине XIX века — также со всех сторон, кроме западной, был обсажен деревьями.

На улицах было полно народа, в том числе и молодежи, чего в центральных русских городах в то время не наблюдалось. Тут я обратил внимание на одну странную особенность. У всех красивых молодых женщин на левой щиколотке были марлевые повязки шириной примерно по 10 сантиметров.

Когда я попросил разъяснений у Василия Дмитриевича, он довольно мрачно ответил:

— Девушкам, работавшим во время оккупации в офицерских публичных домах, немцы татуировали на левой ноге своего орла со свастикой. Свести такую татуировку невозможно — только, может быть, пере садкой кожи.

— Бедняжки, — расстроилась Анна Васильевна.

— Да Вы их не жалейте, — пробурчал Никита Владимирович, — это в солдатские публичные дома девушек загоняли силой. В офицерские они поступали на работу только добровольно.

Однако Анна Васильевна снова упрямо повторила: «Бедняжки», вызвав у Никиты Владимировича даже нечто вроде замешательства.

Но вот мы подъехали к двухэтажному зданию гостиницы — как разъяснил нам Василий Дмитриевич, пока единственной, работавшей в городе.

Директор гостиницы — лысоватый толстяк с добрым бабьим лицом, на котором особенно нелепо выглядели черные чаплиновские усики — весь взмок, когда прочел наши мандаты. Однако через несколько секунд он лучезарно улыбнулся Алексею Петровичу, отер руки о свою гимнастерку, на которой красовались три золотых и одна красная нашивка (три тяжелых и одно легкое ранение), орден Красной звезды и медаль За отвагу", и сказал:

— Все будет сделано, товарищ профессор, только вот придется подождать несколько минут. Но отдельного номера даме мы предоставить не сможем. В вашем же номере угол отгородим ширмочкой — у нас есть такая — орехового дерева и с инкрустациями. Вы с товарищами либо здесь в коридорчике обождите, либо в нашем садике.

Мы действительно немного погуляли по чистому веселому гостиничному садику, но когда вернулись, номер наш еще не был готов. А по коридору слонялись без видимого дела несколько штатских людей разных возрастов. Один из них — пожилой, худющий человек в очках и синем френче полувоенного образца — попросил меня дать ему закурить. Я дал. А потом спросил, что он и другие люди в коридоре здесь делают.

— Да вот, понимаешь, — сумрачно ответил он, — жили мы здесь в номере, 12 человек, все командировочные, все по брони. Так нелегкая принесла какое-то начальство из Москвы. Нас и выбросили. Теперь сами не знаем, что делать. Хоть под забором ночуй.

У Алексея Петровича, который слышал этот разговор, лицо окаменело. Он знаком подозвал к себе директора и ледяным тоном ему сказал:

— Через 10 минут Вы обратно поселите всех, кого Вы из-за нас выгнали из номера, и извинитесь перед ними. Если опоздаете хоть на минуту, я прямо отсюда позвоню Швернику и доложу ему о Ваших безобразиях — тогда берегитесь. Засекаю время. — и он действительно посмотрел на часы.

Толстяк позеленел, пробормотал: "Так точно, товарищ профессор", — и куда-то убежал со всех ног. А Алексей Петрович обратился к директору музея: "Если ваше любезное приглашение остается в силе, то мы не преминем им воспользоваться".

— Ну, конечно, милости прошу, — отозвался Анфимов и не без злорадства добавил: — Я же говорил…

С гостиничным номером status quo bellum было восстановлено даже раньше, чем через 10 минут, и мы снова сели в машину и направились в музей. Анфимов сказал Анне Михайловне:

— Мужчины будут жить в сухом и чистом полуподвале, а Вас мы поместим в маленькую комнату на первом этаже, где фонды. Вот только, — немного замялся он, — эта комната находится рядом с уборной.

— Это ничего, это ничего, — поспешно ответила Анна Васильевна, и я понял, что она все-таки изрядно настрадалась в поезде.

По дороге я думал о том, как сильно испугался директор, а ведь фронтовик был, и не из робких — медаль "За отвагу" просто так не получишь. И это не первый раз наблюдал я, что люди нормальные и даже очень храбрые на фронте во всю "празднуют труса" на «гражданке». Видимо, с оружием в руках, имея перед собой врага и цель, человек чувствует себя в большей безопасности от наших хозяев — хотя это иллюзия, один СМЕРШ

чего стоит. А вот демобилизовавшись, он снова сознает себя в полной их власти, проявления которой непредсказуемы…

Полуподвал, находившийся под основным зданием музея, и в самом деле оказался сухим и чистым. Окна его, на три четверти выходившие в специальные ниши, только сантиметров на 30 возвышались над землей, так что света было не слишком много. Анфимов с моей помощью притащил со склада три матраца, которые мы положили прямо на пол. Из своей квартиры, помещавшейся тут же при музее, он принес подушки, одеяла, чайник, ложки и кружки. А дощатый некрашеный стол и лавки в полуподвале и так были…

На другое утро мы собрались в просторном кабинете Сухотина, помещавшемся в трехэтажном белокаменном особняке с затейливой, стиля модерн, лепниной на фасаде, возведенном, видимо, в конце XIX века. Кроме нас, в кабинете было еще трое офицеров и один Штатский — работники комиссии — а также элегантная девушка-секретарша.

Василий Дмитриевич усадил нас за длинным столом, перпендикулярно примыкавшим к его обширному письменному и роздал нам отпечатанный на хорошей бумаге международный ценник памятников истории, археологии, искусства и культуры, а также карты-двухверстки Краснодарского края с отметками в виде разноцветных кружочков. Затем он сказал примерно следующее:

— Вам предстоит большая работа. Ценник имеет только вспомогательное значение. Он поможет вам, как в английских судах, по аналогии определить ценность того или иного памятника и стоимость нанесенного ему ущерба. На картах помечены объекты, входящие в вашу компетенцию, может быть и не все (это вы установите сами), но, безусловно, подавляющее большинство. Вам предстоит работа как в самом Краснодаре, так и в большей части Краснодарского края — в различных станицах, деревнях и их окрестностях. Полагаю, необходимо, для лучшей вашей ориентировки, ознакомить вас с особенностями истории края самых последних лет. Краснодар был захвачен немцами 11 августа 1942 года. Оккупация города и края продолжалась немногим более года. Политика оккупационных властей здесь была совсем иной, чем в центральной России. После тотального уничтожения евреев, коммунистов и лиц, занимавших мало-мальски заметное официальное положение, немцы террористических актов по отношению к местному населению не проводили. Более того они стремились всячески подчеркнуть свое благорасположение. Например, целые армейские немецкие подразделения выделялись для помощи крестьянам в полевых

работах. Может быть, тут сыграло роль то, что кто-то убедил Гитлера, будто казаки-де — особая нация арийского происхождения, потомки остготов. Был даже создан из кубанских казаков пронемецкий кавалерийский корпус, командовать которым был поставлен кубанский же казак из эмигрантов — генерал Марков. В этом отношении немцы проявили к кубанским казакам большее доверие, чем к донским, у которых таким же корпусом командовал немецкий генерал фон Паннвиц.

Казаки из корпуса генерала Маркова вели себя по отношению к местному населению гораздо более жестоко, чем немцы. Так, были физически уничтожены все родственники солдат и офицеров, служивших в Красной армии; различным реквизициям и притеснениям подвергалось русское — не казачье, а иногда и казачье — население.

Когда немцы перешли в этом регионе к обороне, они от Краснодара до Тамани создали мощный оборонительный вал, который назвали "Голубой линией". Вал этот поручили оборонять прежде всего корпусу генерала Маркова. Корпус сражался с огромным ожесточением — его солдаты и офицеры знали, что ждет их и их близких в случае победы Красной армии. "Голубую линию" никак не удавалось прорвать, и тогда советское командование создало кавалерийский кубанский казачий корпус, командовать которым поставило кубанского же казака генерал-лейтенанта Кириченко. Корпус "Голубую линию" взял и расправился с марковцами и их близкими со страшной жестокостью.

Исходя из всего этого, не удивляйтесь, если в станицах к вам будут относиться недружелюбно и даже враждебно. Старайтесь проявлять понимание, терпение и терпимость. Однако хочу вас честно предупредить: у местного населения с начальством из центральной России (а вас будут принимать именно за таковое) — старые и далеко не дружеские счеты. Могу выдать каждому по пистолету и запасу патронов.

Алексей Петрович от оружия от имени всех нас отказался, сказав, что оружие археолога — лопата. Затем он поблагодарил Василия Дмитриевича, а тот спросил, есть ли у нас вопросы. Единственный вопрос задал я. Я спросил:

— Вот, рассматривая карты, я увидел ряд названий станиц, совершенно не казачьих: Советская, Светлая, Отрадная и другие. Я сам по отцу — из донских казаков и казачьи названия знаю. Откуда же такие, чуждые, появились здесь, на Кубани?

Василий Дмитриевич помрачнел и ответил, явно волнуясь, хотя и стараясь подбирать слова.

— Видите ли, у Советской власти с казаками с самого начала

как-то не сложились отношения. В ответ на активное непризнание со стороны казаков уже во время гражданской войны на них был обрушен ряд массированных репрессий, так называемое «расказачивание». Затем, в начале 30-х годов, во время коллективизации, в случае убийства уполномоченных по проведению коллективизации (а такие бывали), те станицы, в которых произошло убийство, окружали войска НКВД. Затем жителей уничтожали, опустевшие станицы переименовывали и заселяли новыми людьми.

Так что, повторяю, не удивляйтесь недружелюбному отношению и старайтесь проявлять терпимость.

Да… хорошенькие условия для работы нас ждут.

Василий Дмитриевич знал, что говорит. В этом мы убедились на следующий же день, выехав на работу в сельскую местность. Такие уютные, богатые станицы, с прекрасными приусадебными садами, с чистыми — ослепительно белыми, зелеными и голубыми — хатами, нас встречали с нескрываемой враждебностью. Можно было пройти по прямой и обычно очень длинной главной улице станицы, в каждой хате прося напиться воды, и хорошо, если в двадцатой или тридцатой дадут. А чаше всего недобро посмотрят и молча захлопнут дверь. А на ночевку можно было устроиться только у тех солдатских вдов, чьи мужья погибли, сражаясь в Красной армии. Невольно появилось какое-то чувство вины перед станичниками, хотя лично никто из нас "ни сном, ни духом" ничем их не обидел…

Однажды вечером мы остановились на ночлег в станице Отрадной. Анна Васильевна и Валерий Николаевич на ночь расположились в хате, а мы с Алексеем Петровичем — на сеновале. Там дышалось вольготнее. Видимо, сказалось нервное напряжение от работы в таких условиях и от воспоминаний о том, как поступили с жителями этой станицы во время коллективизации, и я как-то чуть не с надрывом сказал Алексею Петровичу:

— Ну, что за несчастная страна такая — наша Россия! Почему каждый свой шаг, в каком бы направлении он не предпринимался, она должна оплачивать кровью, и почти всегда — кровью невинных людей?

— Да, — невесело согласился Алексей Петрович, — такая наша судьба.

Но я продолжал:

— Это же просто страшно. Вот, возьмите юнкеров и студентов, погибших во время революции при обороне «Метрополя» в Москве! Ну, зачем понадобилось убивать этих ребят-юнкеров? Разве нельзя было с ними найти общий язык? Не

захотели. А ведь они просто за судьбу русской культуры боялись.

После очень долгого молчания Алексей Петрович, наконец, проговорил каким-то глухим, изменившимся голосом:

— Юнкеров там было совсем мало. В основном — студенты Московского Университета.

— Да нет же, — возразил я, — юнкеров было большинство. Я по этому вопросу источники читал.

Опять после долгого молчания, раздался из темноты голос Алексея Петровича, на этот раз, совершенно спокойный:

— Вы источники читали, а я сам — один из этих студентов, оборонявших "Метрополь".

Я обомлел. Немного придя в себя спросил:

— А что было потом?

Алексей Петрович ответил ровным голосом. Как будто о ком-то другом:

— Ранен был. Посчитали за убитого. Потом все-таки дознались, бросили в подвал со стражником. Изволите ли знать, новой власти с самого начала царских тюрем не хватило. Людей стали запирать в подвалы. Но и подвалов не хватило. Тогда стали по подвалам посылать специальные комиссии. Они определяли: кого к стенке, а кого выпустить, чтобы освободить подвалы для новых заключенных. Так вот, председателем той комиссии, которая инспектировала подвал, где обитал я, оказался мой гимназический приятель. Он без лишних слов приказал меня выпустить.

…Снова, как после признания Арциховского, испытал я чувство признательности за доверие и к этому моему учителю, а также восхищение им. Вот ведь что получается: и в Новочеркасске и в Москве…

Вряд ли это случайность. Кажется, начинает проясняться кое-что из того, что "творится в Датском королевстве"…

Тогда я только почему-то спросил его:

— Вы бы и вправду позвонили Швернику, если бы директор гостиницы за 10 минут не водворил постояльцев обратно?

Смирнов рассмеялся:

— Разве я похож на такого человека? Да у меня и телефонов Шверника нет и не было…

А последний мой разговор с Алексеем Петровичем состоялся несколькими десятилетиями позже — в больнице Академии наук, за три часа до его смерти. И он, и я знали, что он умирает. Я лежал в этой же больнице, уже не с первым инфарктом, был многоопытным сердечником. Понимал, что у него обширный, развивающийся инфаркт и что остановить его развитие уже невозможно.

Алексей Петрович был, как почти всегда, безукоризненно вежлив, благожелателен, спокоен. Он расспрашивал меня о моих планах, советовал, улыбался, хотя дыхание его уже было частым и поверхностным. Я с ужасом, который всячески старался скрыть, отвечал, сам не зная что. Только когда я поцеловал его и собрался, наконец, идти в свою палату, пообещав рано утром наведаться, он неожиданно спросил:

— Мне есть кому передать. Вот вам. А у вас есть кому?

— Есть, — ответил я, придя в себя, — свеча не погаснет…

Утром, когда я пришел в палату Алексея Петровича, то увидел пустую, заново застеленную кровать…

…В Краснодар мы вернулись почти через месяц, совершенно измученные, и наш музейный полутемный (полуподвал показался нам райской обителью по сравнению с залитыми солнцем станицами, в которых, однако, нам всюду мерещилась заливавшая их кровь…

… Однажды мы с Валерием Николаевичем вернулись в музей вечером после выполнения очередного задания, измученные и усталые до последней степени. Печать этого лежала даже на желтом невозмутимом лице Валерия Николаевича. Алексей Петрович за ужином нам сказал: "Высокочтимые коллеги. Завтра до обеда вы будете отдыхать. А так как я не имею возможности вас контролировать, то сделайте одолжение и не покидайте до обеда территорию музея".

Нужно сказать, что "высокочтимые коллеги" даже не нашли в себе сил для возражений. А Анфимов сразу после ужина (он теперь всегда питался с нами) принес толстую архивную папку с грифом «Секретно» и сказал, что советует нам ее завтра с утра посмотреть: там есть много интересного.

На другой день, сразу после завтрака, когда все ушли, мы с Валерием Николаевичем стали рассматривать содержимое папки. Оно и впрямь было весьма любопытным. Вот нетолстая брошюра на русском языке в твердом картонном переплете с разноцветной картинкой на обложке. Наверху большими буквами напечатано: "ПОД ЗНАМЕНАМИ СЛАВЫ". Ниже изображен солдат гитлеровской армии в серо-зеленом Мундире. В руках у него древко развевающегося нацистского знамени — красного с. белым кругом с черной свастикой в центре. Одной ногой солдат твердо уперся в землю, другой попирает советское знамя — тоже красное, но с серпом и молотом.

В брошюре по-русски, высокопарно и весьма косноязычно объявлялось, что войска фюрера вступают в Россию с великой миссией, освободит от жидо-большевистского рабства, несут народам России свободу и благоденствие. "Русскую армию" и

народ от имени фюрера призывали не оказывать германской армии и ее союзникам из всех стран Европы никакого сопротивления, а, наоборот, — всячески содействовать им для собственного блага и процветания, и т. д.

Да, что-то не попадались нам эти брошюры на фронте — ни в Литве, ни в Калининской области, куда наш полк вынужден был отступить. Зато мы своими глазами видели, какое именно "благо и процветание" несут гитлеровские войска нашему народу.

А вот листовка, с фотографией наверху. На фотографии — прекрасно и пышно накрыт стол с различными винами и закусками. А за столом сидит советский офицер и несколько немецких. Дальше идет обращение к советским солдатам и офицерам, подписанное старшим сыном Сталина — нелюбимым им Яковом Джугашвили. Как, мол, ему хорошо в немецком плену! Надо всем советским солдатам и командирам сдаваться или просто "переходят на сторону немцев, у которых им будет обеспьечена жизнь, свобода, достойные условия существований, а часы жидо-большевитстских узурпаторов власти в России так и эдак уже сочтен к ничто не остановить победоносний шаг великая армия фюрера…", ну и все в таком роде. Оно конечно — Яков Иосифович Джугашвили был грузином, но все-таки русский язык, надо полагать, он знал получше…

В папке были материалы времен начала войны и периода фашистской оккупации Краснодара. Неожиданно Валерий Николаевич аккуратно вытащил из папки какой-то листок, взял фотоаппарат, зажег настольную электрическую лампу, навел ее луч на листок, сфотографировал листок и затем также аккуратно водворил его на место. Все это он проделал молча, с непроницаемым, как и обычно, лицом.

Когда он фотографировал, я заглянул ему через плечо. Это был знаменитый, страшный приказ номер 227, подписанный Сталиным 28 июля 1942 года. По этому приказу отступавшие без воли командующего солдаты и части фактически объявлялись вне закона и подлежали расстрелу на месте, без суда и следствия. Приказ прочли во всех армейских подразделениях, но, конечно, на руки солдатам и обычным офицерам не давали. Видимо, он хранился у особистов.

Почему-то я не спросил Валерия Николаевича, зачем ему понадобилось фотографировать этот приказ… Голова у меня кружилась…

Но вот пришел директор музея и, увидев нас, на несколько мгновений почему-то опешил. Впрочем, он быстро справился с удивлением и обратился к Валерию Николаевичу: "А я и не заметил, как вы прошли вперед". Потом он сказал мне:

"Профессор Чернецов больше часа развлекал меня в моем кабинете замечательными историями. Попросите его, если вы еще не знаете, рассказать, например, про академика Карпинского".

Я механически ответил: "Да, да, непременно. Большое спасибо". Анфимов, слегка пожав плечами, ушел.

Тут я воззрился на Валерия Николаевича.

— Как же так? Анфимов говорит, что вы целый час развлекали его рассказами наверху в его кабинете, а мы все это время провели здесь вместе?

— Все в порядке, Жора, все в порядке, — успокаивающе сказал Валерий Николаевич, — в свое время я вам все объясню.

А я припомнил, что об этой его не просто странной, но совершенно необъяснимой особенности, — находиться одновременно в нескольких местах — мне рассказывала знавшая его еще по Ленинграду моя Подруга и коллега, талантливый этнограф и скульптор Жанна Дегтяренко, пережившая ленинградскую блокаду, но потом погибшая во время страшного ашхабадского землетрясения. Однако, зная характер Валерия Николаевича, я смирился и покорно попросил:

— Что это за история с академиком Карпинским? Расскажите пока хотя бы ее, пожалуйста.

Валерий Николаевич улыбнулся и ответил:

— Охотно. Так вот, слушайте: произошло это, когда я еще учился в Ленинградском университете, — если не ошибаюсь, в 1926 году. Ленинград то и дело «чистила» "чека". «Вычищали» дворян, интеллигенцию, купцов, бывших офицеров, священослужителей и ряд других категорий, среди которых потенциально могли появиться противники большевистской власти. По отношению к «вычищаемым» применялись различные меры — от расстрела до ссылки — но в любом случае, в Ленинграде им уже больше жить не доводилось. «Чистки» были групповые и индивидуальные. Так вот, в поисках новой жертвы посолиднее решили расправиться с академиком Карпинским — одним из крупнейших естествоиспытателей, ученым с мировым именем. "Сказано — сделано". Все стало развиваться по уже отработанному сценарию. Сначала в ряде центральных и ленинградских газет появились «разоблачительные» статьи. Карпинского там обвиняли в мракобесии, в игнорировании трудов классиков марксизма, в частности, такой основополагающей для естественных наук работы Энгельса, как "Диалектика природы" в полном противоречии с которой находятся его, Карпинского, псевдонаучные обскурантские пасквили.

После опубликования этих статей, последовал и второй акт

— собрание научной общественности под руководством «товарищей» из ЦК ВКП(б), на котором Карпинский должен был быть «разоблачен», "пригвожден" и т. д. Ну, а уж затем последовал бы заключительный акт, наиболее мягкий вариант которого — ссылка.

Собрание шло, как и было задумано: все нужные речи, с полагающимся в таких случаях пафосом, были уже произнесены. Наконец, также по ритуалу, слово было предоставлено жертве — для того, чтобы сразу после ее выступления выпустить на трибуну крепкого «товарища», который изобличит преступника в двурушничестве, в нежелании разоружиться и т. д.

Однако тут произошло нечто совершенно несусветное.

Поднявшись на трибуну, Карпинский сказал совершенно спокойно:

— Что же, может быть, все, что вы здесь говорили, и правильно. Может быть, я действительно мракобес и обскурант. Вот только не пойму, как вы можете меня во всем этом обвинять на основании того, что я сам написал?

В зале раздались негодующие голоса, а председательствующий строго сказал:

— Вас обвиняют в игнорировании классической работы Энгельса "Диалектика природы", в полном противоречии с ней.

— Так я именно эту работу и имею в виду, — сохраняя полное спокойствие, сказал Карпинский, и продолжал в мертвой тишине зала: — В конце прошлого века я жил в Лондоне. В то время там обитало много иностранцев, в том числе и Энгельс, с которым я был довольно хорошо знаком — не раз мы встречались с ним в Британской библиотеке. Однажды он увидел меня на улице, остановил, поздоровался:

— Здравствуй, Саша.

Я ему ответил:

— Здравствуй, Федя (так, или Федором Федоровичем, называли Энгельса русские друзья и знакомые).

Как дела?

— Да вот, пишу большую работу. Наверное, будет называться "Диалектика природы". Кстати, как раз сейчас дошел до разделов, которые прямо по твоей специальности, — оживился Энгельс. — Будь любезен, просмотри эти разделы, ты ведь знаешь, я в этом не специалист. Если понадобится — исправь, пожалуйста. Я согласился. Энгельс в тот же день занес мне рукопись. Через некоторое время я позвонил ему и сказал:

— Извини, Федя, но все, что ты в этих разделах написал — это позавчерашний день и вообще ерунда какая-то.

Энгельс ничуть не обиделся, но, конечно, огорчился и

попросил меня:

— Саша, сделай одолжение, напиши эти разделы сам. Тут уж я буду за них спокоен.

Я выполнил его просьбу, и именно в написанном мной виде эти разделы вошли в книгу "Диалектика природы". Вот так-с, милостивые государи. А Энгельс прислал мне письмо, в котором горячо поблагодарил меня за эту, в сущности небольшую, услугу. Письмо сохранилось. Я предчувствовал, что оно может понадобиться, и захватил его с собой. Могу огласить его, переводя с английского языка, на котором оно написано. А может быть это угодно сделать кому-либо из предыдущих ораторов? — И он вытащил из кармана и развернул письмо. Однако желающих "из предыдущих ораторов" не нашлось. Когда миновал шок, вызванный словами Карпинского, травля его не только была полностью прекращена, но он был избран первым в советское время президентом нашей Академии Наук…

История и в самом деле была удивительная, но у меня не шло из головы то, что случилось у нас утром. Зная характер Валерия Николаевича, я промолчал. Нужно было ждать, пока он сам все расскажет…

Наша работа подходила к концу, да и слава Богу — все больше и больше накапливалась усталость, и по утрам мы вставали вовсе не со свежими силами. У меня часто и подолгу стала болеть голова, да и на каждом из нас так или иначе сказывалось утомление…

Однажды по просьбе Василия Дмитриевича я зашел к нему после обеда, чтобы помочь разобраться с некоторыми архивными документами. Когда эта работа была закончена, он почему-то попросил меня рассказать о моей короткой военной жизни. Я рассказал о том, как наш полк в 1940—41 годах принимал участие в оккупации Литвы — о том, что включение Литвы в СССР было насильственным, что в результате этого Литва была страшно разорена, да еще и тяжело пострадала от репрессий. Рассказал и о том, что по крайней мере с марта 1941 года каждый солдат в полку знал, что немец скоро на нас нападет — мы ведь видели, что творилось по ту сторону демаркационной линии, разделявшей в Прибалтике у Клайпеды наши и немецкие войска. Рассказал о глупейших мерах начальства, препятствовавших командиру нашего полка майору Маслову привести полк в боеспособное состояние; о первых, сокрушительных налетах германской авиации; об отступлении остатков полка в Калининскую область, куда, впрочем, не только немецкая авиация, но и сухопутные части скоро «пожаловали»; о моей контузии…

Василий Дмитриевич выслушал меня молча, но, как мне показалось, с пониманием и сочувствием. После некоторой паузы он спросил:

— Что же ты не спрашиваешь, солдат, почему я сейчас не на фронте?

— А чего тут спрашивать?

— Это, положим, верно, — горько усмехнулся он, — танкист без руки — не танкист, а мне еще там же, на Курской дуге, легкие опалило. Через полминуты в танке начинаю задыхаться. А ведь я не штабной — я полевой командир: с 1914 года — в строю, с 15-го — офицер.

— Ничего, Василий Дмитриевич, — сказал я, — война к концу идет. Вот и союзники в Нормандии высадились. Теперь Гитлер попляшет. И нам до Германии — рукой подать. Близка победа, а после нее заживем как люди. Все так думают.

— И вы тоже? — как-то странно спросил Василий Дмитриевич.

Не раз потом, даже через несколько лет, вспоминал я взгляд, который он на меня кинул в ответ на утвердительный кивок…

Когда я в тот день, уже на закате, вернулся в музей, в нашем полуподвале я застал только Валерия Николаевича. Он молча стоял на голове, упершись руками и затылком в свой матрац. Я было онемел от изумления, но он, предупреждая мой вопрос, сказал:

— Так я отдыхаю. Несколько минут в таком положении равноценны трем часам крепкого сна. Не обращайте внимания на мою позу. Давайте поговорим.

Не без труда, обретя некоторое спокойствие, я мрачно сказал:

— Вот, сколько не пытаюсь доискаться до истоков того, что у нас происходит — не могу, не получается.

— А Вы не ищите истоков, ищите смысл, — посоветовал Валерий Николаевич, не меняя позы, — нельзя искать то, чего нет.

— Как это? — не понял я.

— Да очень просто, — отозвался он и, перевернувшись, сел, наконец, на матрац, — никаких истоков нет. Все закольцовано. Если бы можно было хотя бы на миг остановить коловращение жизни и смерти, то Вы бы убедились, что в каждой из бесчисленных точек кольца — и истоки, и итоги, а значит ничего этого нет. Не наш промысел. А вот смысл искать надобно и служить ему тоже. По совести.

И эти слова Валерия Николаевича я потом не раз имел причины вспомнить. Вспомнил их и в семидесятых, когда присутствовал на его панихиде в церкви в Обыденском переулке

в Москве, Седой, невысокого роста священник с поразившей меня проникновенностью и знанием говорил о христианском служении Валерия Николаевича, о защите им униженных и оскорбленных братьев наших на Крайнем Севере, о праведности его, не мирившейся со злом, но светом правды и добра, злу препятствовавшей..

По завещанию Валерия Николаевича некоторые из записанных им мансийских легенд, к которым он получил доступ как великий шаман народа, могут быть опубликованы только через 50 лет после его смерти. Я-то до этого не доживу, но он и так унес с собой много из того, что я очень хотел бы узнать, но теперь уже не узнаю…

…За два дня до нашего отъезда в Москву произошло то, что не только потрясло меня, но и предопределило многое в моей последующей жизни…

Как-то вечером Алексей Петрович вернулся из штаба комиссии чем-то озабоченным и довольно мрачно сказал:

— Утром за нами заедет штабная машина. Нам предстоит принять участие в тяжелой процедуре. Как вы знаете, фашисты здесь для уничтожения населения, преимущественно еврейского, применяли "Gasenwagen" ы, или, по нашему, — душегубки. Нелюди запихивали людей в герметично закрытые автофургоны, внутрь которых были выведены трубки для выхлопных газов мотора автомобиля. Потом их везли на окраину Краснодара, где были заранее приготовлены рвы. Из фургонов вынимали уже трупы. После заполнения рвы кое-как засыпали. Бог нас миловал, и большинство рвов было обнаружено и обследовано до нашего приезда. Но вот, несколько дней назад случайно был открыт еще один такой ров. Собственно, не совсем случайно. Окрестные жители обнаружили, что на жертвах иногда попадались золотые кольца, серьги, часы. Вот они и занялись, так сказать, археологическими раскопками. Один такой удачливый раскопщик попался милиции на рынке, где он пытался продать добычу, и быстро во всем признался. Василий Дмитриевич приказал воинской команде взять ров под охрану и вскрыть его, а группе медицинских экспертов произвести нужные обследования. Эта работа закончена. Завтра утром медицинские эксперты должны доложить Василию Дмитриевичу о своих выводах, и комиссия подпишет соответствующее заключение. Так вот — он хочет, чтобы и мы при этом присутствовали и даже, как члены комиссии, поставили свои подписи. Миссия тяжелейшая, но у нас нет иного выхода, да и не след нам от этого уклоняться.

Мы молча восприняли это сообщение. Расспрашивать о чем-

либо не хотелось…

Утром с нами увязался и сторож Семеныч. Он, кряхтя, уселся в автобусе на одно из задних мест и в Дороге решил развлечь нас рассказом о том, как всего Несколько месяцев назад в Краснодаре повесили пятерых военных преступников — как раз из тех, что орудовали здесь с душегубками.

— Спозаранку круг площади полгорода собралось, — начал он, — а на площади — большая виселица, высокая, это, — авторитетно пояснил он, — чтоб народу видать было. — И продолжал: — Ас верхнего бревна пять веревок свешивается, и у каждой по петельке на конце. А под виселицей пять грузовиков стоят с откинутыми задними бортами. И сзади лесенки приставлены, чтобы все было в аккурате, как у людей. Но вот подъехал воронок и из него пятерых вывели. У каждого ручки сзади связаны, а по бокам — два солдатика. Ну, они, конечно, как вышли, так сразу и на виселицы уставились. Четверо русских было и один немец. Ну, наши-то ничего — народ крепкий. А вот фриц как виселицу увидел, так и головка на бок. А ты не балуй, не балуй, — назидательно сказал Семеныч и усмехнулся, — а то как безобразить, так за мое почтение, а как отвечать, так кишка тонка. Ну, поста вили их в кузове грузовиков, солдатики не отстают — по бокам стоят. Полковник приговор прочитал. Завязали им глаза, петли на шеи надели, шоферы моторы включили. А солдатики их под руки держат, чтобы значит не ослабли. Тут капитан поднял пистолет, выстрелил в воздух, все пять грузовиков и поехали вперед, а эти пятеро так и заболтались, запрыгали. Больше суток и провисели. Пришлось около виселицы караул держать, а то народу казни мало, очень он на них обижен был. Дай волю — на кусочки бы разорвал. Так-то, — назидательно закончил Семеныч.

— Какой ужас, какая дикость, — мрачно сказал Алексей Петрович, — вот так людей в зверей превращают, такими указами.

Дело в том, что в прошлом году был опубликован Указ Верховного Совета СССР о введении смертной казни через повешение за особо тяжкие военные преступления. В Краснодаре и была совершена первая публичная казнь по этому Указу…

Валерий Николаевич сказал, как и обычно, тихо и точно:

— В священной книге буддистов «Дхаммападе» написано: "Ненависть не прекращается ненавистью, но отсутствием ненависти прекращается она…"

Эти его слова прозвучали в прифронтовой полосе в 1944 году.

Но вот мы приехали, вышли из автобуса, и я сразу же

почувствовал резкий сладковатый, тошнотворный запах. Я то хорошо знал еще с фронта, откуда такой запах появляется…

На опушке веселого лиственного леса, с поющими пеночками и другими птицами, раскинулся большой ров — длиной более 70 и шириной около 5 метров. Вокруг рва стояло и ходило довольно много людей, все в военной форме, некоторые с лопатами. Поодаль стоял и деревянный стол, несколько лавок, стульев, маячили три автобуса, черная «эмка». Большинство офицеров прижимало к носу и рту носовые платки различной степени свежести. А запах и в самом деле был очень трудно переносимым.

К нам подошла группа офицеров во главе с Василием Дмитриевичем, как всегда подтянутым, стройным, невозмутимым.

Поздоровавшись, он представил нам немолодого, седого, как и он сам, но толстого подполковника медицинской службы:

— Вот, познакомьтесь, Натан Яковлевич Броневой — руководитель группы медицинских экспертов нашей комиссии, — и, обратившись к подполковнику, попросил его: — Натан Яковлевич, расскажите, пожалуйста, коллегам о результатах ваших исследований.

— Так точно, товарищ генерал, слушаюсь, ответил подполковник, и сразу же пояснил: — После снятия верхней засыпки рва нами было выборочно обследовано 119 трупов, произведено 14 патологоанатомических вскрытий. Все исследованные люди были убиты более двух лет назад. Подавляющее большинство — отравлены выхлопными газами автомашин и доставлены ко рву уже мертвыми. Некоторые были убиты Возле рвов огнестрельным оружием или ударами по голове железными предметами. Общее количество сброшенных в ров людей — приблизительно около двух тысяч. Более точные исследования не могут быть проведены без кислородных масок и антисептических костюмов, а их в наличии не имеется.

— Зачем Вы словно оправдываетесь, — мягко сказал Василий Дмитриевич, — Вы и Ваши люди проделали огромную, тяжелейшую работу. Большое Вам спасибо.

Подполковник попытался вытянуться и ответить, как положено по уставу, но Василий Дмитриевич остановил его движением руки и сказал:

— Ничего этого не нужно, и вообще оставьте этот тон.

— Не оставлю, — закричал Натан Яковлевич и видно было через расстегнутый китель, как кожа на его груди еще больше покраснела и седые волосы на ней как будто зашевелились, — слышите, товарищ генерал, не оставлю! Я же человек, и я еврей.

Что же мне, по-вашему, надо себе пулю в лоб пустить?

— Я все понимаю, — так же мягко, как и прежде, сказал Василий Дмитриевич, — ладно, ладно. Идите в автобус и отдохните.

— Слушаюсь, — откозырял подполковник и, заплетаясь, пошел к автобусу.

А мы с моими товарищами и с Василием Дмитриевичем подошли ко рву. Он был почти полон. Тела лежали в беспорядке, некоторые в каких-то совершенно неестественных позах. Одежда, часто покрытая темными пятнами, сохранилась довольно хорошо, но трупы уже наполовину сгнили. Особенно страшными были лица. У многих они, словно маски, как бы сдвинулись набок в жутких гримасах, частично обнажив кости черепа. Вот старик с уже совсем искореженным лицом в синей суконной шубе. "Зачем ему летом понадобилась шуба?" — подумал я про себя и тут же, тоже про себя, сам себя и поправил: — "А откуда я знаю, что их убивали летом? Может быть, как раз зимой?"

А вот женщина, прижимающая одной рукой грудного ребенка. От лица остались только какие-то ошметки. Однако маленький ребенок, завернутый в желтое байковое одеяло, хорошо сохранился. Мне это особенно удивительно, потому что по раскопкам древних могильников я знаю, что кости детей истлевают гораздо полнее, чем кости взрослых. Во всяком случае, судя по ребенку, женщина была молодой. Это подтверждает и еле видная в засыпке прядь золотисто-рыжих волос — наверное, ее. А вот одноногий богатырь высоченного роста. Неужели и он, не сопротивляясь, дал затолкать себя в душегубку?

Но тут я почувствовал, что тошнота не только подступает к горлу, но вот-вот бросится в голову, и отвел взгляд ото рва. На самом краю его стояла Анна Васильевна. Ее обычно выпуклые, розоватые щечки втянулись. Лицо стало землисто-серым. Неожиданно она широким жестом — как мне показалось, во всю длину рва — осенила лежавших в нем крестным знамением. Потом она встала на колени и принялась молиться. Это была заупокойная молитва. Я отчетливо услышал слова: "…упокой души рабов своих…"

А ведь шел 1944 год. За молитву, тем более публичную, можно было поплатиться не только свободой, но даже и жизнью…

Это товарищ Сталин благосклонно принимал высшее духовенство, преподнес драгоценную икону Грузинской Божьей Матери, а иерархи благолепно возглашали молитвы за его здравие. Но, как говорили еще древние римляне, "quod licet Jovi, non licet bovi". Хотя и рассказывали, что митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (будущий патриарх)

отказался покинуть свою паству в осажденном немцами Ленинграде и разделял с блокадниками их тяготы; поговаривали, что в партизанских отрядах сражается немало приходских священников. Ну, так это другое дело. А Так по-прежнему за веру по головке не гладили, а особенно так называемых "работников идеологического фронта"… У меня в голове вдруг зазвучали слова из романса Вертинского, написанного им в память юношей, убитых в ноябре 1917 года при защите от красногвардейцев гостиницы «Метрополь» в Москве: "…никто не подумал, просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране…" Пластинку с этим романсом я часто слышал у моего друга Гриши Минского, к тому времени уже давно убитого фашистами на фронте… Неожиданно я почувствовал прилив каких-то неведомых мне сил и обернулся. Все офицеры убрали платки ото ртов; все они, видимо, вслед за генералом Сухотиным и вышедшим из автобуса подполковником, вытянулись по стойке «смирно» и взяли под козырек. Так они и простояли все время, пока Анна Васильевна молилась…

В это утро я получил еще один урок от моих учителей — из тех уроков, что на всю жизнь…

..Днем наша группа разделилась. Валерий Николаевич и Алексей Петрович пошли на один объект, а мы с Анной Васильевной — на другой, находящийся в нескольких километрах от Краснодара. Это был большой сарматский курган, в котором фашисты устроили пулеметное гнездо, сильно повредив основное погребение. Мы его обследовали довольно быстро, в общем-то "наобум Лазаря", определили сумму причиненного ущерба и поплелись домой, избрав по карте самый короткий путь. Вскоре нам попался ручей с очень чистой холодной водой. У меня была в рюкзаке кружка, я дал напиться Анне Васильевне, с удовольствием попил сам и пару кружек вылил себе на голову — южное солнце уже пекло вовсю. Анна Васильевна от такого освежения категорически отказалась, видимо, считая это неприличным. И тут встала проблема — как перебраться через ручей? Собственно, проблема эта существовала только для Анны Васильевны, обутой в легкие туфельки. Я, в моих кирзовых солдатских сапогах, через ручей перешел бы запросто.

— Давайте я вас в два счета через ручей перенесу, — предложил я. Однако Анна Васильевна покраснела и сказала даже с некоторым возмущением:

— Ни в коем случае. Вы просто с ума сошли!

Я приуныл. Что же нам — так и сидеть здесь, в становящейся все более жаркой степи, до скончания века? Уговоры мои, однако,

не действовали. Тогда, не видя другого выхода, испытывая ничуть не меньшее, чем обычно, почтение к Анне Васильевне, я просто схватил ее в охапку и перенес через ручей. Боже мой! Когда я на другом берегу опустил ее на землю, у нее был такой несчастный вид, как будто я ее по крайней мере изнасиловал. Все время обратной дороги я потратил на то, чтобы приносить свои глубочайшие извинения, и на утешения. Так за разговорами время и прошло. Но когда мы вернулись в музей, где нас уже поджидали наши товарищи, снова нахлынули на нас все утренние переживания. Никто в тот день не захотел ни обедать, ни ужинать… А когда, наконец, легли спать, то долго ворочались, хотя обычно засыпали сразу же…

…Я проснулся, как от толчка, и сел на своем матраце. Передо мной стояла она %u2022- совсем еще молодая женщина. Левой рукой она обнимала мирно спавшего, посапывавшего ребенка, завернутого в желтое одеяло. Пышные золотистые волосы ее свободно падали на плечи, на длинное волнистое белое платье.

Хотя в нашем полуподвале было темно, особенно теперь — глубокой ночью, я видел каждую пушинку на ее руках. От нее, особенно от больших карих глаз, исходил не яркий, но проникновенный свет. С трудом подавив желание поцеловать ее босые ноги, я сказал: "Как хорошо, что ты пришла".

Ее облик мне кого-то напоминал, но я никак не мог вспомнить, кого именно, хотя мучительно старался это сделать.

Женщина слегка улыбнулась и ответила:

— Я знала, что ты меня ждешь.

— Господи, спасибо. Никогда не видел такой красавицы, как ты, — сказал я, — буду помнить каждую твою черточку до конца жизни.

Женщина снова улыбнулась:

— Через несколько секунд ты забудешь, как я выглядела, но это неважно. Важно то, что ты видел. Постарайся запомнить, нет, не меня, — то, что было. А мне пора возвращаться.

— Куда? — тупо спросил я.

— Туда, — спокойно ответила женщина, — где ты меня в первый раз увидел. — И стала исчезать, словно таять в воздухе.

Тут я вспомнил. Я вспомнил полуистлевший труп молодой женщины, прижимавшей к себе ребенка, завернутого в желтое одеяло. Прядь золотисто-рыжих волос, торчавшую из грязной засыпки рва. Я закричал и, наверное, крик мой был страшен: "Какой местью отомстить мне за тебя?"

Она ответила тихо, уже невидимая: "Разве тебе мало попалось трупов в Литве, в Калининской области и здесь — во рве? Не надо никакой мести, просто запомни."

Тут я понял, что она окончательно исчезла, и снова закричал.

Сразу же почувствовал, как меня обнимают сильные, ласковые руки, и услышал голос Валерия Николаевича:

— Жора, значит она к вам тоже приходила. Я так и думал.

— Откуда вы это знаете? — опешив, спросил я.

— Ну. Это, можно сказать, моя профессия.

Я понял, что он усмехнулся, а он продолжал:

— Да, и вы, и я должны запомнить. А сейчас, мой дорогой, выпейте немного водки.

В кромешной тьме музейного полуподвала ничего не было видно, но я почувствовал, как у моих губ оказалась полная алюминиевая крышка от фляжки, и жадно выпил ее содержимое.

Больше в эту ночь после эксгумации мне не удалось уснуть…

…Когда мы подвели итоги нашей работы, оказалось, что ущерб, нанесенный гитлеровцами в этом крае памятникам археологии, архитектуры, культуры и искусства огромен. Во многом непонятными оставались и побуждения гитлеровцев. Когда, например, они крали золотые шедевры греко-скифского искусства из кубанских курганов или разрушали для военных или хозяйственных нужд храмы или те же курганы, это еще можно было понять (но не в смысле "понять, значит простить"). Однако когда без всяких причин производилось разрушение или уничтожение прекрасных творений рук человеческих, то это вызывало не только возмущение, но и недоумение. Ведь все это делали сыны поистине великого народа — немецкого. Я не раз вспоминал совет нашего директора Грекова: "Не ожесточиться" и с большим трудом пытался ему следовать. Впрочем, разве не уничтожали в еще больших масштабах свои собственные святыни на протяжении десятилетий и сыны другого, тоже поистине великого народа — русского?

В чем же дело? В чем причина?

Затмение ли нашло? Бес ли, сидящий в каждом человеке, попутал?

Кровавые бойни ли привели к тому, что, как сказал поэт, оказались "развязаны дикие страсти под игом ущербной луны", или еще какие-нибудь причины? Не знаю. Во всяком случае — уверен, что причины надо Искать не вовне, а внутри, среди каждого из этих Народов, в самих его сыновьях. Ведь человеконенавистническая идеология и практика социализма в обеих этих странах — марксистско-ленинский социализм и Коммунизм в России и национал-социализм в Германии — откуда бы они ни пришли, нашли в этих странах, среди самих этих народов, множество сторонников. Иначе и невозможно было

бы торжество этих бесовских «идеологий» на Святой Руси и в высококультурной, умеющей работать, думать и мечтать, Германии.

Да, на Руси перед революцией скопилось немалое количество острых проблем — прежде всего земельная. Да, послевоенная Германия была унижена и оскорблена Версальским договором, а народ ее — ограблен. Да, обе эти страны жестоко пострадали в результате военной и послевоенной разрухи первой мировой войны. Но разве в социализме, в его самой кровавой ипостаси, был выход для великих народов этих стран?

Что заставило народ Германии поверить своему фюреру, когда он провозгласил германцев высшей расой, которой раболепно должны служить все другие народы?

Что заставило другой великий народ поверить Сталину, когда он объявил, что любой советский человек на голову выше всех обитателей капиталистических стран?

Какая гордыня обуяла эти два народа, которые столетиями проходили страшные испытания железом и кровью, непотребные искушения, и сохраняли нетленными свои духовные святыни?

Ответ на эти вопросы не прост, но необходим для того, чтобы осмыслить прошлое и настоящее и осветить путь в будущее.

Во всяком случае, к чему приводит крайний национализм, представление о каких-то исключительных правах и привилегиях, оба эти народа испытали на своей шкуре, заплатив жизнями своих лучших сынов. Казалось бы, XIX и начало XX веков были временем безраздельного торжества евро-североамериканской цивилизации, ее победной поступи на пути прогресса, чему с разной степенью успеха старались следовать и народы других континентов. Без внимания оставались предупреждения лучших умов, — Николая Бердяева, отца Павла Флоренского, Джорджа Оруэлла и других провидцев — что цивилизация без веры хуже чем мертва — безнравственна. Только в конце второй мировой войны или после нее человечество с ужасом обнаружило, что для цивилизации совершенно все равно, что создавать: отравляющие вещества или озонаторы; газовые камеры и крематории для концлагерей или современные отели с кондиционерами, регуляторами температуры, всеми возможными удобствами; атомные бомбы или атомные электростанции; использовать ли лазер для блага человека или для его погибели. Потерпело крах прежнее представление о том, что любые достижения цивилизации служат раздвижению границ познания, приближают постижение истины — вне зависимости от того, как используются эти достижения на практике.

Новая глубина открылась в евангельском диалоге, когда

временщик, носитель самой рационалистической цивилизации того времени — римской — Понтий Пилат спросил вечного, надрационального Христа: "Ч-то есть истина?" И, естественно, не получил ответа на этот вопрос, потому, что вечные истины — надрациональны, они принадлежат не цивилизации, не науке, а религии и ее предикату — культуре. Цивилизация творит для своего времени, а культура и ее неотъемлемое слагаемое — искусство — для вечности.

Цивилизация живет только во времени, причем на самом кратком его отрезке, беспощадно выбрасывая на свалку то, что еще вчера было ее гордостью и высшим достижением. Такова судьба, например, созданных прежде моделей телевизоров, магнитофонов, компьютеров, автомобилей и т. д.

А посему цивилизация сама по себе, цивилизация без веры, способна только во много раз увеличить зло, существующее в мире, сделать поистине ужасными, апокалиптическими, последствия вмешательства человека в природу, в любые проявления жизни на земле. Недаром оба социализма — и советский, и национал-социализм — по самой природе своей атеистичны, враждебны вере.

Таким образом, цивилизация без веры — мощное орудие социалистической утопии, захватившей власть. Развитие цивилизации — всестороннее в Германии и интенсивное, но узкомилитаристское, подчиненное военно-промышленному комплексу в России, только способствовало утверждению обоих социализмов.

Ну, а как обстояло дело с культурой, которой не бывает без веры — в обоих социалистических государствах-левиафанах? Отношение ее фюреров и вождей к культуре было совершенно иным, чем к цивилизации. Кто-то из ближайшего окружения Гитлера — кажется, Геббельс — сказал, что когда он слышит слово «культура», то хватается за револьвер. И это в полной мере соответствовало истине. Национал-социалистическая культура имела в качестве лучшего своего художника и архитектора самого Гитлера, лучшего поэта — автора слов нацистского гимна "Хорст Вессель", лучшего композитора — автора музыки к тому же гимну, лучшего писателя — сломленного и продавшегося престарелого Гауптмана, лучшей актрисой — Марику Рокк и т. д.

Подобная же эрзац-культура, но только с более лицемерным наименованием ("национальная по форме, социалистическая по содержанию") существовала и в Советском Союзе.

Именно выхолащивая во всех национальных анклавах само содержание культуры — личностное, национальное — заполняя вакуум бездарными славословиями коммунистических заправил,

пробуждая в людях самые низменные чувства — национальное и социальное чванство и нетерпимость, тщеславие, корыстолюбие (семена межнациональной розни), социалистические режимы вырастили и в России и в Германии миллионы людей, совершенно лишенных веры и культуры, беспредельно жестоких и подлых. Совершенно неправильно было бы думать, что социалистический массовый террор в Германии и в Советском Союзе осуществлялся кучкой заговорщиков или лишь партийно-государственной номенклатурой. Нет, в этот террор, как во время «мира», так и в военное время, в своих странах и за их пределами были вовлечены миллионы людей, соответствующим образом воспитанных, развращенных, потерявших человеческое лицо.

Поэтому воспитание в вере и ее непременной эманации — культуре — важнейшее условие гуманного развития человечества и в конечном итоге существования и цивилизации, и самой жизни на земле.

Обреченная

Красота уходит, красоте не успеваешь объяснить, как ты ее любишь, красоту нельзя удержать, и в этом — единственная печаль мира. Но какая печаль!

В.Набоков

Весной 1896 года подоспел черед короноваться Николаю II — Императору и Самодержцу Всероссийскому, Великой, Малой и Белой Руси, Московскому, Киевскому, Владимирскому, Нижегородскому, Царю Астраханскому, Казанскому, Польскому, Сибирскому, Херсонеса Таврического, Грузинскому, Государю Псковскому, Великому князю Финляндскому, Литовскому, Туркестанскому, Армянской области, Государю и обладателю Черкасских и Горских князей, величавшемуся герцогом и на иных территориях, даже расположенных вне его правления, к примеру Шлезвиг-Гольштейна и Ольденбурга, Наследнику Норвежскому и прочая, и прочая, и прочая. По традиции, еще с 1547 года, со времен Ивана Грозного, венчание на царство Русских государей, происходило в Москве, в кремлевском Успенском соборе, и отмечалось пышными празднествами. Древняя столица, и без того прославленная лепотой, сверкавшая куполами всех своих сорока сороков, к этим дням стала "зело украсно украшенной".

На коронацию из многих стран мира прибыли монархи, главы государств и выдающиеся сановники. Даже среди них выделялся чрезвычайный посол китайского императора, знаменитый Ли Хун-Чанг. Посланец богдыхана привлек всеобщее внимание не только и даже не столько пышностью и великолепием облачений как его самого, так и свиты, а также пышностью придворных церемоний (китайских), сколько своей славой великою реформатора, который очень энергично, — но, увы, как оказалось позже, не слишком успешно — пытался поднять экономическую и военную мощь Срединной и Поднебесной империи до уровня наиболее развитых и могучих государств мира.

Восточные реформаторы обычно кончают плохо. Судьба Ли Хун-Чанга не была исключением. Чего только не поставили ему в вину перед казнью! Даже эту поездку в Россию, во время которой якобы он при тайных переговорах, за большую взятку от российских властей, предал интересы Китая. Но тогда, в мае 1896 года, до этого было еще не так близко. В Москве Ли Хун-

Чанга на всех уровнях принимали восторженно, и он отвечал москвичам и вообще россиянам соответственно.

Это не прошло незамеченным. Не успел еще чрезвычайный посол вступить на родную землю, как в России сложили нехитрую песенку, распевавшуюся на улицах и в домах обеих столиц, песенку, начинавшуюся куплетом:

"Лу Хун-Чанг вернулся из поездки в край родной,
Восхищенный чудною, прекрасною страной."

…Да, читатель, — такой она была, наша Россия…

Счастлива та страна, в которой преобладает средний класс — и чем более он преобладает, тем более она счастлива. После великих реформ Александра II, а затем реформ С.Витте и П.Столыпина, Россия быстро развивалась именно в этом направлении, да тут вышла незадача…

В мае же 1896 года вообще безмерно гостеприимная, хлебосольная Москва не знала, как лучше потрафить приглянувшемуся ей высокому китайскому гостю. Естественно, не желало ударить в грязь лицом и купечество. Так, например, один из самых богатых людей в России — чаеторговец Высоцкий (где еще в мире, даже в самом Китае, пили столько чая, как в России?), наняв отменных мастеров, лучший из своих московских магазинов, находившийся на Мясницкой улице, наискосок от Главного почтамта, отделал в китайском стиле и по архитектуре и по внутреннему убранству, поместив там, например, такие прекрасные старинные китайские вазы, которые могли бы быть украшением дворца богдыхана. Ли Хун-Чанг в магазине побывал, чайку отведал и, "быв им вельми утешен", возгласил о сем принародно, к восторгу не только чаеторговца, но и иных москвичей… Но это все так — для затравки, для выдумки, что ли. Правда, о строительстве, которым занимался Высоцкий, речь еще впереди.

Но прежде напомним об одном фольклорном чудище времен сразу послереволюционных: "Чай — Высоцкого, сахар — Бродского (известный торговец, промышлявший сим деликатным продуктом), Россия — Троцкого". И первый и второй были разгромлены пришедшими к власти большевиками. Третий в 1940 году убит ледорубом по приказу Сталина. Непотребным было это фольклорное чудище хотя бы потому, что, находясь в самой верхушке большевистских узурпаторов власти, Троцкий в отношении своих классовых врагов — Высоцкого и Бродского, имел лишь ограниченный ассортимент приказов-синонимов: поставить К стенке, пустить в расход или на распыл, шлепнуть,

ликвидировать, обезвредить, или "выражаясь поэтически", "отправить в штаб к Духонину" (после захвата Власти коммунистами тогдашний главнокомандующий русской армией генерал Духонин был в своей ставке растерзан пьяными солдатами).

Так что троицу эту объединяло только одно — все трое были евреями. А посему сие произведение фольклора свидетельствует лишь о его сочинителях и особенностях их представления об истории России.

И остался от Высоцкого только изрядно обветшалый магазин конца прошлого века на Мясницкой, очаровавший высокого китайского сановника. А уж чем в нем торговали — так лучше было туда вовсе и не заглядывать…

Ровно через шестьдесят лет после упомянутых коронационных торжеств — в мае 1956 года — произошло куда более скромное событие. Я собирался вылететь из Москвы в Кишинев для руководства новым сезоном полевых работ созданной мною в Молдавии археологической экспедиции. Состояние здоровья у меня было не из лучших — незадолго до того перенес я тяжелую полостную операцию, за три недели до вылета довольно сильно обжег грудь и лицо при взрыве газовой колонки в ванной, да и всякого другого хватало. Однако я нимало не колебался, резонно рассчитывая, что сам воздух экспедиции — азарт поисков и открытий, ученики и сотрудники, прекрасная природа Молдавии — могут только благотворно сказаться на моем здоровье. Жена с дочкой и двухмесячным сыном, а также моя мама находились на даче, а я оттуда уехал в Москву, чтобы успеть до вылета сделать в течение нескольких дней неотложные дела.

Утром, за день до вылета, находясь дома, я неожиданно почувствовал страшную слабость и нараставшую непонятную тревогу. Мое поколение (первое послереволюционное, выпуска 1917 года — то самое, которому Хрущев обещал, что оно будет жить при коммунизме) с детства приучено было к разного рода тревогам и страхам. Однако же они всегда имели вполне определенный источник, паче всего боязнь ареста агентами ВЧК-НКВД-ОГПУ-КГБ (за что — это уже другой вопрос, да и, право же, второстепенный, если не сказать праздный). А тут тревога, к тому же все возраставшая, была непонятна и тем еще больше подогревала сама себя. С трудом добравшись до телефона, я вызвал врача из нашей поликлиники Академии наук. Вскоре приехал спокойный и милый пожилой армянин, который внимательно выслушал меня, сказал: "У вас нелады с сердцем. Вызываю кардиографа".

После того, как девушка лаборантка сняла кардиограмму и уехала, он, подняв указательный палец, распорядился: "Снимок кардиограммы будет готов завтра утром (так тогда у нас делали кардиограммы) — а Вы пока что лежите в постели, вставать нельзя даже в уборную. Все Вам нужное я приготовлю. Завтра ждите моего звонка. Телефон ставлю на столик возле Вашей кровати. Туда же кладу лекарства и записку, как и когда их принимать. Не хочу Вас пугать, но отнеситесь ко всему этому серьезно".

Странно, но после его визита я сразу почувствовал себя гораздо лучше. А главное, прошла проклятая, непонятная тревога, хотя слабость еще осталась.

Проснувшись на другое утро, я почувствовал себя совсем хорошо и вспомнил, что билет на самолет до Кишинева лежит у меня в кармане пиджака. "Э… была не была," — решил я, собрал нехитрые свои пожитки и вызвал такси. В самолете я неожиданно почувствовал снова откуда-то появившуюся слабость и даже на какое-то время потерял сознание. Потом пришел в себя, хотя некоторая слабость еще оставалась.

Встречавшие меня в кишиневском аэропорту ученики по моему виду определили, что что-то не так, хотя я и пытался уверить их, что все в порядке. Они принесли раскладушку, уложили меня на нее, поставили раскладушку в наш автофургон, и мы поехали километров за 150 в экспедиционный лагерь. Он размещался на берегу Днестра в реликтовом дубово-буково-грабовом лесу с красными и темно-фиолетовыми кустами кизила и терновника. Недели три я руководил работой экспедиции, в основном лежа в палатке или возле нее на той же раскладушке. Потом стал все больше и больше расхаживаться и к середине ноября, когда закончился наш сезон полевых работ, был, что называется, уже в полной форме.

Приехав в Москву, в первый же день позвонил в поликлинику тому самому врачу, перед которым чувствовал себя немного виноватым. Он, однако, очень обрадовался, но и сказал с укоризной:

— Вы меня извините, конечно, но Вы — совсем ненормальный. Кардиограмма показала, что у Вас — инфаркт правой боковой стенки сердца. За Вами тогда выехала для немедленной госпитализации санитарная машина, но Вас и след простыл, и вообще в квартире никто не отзывался. Я уж думал, не скончались ли Вы. Короче, высылаю за Вами санитарную машину.

С трудом я убедил его, что прошло уже несколько месяцев и что я очень хорошо себя чувствую, но если ему так уж надо, то жена немедленно отвезет меня к нему на нашей машине.

В своем кабинете Артем Багратович долго прислушивался к моему сердцу, как кошка к мыши, а потом заявил категорически:

— Да, Вам повезло. Хотя все это могло кончиться совсем плохо. Но в больницу я Вас все-таки немедленно положу.

В ответ на мой протестующий жест он добавил одновременно зазывно и твердо:

В нашу больницу для выздоравливающих в Болшеве.

Пришлось согласиться, причем он настоял, чтобы я ехал в санитарной машине, и очень строго о чем-то проинструктировал сопровождающую медицинскую сестру. Жена же, встревоженная, как я ее ни успокаивал, поехала в Болшево на нашей "Победе".

…Ну вот, а теперь самое время вернуться к чаеторговцу Высоцкому.

В то время, о котором сейчас пойдет речь, Высоцкий был вдовцом и имел единственную дочь, необыкновенно красивую девушку, очень им любимую. Неожиданно дочь заболела туберкулезом. После безуспешных попыток вылечить ее в России, Высоцкий стал возить ее по лучшим врачам, больницам и санаториям мира. Все было бесполезно. Состояние девушки ухудшалось с каждым днем и гибель ее стремительно приближалась. Высоцкий был в полном отчаянии и обратился к известному доктору Боткину, тому самому, который в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге, был зверски убит коммунистами вместе с Николаем И, императрицей, цесаревичем, четырьмя великими княжнами и еще тремя близкими императору людьми.

Боткин, и до того не раз осматривавший больную, сказал Высоцкому: "Милостивый государь, как я уже имел несчастие вам докладывать, вылечить вашу дочь невозможно. Однако вполне возможно замедлить процесс развития болезни и на более или менее значительное время продлить ее жизнь. Для этого я рекомендую вам, во-первых, прекратить ее возить куда бы то ни было. Для нее лучше всего именно тот климат, который существует там, где она родилась и выросла. Во-вторых, купите где-нибудь под Москвой, в сухом месте с незагрязненным воздухом земельное владение, постройте там двухэтажный (не более того) дом, непременно деревянный, чтобы стены его дышали, озаботьтесь подъездными путями, другими коммуникациями, наличием всех удобств и поселите там вашу дочь на постоянное жительство. Я же беру на себя пользовать больную. При соблюдении всех этих условий, мы продлим ее жизнь".

Высоцкий послушался и неподалеку от Москвы, к северу от нее, близ деревни Болшево, построил замечательно красивый и

удобный двухэтажный особняк, куда и поселил дочь, да и сам проводил там все свободное время. Доктор оказался прав. Развитие болезни замедлилось, и девушка прожила еще несколько лет, к счастью для нее все же не дожив до 1917 года.

Захватив власть, коммунисты, естественно, «национализировали» и болшевский дом Высоцкого. Дом переходил от одного учреждения к другому и в конце концов стал владением Академии наук СССР, которая, выстроив вокруг дома несколько уродливых одноэтажных жилых корпусов, превратила его в загородную больницу для выздоравливающих при своем Лечебно-санаторном управлении.

Осенью 1956 года Болшевскую больницу решил проинспектировать главный ученый секретарь Президиума Академии наук СССР (была такая должность, учрежденная по приказу Политбюро ЦК КПСС, чтобы противостоять возможным проявлениям строптивости со стороны Президентов Академии — подобные случаи бывали) академик Александр Васильевич Топчиев.

Приехав в больницу, Топчиев внимательно все осмотрел, поговорил с больными, с врачами, с обслуживающим персоналом, а затем затребовал все истории болезней находящихся в Болшеве на излечении. Оказалось, что среди них не было ни одного научного сотрудника, а только жены академиков, сотрудники аппарата Президиума Академии и члены их семей. Топчиев распорядился до конца этого же дня выписать всех без исключения больных и на место их, по направлению двух московских академических больниц, принять научных сотрудников. Вот в их числе оказался и я.

Прежде чем продолжать повествование, мне хотелось бы объяснить столь необычное для советского чиновника, хотя бы и увенчанного академическим званием, поведение. Топчиев — азербайджанец, был специалистом по нефти, то есть получение академического звания для него не было так уж обязательно сопряжено с полной безнравственностью и угодничеством, как для советских ученых гуманитариев.

Далее, на дворе стоял 1956 год. Расстрел в каком-то бункере Берии и нескольких его приспешников особого впечатления не произвел. Великий кормчий и не таких, как этот мингрельский выскочка, запросто ставил к стенке. Но вот, «секретный» доклад Хрущева на XX съезде Коммунистической партии… Народ десятилетиями морили голодом, гноили в тюрьмах, концлагерях, ссылках, расстреливали по темницам, а то и в собственных жилищах, натравливали одну часть на другую, плевали в лицо, да

еще заставляли вопить о том, как он счастлив… Перед этим униженным и ограбленным народом, слегка забрезжила надежда, которая, казалось, уже совсем умерла, а она, как известно, умирает самой последней. «Секретный» доклад читали по стране во всех учреждениях и на предприятиях. В Институте археологии Академии наук, где я тогда работал, его с большим вдохновением на общем собрании Института прочел наш археолог Николай Мерперт. Впрочем, четыре года назад, он с таким же вдохновением и тоже на общем собрании сотрудников института читал речь товарища Сталина на XIX съезде КПСС. Да вот только теперь речь-то была не товарища Сталина, а о товарище Сталине и узнали мы о нем много новенького. При всей ограниченности задач, да и возможностей Хрущева, реализованных в этом докладе, он всколыхнул всю страну.

Думаю, что многие в России тогда находились в состоянии радостного возбуждения, надежды, желания сделать что-то нужное, справедливое, истинно гражданственное, хорошее и полезное для своей страны и народа. Может быть, что это чувство не обошло и некоторых советских чиновников, и Топчиев был в их числе… Впрочем, скорее все это было уж и не так возвышенно, а просто он получил соответствующий приказ откуда-то сверху.

Так или иначе, мы были, наверное, первыми рядовыми учеными, переступившими порог этой больницы. Переступили и в изумлении таращили глаза. В великолепном доме из мореного черного дуба, в палатах на одного или двух больных на столах в хрустальных вазах находились цветы, яблоки, апельсины, бананы… В столовой, помещавшейся в бывшей придомной синагоге, где все еще красовались магиндовиды в цветных витражах окон, хорошенькие официантки с белыми узорчатыми накрахмаленными наколочками на головах, предлагали на завтрак, обед, полдник и ужин меню с богатым выбором всевозможных изысканных блюд и т. д. Впрочем, через несколько дней после нашего поступления в больницу, все это великолепие, включая и официанток с наколочками, исчезло, еда стала обычной больничной жвачкой.

Знакомясь с больными, я быстро установил, что небольшая часть из них состояла из таких же сердечников, что и я, перенесших инфаркты, приступы ишемической болезни и другие сердечно- сосудистые заболевания. Нас здесь действительно подлечивали.! Большинство же страдали, как тогда стыдливо и лицемерно официально называли, профболезнью, то есть Получили смертельную дозу радиационного облучения. Это были люди разного возраста и

степени научной подготовки: от студентов-практикантов, наткнувшихся в геологических экспедициях на месторождения урановых руд, до убеленных сединами старцев, облученных на своих рабочих местах в лабораториях. Лучевую болезнь и тогда не умели лечить, и сейчас не умеют. Применяющаяся в настоящее время пересадка спинного мозга очень редко и ненадолго дает положительные результаты. Но сейчас, по крайней мере, разработаны и далее кое-где внедрены действенные меры профилактики и защиты от облучения. Тогда — в сороковые-пятидесятые годы и таких мер почти не применяли, во всяком случае у нас.

В Болшевской больнице этих «профбольных» никто и не пытался лечить. Их пичкали только разными транквилизаторами, психотропными лекарствами, старались поднять жизненный тонус и, в то же время, удерживать в спокойном состоянии. Об этом мне рассказала медсестра.

Столкнувшись вплотную с таким большим количеством смертников, да еще внешне никак на них не похожих, я ужаснулся…

В столовой за четырехместным столиком, на который мне указала сестра-хозяйка, нас оказалось только двое. Моя соседка была женщиной лет двадцати пяти-двадцати семи, со смуглым лицом и румянцем во все щеки, с пышными каштановыми волосами и странными серебряными, очень живыми, как чешуя форели, глазами.

Солнечные лучи, проходя сквозь цветные витражи, играли на ее удивительно привлекательном лице. Набравшись куража, я сказал:

— Судя по всему вы не сердечница. Значит профболезнь, так?

Она утвердительно кивнула.

— Тогда, пожалуйста, пересядьте на другое место. Я читал, что для облученных прямой солнечный свет особенно вреден.

Женщина улыбнулась.

— Вы так сказали потому, что хотите, чтобы я сидела поближе к вам?

— Хочу, — честно ответил я, — но сказал я это, потому что действительно вам вредны прямые солнечные лучи.

Женщина послушно пересела и снова улыбнулась.

— Меня зовут Лида, фамилия Прозорова. Физик-ядерщик.

Я тоже представился.

После завтрака (тогда еще весьма изысканного) Лида предложила:

— Пойдем в лес на лыжах?

Я замялся.

— Понимаешь, я все-таки после инфаркта…

— Бедняга, — с таким искренним сочувствием сказала Лида, что у меня защемило сердце — я подумал о ней самой. — Ну, тогда просто пойдем в лес, погуляем.

В солнечном лесу, со свежим сияющим снегом было прекрасно. На ветках огромных елей еще не скопилось много снега и иголки на них еще не потемнели. Вокруг нас порхали всевозможные птицы: большие синицы, зеленые, с черными галстучками и белой манишкой московки в нарядных синих шапочках, с коротенькими клювиками, серо-палевые поползни с уплощенной головкой и туловищем, с крепенькими лапками, нарядные снегири с красной грудкой и в серых сюртуках. Неподалеку, с шумным криком, то взлетали над деревьями, то пропадали в их чаще разноцветные сойки, каждая из которых была по размеру в несколько раз больше и синиц, и поползней и снегирей.

— Знаешь, что значит это скопище соек и их постоянный крик? — спросила Лида. Я отрицательно замотал головой.

— Это значит, что рядом лось, вот они вокруг него и хлопочут. — так как у меня, видимо, вытянулось лицо, добавила: — Лось первым никогда не нападает. Только не надо подходить к нему слишком близко.

— Да, да, конечно, — быстро согласился я, — и никакая экспериментальная проверка не нужна.

— Вот видишь, как я убедительно говорю, — улыбнулась Лида, но я не принял шутки и довольно сердито ответил: — Просто мне рке доводилось видеть лосей. А потом, однажды, при раскопках древнерусского городища мы нашли лосиные рога. Так экспедиционный остеолог сказал, что они весят больше 20 килограмм. Да еще на голове у такой махины…

— Ну, ладно, ладно, — Лида примирительно погладила меня по плечу. Потом она достала из кармана коричневой дубленки кусок хлеба, наверно захваченный из столовой, раскрошила его, и положила крошки на вытянутую ладонь левой руки. И вот чудо — почти сразу же на ее ладонь стали слетаться певчие птички. Некоторые из них, схватив крошку хлеба, тут же улетали, впрочем, лишь на несколько секунд, другие просто сидели и клевали хлеб у нее на руке.

— Вот это да! Почему они тебе так доверяют?

Лида негромко засмеялась.

— Да у меня с нашими певчими птичками с детства свои особые отношения.

Эти ее слова мне потом, кстати сказать, очень пригодились.

Так она вошла нераздельно в этот ликующий солнечный

зимний лес, так была красива, выглядела такой счастливой и здоровой, что я, со стыдом, понимая всю бестактность, да и бесполезность этого вопроса, все-таки спросил, лицемерно пропустив слово «с-мертельную»: "Неужели ты тоже получила дозу?"

Лиза ответила как-то отстраненно легко.

— Ты вот о чем. Да. Получила. Три смертельных дозы. Ну и что? Разве лес от этого менее хорош, а жизнь менее прекрасна?

Я был смущен, но в то же время испытал какое-то, просто чудовищное в этих обстоятельствах, облегчение…

Лида умерла, как и предсказывали врачи, через два с небольшим года… Но вспоминаю я ее по большей части именно такой, какой она была тогда — во время нашей первой совместной прогулки в сияющем зимнем лесу, в окружении веселых, быстрых, вольных разноцветных птичек, красивую и счастливую, несмотря ни на что…

Мы очень быстро подружились тогда, я и не заметил, как перешли на «ты». Я никогда больше не задавал дурацких вопросов, связанных с ее облучением. Да и она заговорила об этом еще только один раз… А вообще-то она о себе охотно рассказывала. Русская, она родилась и выросла на Полтавщине, в прославленном Гоголем Миргороде. Отсюда, видимо и мягкое, украинское «г» в ее говоре и любовь к украинским песням, которые она не чинясь и даже с охотой не раз мне «спивала». По окончании школы уехала из Миргорода в Москву и поступила по конкурсу в физико-технический институт на Долгопрудной, один из самых престижных в стране, готовивший физиков-атомщиков. Для девушки из допотопного захолустного Миргорода, это само по себе было уже необычайным подвигом… Еще будучи студенткой, вышла замуж за своего однокурсника Володю. По окончании учебы работала в одном из институтов Академии наук. А потом… Впрочем, как писал Дюма: "Для того, кто попадает в Бастилию нет больше потом…"

Мы были с ней у меня в палате, когда вдруг ее. блестящие серебряные глаза потускнели, со щек сошел румянец, а полные вишневые губы, покрылись морщинками и стали коробиться. Я помог ей лечь на постель и сказал:

— Я на минуту. Только позову врача.

— Не надо, — с трудом сказала Лида, — он все равно ничего не сможет сделать. На этот раз само пройдет. Лучше сядь и расскажи мне что-нибудь. Ты так хорошо рассказываешь.

— А что тебе рассказать? — несколько смешался я.

— Ну, расскажи мне сказку, — все так же с трудом проговорила Лида.

А я подумал: вот он, шанс, которого я так долго! Ждал.

Лида была умным человеком и конечно понимала, что она обречена. Но я был уверен, что в глубине души она все-таки на что-то надеется. А на что, собственно, она могла надеяться? Только на чудо. Вот и надо поддержать в ней эту надежду. И, кажется, наконец представлялся случай. Его нельзя упускать.

— Хорошо, расскажу тебе сказку о тебе, — пытаясь быстро собраться с мыслями, сказал я.

— Обо мне, — удивилась Лида, — ну, что ж, это занятно. Расскажи.

Я было испугался. Но уж очень хотелось как-то поддержать Лиду. Я взял себя в руки и начал, сам толком не зная, куда меня заведет эта, еще неизвестная мне, сказка:

— Это было летом 1932 года возле Миргорода. Тебе было четыре года и ты жила с родителями в местечке Червона Гирка. На Украине тогда, в результате насильственной коллективизации и реквизиций в деревнях всего продовольствия, царил страшный и все усиливающийся голод. Вымирали от него целые деревни и городки, дело доходило до каннибализма. А еще самый-то главный голод был впереди.

Твой папа каждый день ходил за две версты в город на службу, главным образом, потому, что там давали хоть какие-то продовольственные пайки. В тот день мама, собрав разные вещи, отправилась в расположенную поблизости деревню. Думая, что может быть сможет сменять эти вещи на хлеб или картошку. Перед уходом, мама тебе строго настрого велела никуда с участка не уходить. Но вот щеколду на деревянной калитке, сама-то повернуть забыла. А был ясный, теплый солнечный день. Ты и не заметила, как вышла из калитки и побрела по лесу, который достигал почти до самого вашего участка. Тебе попалась в траве душистая красная ягодка — земляника. Ты сорвала ее и съела. Она оказалась очень вкусная, и ты, в поисках новых ягод, стала все больше углубляться в лес. Неожиданно ты услышала отчаянный писк. Ты пошла на этот писк и увидела маленькую пеструю птичку, которая запуталась в силке, поставленном очень низко на кусте. Ты подошла и освободила птичку. Она отряхнулась, сидя на твоей руке, взлетела и запела песню благодарности, с переливчатым трехоборотным свистом.

— А какой породы была эта птичка? — спросила Лида, и я с радостью увидел, что краски возвращаются на ее лицо, глаза светлеют, да и голос у нее стал крепче.

— Точно не знаю, но похоже на пеночку. Они кажется любят и понизу летать.

— Правильно, — подтвердила Лида, — тем более, что

трехоборотный свист кроме пеночки умеет выводить только соловей, а он не пестрый и вообще ты бы его сразу узнал. Ну, извини, что прервала. Продолжай.

— А ты брела все дальше и дальше в лес и, наконец, вышла на небольшую полянку. Посредине горел костер, над которым в довольно объемистом котле кипела вода. Вокруг костра расположились трое мужчин, судя по одежде, впрочем сильно поношенной и даже оборванной, — городские. Вид у них был изможденный. Один из них, совсем еще молодой, увидев тебя, радостно сверкнул черными глазами и, поведя нечесаной с колтунами головой, обрадовано сказал, потянувшись к валявшемуся на земле возле него топору:

— А вот и навар сам к нам пожаловал.

Другой, лежавший у костра, в когда-то синей свитке, с деревянным протезом от колена правой ноги, спросил оторопело:

— Хиба ж у тебя рука поднимется на дите малое?

— Заткнись, культяпный, — зло ответил молодой, берясь за топор, — а то я тобе другу ногу пидровняю.

Ничего не понимая, но охваченная ужасом, ты молча застыла на месте. Вдруг раздался щебет и так низко, чтобы только не обжечься паром, над костром с кипящим котлом пронеслась давешняя пеночка. Пролетая, она уронила в котел какое-то зернышко и уселась, запев свою песенку на стоящем рядом тополе. В котле сразу лее что-то заскворчало. Третий из лежа-1Цих у костра, седоусый, в потертом гарусном жилете, заглянув в котел удивленно и радостно сказал:

— Та шоб вам повылазило, пивням, выбрали ну лаяться. А котел-то полон овсяной каши.

Так оно и оказалось, и все трое, обжигаясь, стали Деревянными ложками черпать из котла неведомо откуда появившуюся кашу.

Песня пеночки вывела тебя из столбняка, и ты пошла вслед за этой птичкой, перелетавшей с дерева на дерево, поджидавшей тебя, если ты приостанавливалась. Так ты и вышла к вашему дому…

Тут я увидел, что серебряные глаза Лиды блеснули, как будто осветив палату, и хотя это продолжалось всего несколько мгновений, я понял, что значит этот блеск. Я правильно рассчитал. Лида страстно хотела жить и в глубине души надеялась на то единственное, на что ей оставалось надеяться — на чудо. Вот я и рассказал ей, что такое чудо возможно и никакого значения не имеет, что это была сказка.

Лида села на кровати, улыбнулась и спросила: — А что было потом?

— Ну, как что? Вернувшись и не дождавшись маму, ты уснула и когда довольная мама (ей удалось наменять порядочно картошки), разбудила тебя, что бы накормить свежесваренной дымящейся бульбой, ты ей ни слова не сказала о том, что с тобой приключилось в лесу, чтобы не волновать, да и не сердить маму тем, что ты нарушила ее просьбу не уходить с участка.

— А может быть мне это все приснилось? — задумчиво спросила Лида.

— Вот уж нет, — торжествуя ответил я, — пеночка-то с тех пор каждое утро прилетала чтобы спеть тебе песенку, а во время прогулок сопровождала тебя, перелетая с дерева на дерево…

— Ты можешь мне честно ответить на один вопрос? — с каким-то вновь появившимся напряжением спросила Лида.

— Конечно могу. Я на все твои вопросы отвечаю честно.

— Дело в том, — задумчиво и сдержанно сказала Лида, — что под Миргородом действительно есть местечко под названием "Красная горка" и я там, когда была девочкой, не одно лето прожила с родителями. Откуда ты это узнал?

— Да ниоткуда. Я просто дал первое название, которое пришло в голову, — меня уже невозможно было сбить с толку. Лида посмотрела на меня долгим испытующим взглядом.

С тех пор мы с ней еще больше сблизились и отношения у нас становились все более доверительными…

Впрочем, я все-таки был с ней не во всем откровенен. Так, например, я не посвятил ее, конечно, в ту сверхзадачу, которую поставил перед собой, рассказывая сказку. Не стал я ей говорить, какое, на всю жизнь оставшееся воспоминание, натолкнуло меня на этот сюжет… В 1932 году мне было 15 лет. Я жил в Москве, учился в школе. В городе был голод — не голод, но изрядное недоедание. Все продукты по карточкам. Хлеб только черный, плохого качества: влажный, кисловатый. После сравнительно недавно задушенного НЭПа было особенно муторно. Утешало, что мы первые, терпя лишения, строим новое, невиданное еще общество, которое будет обществом всеобщего счастья. Но есть все-таки хотелось…

Однажды я проходил по Страстной площади и остановился возле аптеки, которая находилась наискосок от кинотеатра «Палас». В витрине аптеки помимо обязательных огромных стеклянных шаров, заполненных разноцветной жидкостью и каких-то никелированных инструментов, был выставлен вполне натуральный человеческий скелет. Когда я глазел на него, ко ладе подошел взрослый мркчина в дореволюционной еше студенческой фуражке с темно-зеленым околыш-ком и негромко спросил, указывая на скелет:

— Вы знаете, кто это висит?

Я пожал плечами.

— Это украинец висит, — так же негромко сказал бывший студент и неспешно пошел своей дорогой, оставив меня в некотором недоумении… К несчастью, вскоре это недоумение полностью рассеялось…

…В течение нескольких лет папа брал меня с собой на Украину, где в одном из сел Полтавщины он любил проводить отпуск.

Мы жили всегда у одной и той же хозяйки — вдовой крестьянки красавицы Матильды или Матуси, как все ее ласково звали. Небольшая белая хата ее была еле видна в сильно разросшемся вишневом саду. От глиняного чистого пола, который хозяйка регулярно подмазывала, горьковато и волнующе слегка пахло полынью и чебрецом. Село было богатейшее. Вокруг простирались благодатные поля, где нередко сидевшие в овсах и пшенице огромные дрофы и другие птицы, подпускали к себе совсем близко. В неширокой реке было полно рыбы. Отец как-то на донку вытащил такого сома, что я сел на него верхом, а он подпрыгивал подо мной, как сноровистая лошадь. Особенно любил я бывать на базаре, где прямо на земле, или на телегах высились горы всевозможных овощей и фруктов, да и полно было всякой иной снеди. Не знаю имелось ли на весь базар хоть пара-другая весов. Яйца продавались корзинами, птица, поросята, овцы, козы — штуками, а за любые овощи или фрукты — заплати пятачок и бери сколько сможешь унести.

Но вот наступило время "великого перелома". Тут уже стало не до поездок на Украину, да и куда бы то ни было. Осенью 1933 года под вечер кто-то постучал в нашу входную дверь. Папа открыл и прямо на него молча свалился какой-то оборванный скелетообразный мужчина. Папа отнес его в столовую, положил на диван, стал приводить в сознание. С трудом мы узнали в нем весельчака бандуриста Остапа из того самого села на Полтавщине. Когда Остап пришел в сознание, был вымыт, одет, обут, накормлен и напоен чаем, он рассказал страшную историю своего родного села Новые Санжары. Упрямые хохлы не спешили записываться в колхоз, особенно после статьи товарища Сталина "Головокружение от успехов". Тогда части НКВД выгребли из села все продовольствие, а через некоторое время и окружили его плотным кольцом. В тех, кто пытался сунуться за околицу — стреляли без предупреждения. Когда съели не только всех кошек, собак но и сбрую и древесную кору, "уси и вмерли" — горестно сказал Остап.

— А Матуся? — с ужасом спросил я.

Остап только развел руками. Я вспомнил всегда ласковую Матусю, ее прищуренные в улыбке быстрые, и озорные глаза и горько заплакал…

Сам Остап был ранен при попытке выбраться из села и сочтен за убитого. Расстрелянных сбрасывали в ров и лишь слегка присыпали землей. Ночью он пришел в себя, выполз изо рва и чудом добрался до нас через все преграды…

…Когда он у нас немного оправился и откормился, отец отправил его в Рязанскую область в бывшее имение, а ныне совхоз Корзинкино, директор которого был старинным папиным приятелем. Но эта тема страшна и неисчерпаема. Вернемся в Болшево…

Мы все больше времени проводили с Лидой и такой она была жизнерадостной, неугомонной, пленительно женственной, что я все чаще просто забывал о том, что с ней происходит и что ее ждет в недалеком будущем. А когда все же вспоминал, это было как сильнейший удар электрическим током. Но вспоминал я все реже и реже. А тут еще выяснилось, что она совершенно не знает русских поэтов Серебряного века — моих любимейших из любимых. Из всех из них она даже и читала только об Ахматовой, и то одну ждановскую пошлятину о метаниях между будуаром и молельной… А об остальных и вовсе не слышала. Бог мой, я даже восхитился такой tabula rasa. Я обрушил на нее целый светоносный ливень, целый драгоценный поток, открыл перед ней наше волшебное русское северное сияние. Марина Цветаева и Максимилиан Волошин, Николай Гумилев и Анна Ахматова, Осип Мандельштам и Владислав Ходасевич, Георгий Иванов и Вячеслав Иванов, Владимир Соловьев и Иван Бунин, Зинаида Гиппиус и Иннокентий Аненский, Александр Блок и Валерий Брюсов, Борис Пастернак и еще Десятки любимых еще со школьной скамьи (но не на Ней сидя, узнанных).

Лида оказалась на редкость благодарным и восприимчивым слушателем. Вскоре она и днем и ночью заставляла меня читать наизусть моих любимых поэтов, причем ночью глаза ее горели в темноте зеленым огнем, как у кошки.

Она безошибочно в: этом сказочном богатстве вылавливала бриллианты чистейшей воды и могла подолгу перебирать их, пробовать на вкус, на звук, на смысл, на чувства. Так было, например, со строчками Мандельштама:

"На стекла вечности уже легло
Мое дыханье, мое тепло"

И нужно сказать, что, я цепенел, когда она уже в который раз

в своей протяжной манере, вслух наизусть читала эти строки…

Для меня было большой нечаянной радостью вслушиваться в стихи любимых поэтов через нее. О нет, она не открывала мне какой-то новый, особый, ранее скрытый от меня смысл в этих стихах. Она просто делала и мое восприятие более ярким, глубоким, острым, волнующим.

…Сколько раз она вслух перечитывала строки из стихотворения Ахматовой:

"В Кремле не надо жить — преображенец прав —
Здесь рабства древнего еще кишат микробы:
Бориса дикий страх и всех Иванов злоба,
И самозванца спесь взамен народных прав…"

…Вот сейчас, сию минуту я вспомнил это четверостишие и подумал: "Да, конечно, и понимаю и понимал, что это написано о навсегда, навечно, но, Боже мой, неужели эти строки написаны где-то в 1940 году, а не сегодня — на исходе 1992 года?"

..А на одно из стихотворений Блока она тут же сочинила песню и не раз ее пела. Как она пела? Я не берусь этого передать. А все-таки, читатель. ты можешь получить об этом представление. Только тебе придется самому спеть эту песню, причем неважно, есть у тебя голос и слух или нет.

Вот эта песня:

"Опять, как в годы золотые
Три стертых треплются шлеи
И вязнут спицы расписные
В расхлябанные колеи

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые,
Как слезы первые любви.

Тебя жалеть я не умею
И крест свой бережно несу.
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу.

Пуская заманит и обманет,

Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты.

Ну что ж, одной заботой боле,
Одной слезой река полней,
А ты все та же: лес да поле
Да плат узорный до бровей.

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взгляд из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика."

Я прошу прощения у великой тени Александра Александровича, если в чем-то погрешил против текста его произведения, но записал именно песню, которую пела Лида.

А теперь, читатель, если ты не знаешь этого стихотворения наизусть — держи текст перед собой, а коли знаешь, так и того проще, про себя молча спой эту песню…

Ну вот, так она и пела. Только громко…

…Нас навещали друзья, моя жена и муж Лиды — белобрысый, с открытым мужественным лицом, тоже физик, как и она, разве что только не облученный. Все Перезнакомились друг с другом и отношения установились самые добрые.

…Обычно по утрам я прогуливался по больничному саду, нередко в обществе Лиды. Однако как-то раз, когда она не появилась в саду, я не удивился — случалось, она спала почти до самого завтрака. Но вот, когда она не пришла в столовую, я заволновался. Наскоро поев, сунулся было в ее палату, но на двери была прикноплена записка: "Больную Прозорову прошу не беспокоить. Смоленский".

Абрам Исаакович Смоленский был главным врачом Болшевской больницы. В его кабинете, он жестом пригласил меня сесть и, не о чем не спрашивая, сказал своим скрипучим голосом:

— Больной Прозоровой было очень плохо. Вызванная из Москвы реанимационная бригада занималась ею всю ночь и недавно только уехала. Сейчас больная, получив большую инъекцию снотворного, спит и не надо ей мешать.

— А когда проснется?

— Тоже не надо. Я скажу, когда можно будет. А пока ей очень вредны любые эмоции, — жестко сказал Абрам Исаакович, ероша свою седеющую черную шевелюру и, слегка смягчившись, добавил: — Ей досталось в эту ночь и это не могло не отразиться на ее внешности. А как вы думаете, какая женщина в этом состоянии захочет видеть кого-нибудь, кроме врача?

— Она поправится?

— На этот раз — наверное, да, — возвратился к прежнему тону Смоленский, — но вообще-то я не специалист в этой части.

— А где есть такие специалисты?

— Не знаю, — уже совсем свирепо ответил Смоленский и посмотрел на меня налитыми кровью глазами, — может быть, в аду.

Я понял, что он вместе с реанимационной бригадой тоже провел всю ночь у кровати Лиды и что это, значит, не от злости, а от усталости. Все-таки с некоторым вызовом спросил:

— Почему в аду?

Абрам Исаакович посмотрел на меня как на полного кретина и проскрипел:

— Сначала их заставили делать топливо для этого адского котла. Да среди профессионалов он, кажется, так и называется — «котел». А потом их в этот самый котел и швырнули. Вы думаете, начальству нужны первопроходцы после того, как они сделали свое дело? Если так, то вы очень глупо думаете. Теперь первопроходцы им опасны — слишком умны и беспокойны. Они еще смогут сыграть "все назад", или чего доброго начать каяться. Нет. Им теперь нужны те, которые любят деньги и исполнят, что прикажут. А я — старый еврей, который давал клятву Гиппократа, поклялся лечить людей, так что мне остается? Сидеть сложа руки и наблюдать, как они гибнут в адском котле и сколько еще погибнет! У меня нет сил, чтобы хоть одного вытащить из котла, а хоть бы и появились — не дали бы.

Я совершенно опешил и лишь немного придя в себя, осторожно спросил:

— Так вы полагаете, что их нарочно облучили?

Абрам Исаакович поглядел на меня, как на совершенно безнадежного и сказал устало:

— Да, нет, конечно, не нарочно. Просто всем было наплевать, как они работают, — важен был результат. А тот, кому было не наплевать, кто понимал и предвидел, тот потирал руки. Ну, теперь-таки вы довольны? Можете даже настучать, если есть настроение.

Я вскочил со стула, но не успел и рта раскрыть, как он пробормотал:

— Это я так. Извините. Я знаю, с кем говорю. А теперь идите. Я устал. Забудьте об этом разговоре. А больная Прозорова на этот раз оправится. Только напрасно не надейтесь. Дело решенное.

…Несколько раз в течение этого дня подходил к Лидиной палате, но Абрам Исаакович, видимо, не Надеясь на силу убеждения, учредил у двери пост — посадил на стул несокрушимую медсестру Нюру — фронтовичку, известную тем, что к ней ни на какой козе не подъедешь.

К вечеру появился Володя. Он без стука вошел ко Мне и, не здороваясь, сердито воскликнул:

— Представьте себе — этот еврей не пустил меня к ней!

— Здравствуйте, Володя. Садитесь, — холодно ответил я, — вас не пустил не еврей. Вас не пустил врач. Ведь он сделал это не по национальным, а по медицинским соображениям.

Володя молча несколько раз моргнул, а потом, залившись краской, как-то жалобно сказал:

— Простите, ради Бога. Я вообще веду себя как последний хам.

— Ладно, ладно, мне и то не по себе, — ответил я, — однако Абрам Исаакович сказал, что на этот раз она, наверное, поправится.

— А может быть…? — затаив дыхание спросил Володя.

— Не знаю, — развел я руками, — мне иногда кажется, что этот дом — корабль чудес. Ведь и тот, кто его строит и та, для кого строили, надеялись на чудо. И большинство из нынешних больных на него надеются. Может быть, оно и вправду произойдет.

Володя, слегка хлопнув меня по плечу своей огромной лапищей, отправился к Нюре, уговаривать ее передать Лиде записку, а также авоську с гранатами, яблоками, мандаринами и грушами.

От тех фруктов, что лежали в вазах в палатках при нашем поступлении в больницу, давно не осталось следа и запасы их не возобновлялись. Видимо, снабжением больницы занимались какие-то чиновники из хозяйственного управления Президиума Академии наук, а они-то хорошо знали, кому чего положено давать по их табелям о рангах…

Володя вернулся через несколько минут, возбужденный и повеселевший:

— Конечно, эта фурия меня не пустила, но письмо и фрукты передала, а мне дала записку от Лиды — вам привет. Вроде все идет на лад. Можно я вам оставлю свой домашний и служебный телефоны? Если что — позвоните, пожалуйста. И еще раз извините за давешнее. Ей Богу, я по идее не расист и не хам. Я

теперь только через сутки смогу приехать.

Все это он выпалил одним духом, обнял меня и исчез.

На другой день после обеда, когда я сидел в библиотеке, туда заглянул Смоленский и молча мне кивнул.

Ни «поста», ни записки у Лидиной палаты уже не было.

Постучав, я вошел, и Лида поднялась мне навстречу из кресла.

Это было поразительно. Не прошло и двух суток после сильнейшей встряски, а она выглядела такой же, как обычно. Даже румянец сохранился.

Усадив меня и не дав мне сказать ни одного слова, она спросила:

— Цикл стихов Блока «Кармен» явно посвящен какой-то определенной женщине. Ты не знаешь, кому именно?

— Знаю, — медленно ответил я, поняв, что она не хочет сейчас говорить о себе, — знаю. Эта женщина — талантливая певица Любовь Александровна Андреева-Дельмас, на четыре года моложе Блока. В течение многих лет она была его другом. Кажется, жива и до сих пор.

Да… все-таки видны следы пережитого… Лицо оживленное, даже радостное, но румянец сполз к скулам и, как говорят на Востоке, в уголках глаз притаилось страдание…

Впрочем, Лида не дала мне углубиться в наблюдения. Она почти тут же спросила:

— А вот стихотворение Мандельштама "Мастерица виноватых взоров" посвящено, судя по последней строфе, Марии. Ты знаешь, кто это?

И она прочла:

"Ты, Мария, — гибнущим подмога,
Надо смерть предупредить, уснуть.
Я стою у твердого порога —
Уходи, уйди, еще побудь."

На этот раз я не просто знал, а знал порядочно. Я рассказал ей о Марии Сергеевне Петровых — удивительном человеке и поэте, живущей по большей части на даче в Голицыне под Москвой. Даже прочел единственное стихотворение Марии Сергеевны, которое я помнил — "Назначь мне свидание…"

Лиде стихотворение очень понравилось и она страшно захотела познакомиться с Марией Сергеевной. Мы условились, что после выхода из больницы съездим к ней в Голицыно. Увы, этому плану, как и многим другим, не было суждено осуществиться…

…Прошло еще несколько дней, и Лида оправилась настолько, что снова встала на лыжи и вообще как будто ничего и не было. Если я заводил речь об ее самочувствии, то она только отмахивалась. Зато на другие темы говорила охотно и откровенно. Меня поразила точность и беспощадность, с которой она оценивала наших хозяев, как недавних, так и нынешних и, вообще, какая-то ее политическая зрелость, что ли, если выражаться языком партийных функционеров. Причем она была не единственным знакомым мне физиком, который этим отличался. Таким был, например, мой близкий друг Гера (Герцен Исаевич) Копылов — доктор физико-математических наук, живший и работавший много лет в Дубне и не один сезон проведший у меня в экспедиции в качестве рабочего в Молдавии, на Украине, на Карельском перешейке. Физики знали его прежде всего как крупного специалиста по элементарным частицам, диссиденты, да и вообще либеральная интеллигенция — как талантливого и острого поэта-сатирика и автора блестящих саркастических эссе о нашей светлой социалистической действительности. Псевдонимы, к которым он в этой своей ипостаси прибегал, скрывали подлинную фамилию автора разве что от «работников» КГБ. И таких физиков знал я немало. Откуда они появлялись, именно такие физики, как и почему среди них большинство были музыкально одаренными людьми, я и до сих пор не ведаю. Думаю только, что именно они послужили хотя бы отчасти той питательной средой, которая породила феномен Андрея Дмитриевича Сахарова, и то, что он сумел сказать "urbi et orbi", они думали, делали и говорили.

Однажды Лида обратилась ко мне с совершенно ошеломившей меня просьбой. Мы сидели вечером в гостиной второго этажа у столика под торшером и болтали о всякой всячине. Вдруг, Лида, прервав сама себя, сказала без обиняков с обычной для нее прямотой:

— Володя хочет иметь от меня ребенка. Не просто хочет — требует, далее угрожает, что бросит меня, если я не соглашусь. Я понимаю — ему хочется, чтобы от меня осталось что-то живое, на память что ли.

— За чем же дело стало? — довольно бестактно спросил я.

Лида, однако, ответила совершенно спокойно:

— Врач сказал, что еще некоторое время я могу забеременеть, но нет никакой гарантии, что не родится какой-нибудь мутант. Если так произойдет, то какая же память останется обо мне? И потом, как он (для меня это уже не актуально), как он сможет посмотреть в глаза этому несчастному мутанту, если у него вообще будут глаза?

Я молчал, совершенно подавленный и в голове моей заплясала бешенная и страшная круговерть, как в "Dance macabre" Сен-Санса.

Лида продолжала спокойно, но теперь было видно, чего ей стоило это спокойствие:

— Володя совершенно зациклился на своей идее. Я никак не могу его отговорить. Пожалуйста, попробуй это сделать ты.

— Да ты что? — опешил я, — разве можно постороннему, пусть и другу семьи, говорить на такие интимные темы? Он меня и слушать не захочет.

— Захочет, — убежденно ответила Лида, — он тебя очень уважает, да и вообще…

— Да нет, Лидочка, он просто даст мне по морде и правильно сделает. Окажись я на его месте, я бы именно так и поступил.

Однако Лида стояла на своем:

— Да, может быть, но ты на своем месте, а он на своем. Так что поговори.

Она не отставала от меня с этим весь вечер, и я начал уже колебаться. На другое утро приехала моя жена, и я, с разрешения Лиды, рассчитывая на поддержку жены, рассказал ей, в чем суть дела. Но получилось наоборот. Жена целиком встала на сторону Лиды, а я, хорошо зная ее точный и ясный ум, сдался. К обеду прикатил и Володя. Выйдя из столовой, я сказал ему:

— Мне нужно поговорить с вами на важную тему с глаза на глаз. Пойдемте в сад.

Володя взглянул на меня с некоторым недоумением. Мы медленно гуляли по заснеженной аллее и я, время от времени, искоса поглядывал на него на предмет того, не развернется ли он сейчас и не стукнет ли меня как следует. В этом отношении все обошлось благополучно, однако, и во время моего монолога и после него он не произнес ни одного слова и лицо его оставалось бесстрастным. Мы молча вернулись в гостиную, где нас ждали Лида и моя жена, которые, думаю, по нашим физиономиям, мало что могли прочесть вразумительного. Жена вскоре уехала — у нее был подготовительный период к началу съемки нового кинофильма и ей в этот вечер предстояла, как режиссеру-постановщику, встреча с какими-то актерами, которых она хотела попробовать на роли. Володя остался в больнице до позднего вечера, и я решил, что для всех будет лучше, если я не стану мешать им с Лидой выяснять отношения.

А на другое утро мне еще до завтрака понадобилось по неотложным экспедиционным делам съездить в Москву, и вернулся я только к вечеру. Поужинав в столовой, поднялся в просторную гостиную второго этажа, откуда слышались звуки

музыки.

Несколько пар танцевали вальс и среди них я с удивлением и радостью увидел Лиду и необычайно церемонного Абрама Исааковича. А он, кстати, жил в одном из барачных корпусов возле больницы и большую часть суток проводил в доме Высоцкого.

После танца, он, едва дав мне поздороваться с Лидой, позвал меня к себе в кабинет и там, усадив в кресло, проскрипел:

— Вы не знаете в чем дело? Больная Прозорова возбуждена, радостна и, если позволите, в ней чувствуется и какое-то умиротворение. Я спрашиваю не из праздного любопытства, а как врач, пользующий эту больную.

Пришлось мне рассказать Абраму Исааковичу всю эту историю. Он пожевал толстыми губами и сказал сварливо:

— Как я понимаю, вы не из тех, кто сидит в президиумах, вы из тех, кто сидит в лабораториях и вы копаетесь не в личных делах сотрудников, а в земле, I в ваших раскопах. Так вы должны иметь понятие. У больной Прозоровой нет ни одного шанса. А тот, кто ей все расписывал об ее семейных утехах, не знаю, кто он по профессии, может портной и далее хороший портной, может быть сапожник, но он не врач, не больше врач, чем я балерина. Больная Прозорова действительно пока еще может забеременеть, но родить она никого уже не может. Она умрет во время беременности, в лучшем случае (как вам нравится это — "в лучшем" во время родовых схваток.

Я невольно подумал про себя: "Э, брат, а ты вовсе не такой уж не специалист по этой части, как мне говорил", и, пожав руку Абраму Исааковичу, ушел из его кабинета, радуясь, если так можно сказать, тому, что на этот раз "все уладилось".

Однажды солнечным декабрьским утром я у себя в палате лениво перечитывал экспедиционные дневники, находясь на дальних подступах к составлению отчета о летних полевых археологических работах. Раздался стук в дверь и тут же вошел один из моих учеников — лаборант Боря. Едва поздоровавшись, он тревожно сказал:

— В Молдавской Академии какая-то заваруха. Снова столкнулись левобережные с правобережными, а пострадать может наша экспедиция. Если здоровье позволяет, вам надо немедленно ехать в Кишинев, лучше лететь.

— Здоровье позволяет. А в чем там дело? Ты поподробнее не можешь?

— Подробнее я и сам не знаю. Звонил Пашка, умолял вас приехать, а он зря делать этого не стал бы.

— Да, это верно, посиди пока я оформлю выписку из

больницы и кое с кем попрощаюсь. Апельсины на столе.

Я быстро выписался, попрощался с врачами и медсестрами, с Абрамом Исааковичем, но Лиды нигде не нашел.

— Она на горных лыжах ушла, — без слов поняв кого я ищу, пояснила сестра-хозяйка Маша, — наверно к трамплину.

— Понимаешь, Боря, — виновато сказал я, вернувшись в палату, — мне тут нужно обязательно еще с одним человеком попрощаться, а он ушел. Да тут неподалеку. Так что ты еще посиди. Почитай чего-нибудь.

— Я на машине, — с досадой сказал Боря, — может подъедем?

— Нет, туда только на своих на двоих добраться можно.

— Тогда я с вами пойду, — решительно сказал Боря, а то вы с ней до вечера прощаться будете.

— Откуда ты знаешь, что речь идет о женщине? — удивился я.

— Тоже мне, загадка мировой истории, — фыркнул Боря и натянул свою цветастую фасонистую куртку и аляску.

Довольно большой трамплин, на который пошла Лида, находился и в самом деле неподалеку, на опушке леса возле реки.

Мы шли быстро по твердой, давно наезженной лыжне, Дорогу я знал хорошо, так как не раз сопровождал туда Лиду, хотя сам на лыжи так и не встал. Боря насмешливо рассказывал мне институтские новости. Но вот, за поворотом реки я увидел Лиду.

Она только что прыгнула с трамплина и сейчас летела по воздуху, прижав руки к телу и склонившись к острым концам лыж. В облегающем синем с белым тренировочном костюме, в такой же шапочке, из-под которой выбилась прядь каштановых волос, с лицом, вдохновленным скоростью и ощущением полета.

Через несколько секунд она исчезла за лесистым холмиком.

Постояв, я сказал Боре:

— Все. Пошли к машине.

— Да-а-а, — протянул Боря и больше до самой Москвы не сказал ни слова..

… Видел ли я Лиду после больницы? Да.

— И тогда когда…?

— Да.

— Почему же…?

— Не хочу. Ведь это их рук дело. Они к этому привели.

А Лида? Пусть не в моей памяти, пусть лишь в твоей памяти, читатель, она останется такой, какой была и какой должна была быть: в полете, во всем блеске своей молодости, красоты, отваги, упоения жизнью.

И, да свершится Божий суд над теми, кто обрек и послал на

смерть ее и множество других совсем ни в чем неповинных людей.

Мой старый друг Леша Кадыков — добродушный (иногда мог быть и свирепым) русский богатырь с лицом римского патриция, был выдающимся и разносторонним инженером-строителем. Помимо кинотеатра «Россия», участия в строительстве Московской кольцевой автомобильной дороги, Дворца съездов в Кремле, он вел строительство некоторых совсем необычных объектов. Вот что он мне рассказал об одном из них в лесу под Звенигородом на большой поляне ему приказали построить целый ряд бетонных бункеров. К тому времени, когда он принял строительство, туда уже была подведена линия высоковольтной передачи и узкая бетонная дорога со знаком, запрещающим въезд на нее и даже постовым в будке.

Работа велась очень спешно, круглосуточно, в три смены. Леша очень много времени проводил и днем и ночью на строительстве. Даже его могучий организм, не сломленный заключением в одном из Интинских лагерей ГУЛАГа, с трудом выдерживал огромную нагрузку строительства. Бункеры были с очень толстыми (около двух метров) стенами, специалисты проверяли надежность швов. В каждом бункере монтировалась большая электрическая мощная печь и подъездные рельсы к ней. Едва были закончены первые два бункера, как в печи включили ток и по ночам в закрытых машинах к ним стали подвозить запаянные свинцовые гробы. Люди в скафандрах, приезжавшие на этих машинах, с трудом перетаскивали их на каталки, а оттуда по рельсам — прямиком в пылающие печи. Через какое-то время из печей таким же манером вынимали толстые свинцовые чушки — видимо, в печах расплавленные гробы вместе с содержимым сливались в какие-то формы и увозили неизвестно куда. Среди рабочих поднялся ропот, да Леша и сам был обеспокоен. Однажды он подошел к одному из людей, приехавших с очередной машиной, и сказал ему:

— Вы в скафандре. А мои люди и я — без скафандров. Что же это получается?

— Вы хотите сказать, — глухо и спокойно ответил ему человек в скафандре, — что существует опасность заражения? Да. Такая опасность существует. Я, например, уже заражен.

Леше пришлось удовлетвориться этим ответом, однако даже очень высокая оплата не удержала его долго на этом месте.

Если бы человек в скафандре был заражен чумой, холерой или другой инфекционной болезнью, его бы сразу изолировали в больничных условиях. Остается предположить, что так поступали с останками погибших от облучения.

Может быть в одном из таких свинцовых гробов находилось обескровленное, изуродованное тело Лиды…

Впрочем, это ведь только так — предположение…

Басманная больница

Кто сумел пережить, — тот должен иметь силу помнить.

А. И. Герцен

Я проснулся оттого, что тупая боль в боку вдруг дополнилась новой болью — резкой, острой, порывистой.

"Катетер для отвода гноя сдвинулся", догадался я и стал думать, что же теперь делать. С пяти коек моих однопалатников в полутьме доносились похрапывания, постанывания, какое-то бормотанье. Воздух был неподвижен, тяжел и липок, источал запахи лекарств, свернувшейся крови, мочи, немытых тел. В духоте, тесноте в этом гноище уснуть было трудно даже со снотворным. Кнопка звонка возле моей койки, да и возле других, отсутствовала. Дежурный врач был один на все корпуса больницы, неизвестно где находился, скорее всего спал где-нибудь в укромном месте, а дежурной сестре Гале позвонить было невозможно. Позвать же ее громко мне не хотелось, чтобы не разбудить товарищей по палате, и так достаточно хлебавших. (Для не одного из них к тому же, как я Хорошо знал, эта ночь была одной из последних перед Погружением в вечную ночь). Поэтому, хотя и я чувствовал по обозначившейся приятной теплоте в боку, что началось кровотечение, я решил обождать Прихода Гали, положившись на волю Божью. А чтобы Не сосредотачиваться на моем довольно дурацком положении, заставил себя вспоминать всякую всячину. Однако хитрая боль и тут нашла лазейку…

…Мы ехали с моим старинным другом, шофером Шамашем, На экспедиционном фургоне из одного отряда в другой по мягкой грунтовой дороге, почти равномерно, то поднимаясь на пологие склоны, то спускаясь с них. Уже светило вовсю южное солнце, жарко. Справа глубокой темной, металлической зеленью поблескивали тяжелые листья буков, весело подрагивали нежно-зеленые, кое-где с желтинкой узкие листочки акаций, овальные фонарики кизила, а на кустах терновника виднелись фиолетовые с перламутровым отливом крупные плоды. Слева шли и шли поля высокой кукурузы с развевающимися желтоватыми султанчиками поверх початков. Иногда они сменялись аккуратными шпалерами виноградников, где уже наливались разноцветные гроздья. Воздух был душист и свеж, был напоен запахами полевых цветов, пением птиц.

Шамаш осторожно объезжал тяжелые повозки-каруцы, неспешно влекомые парами волов, с дремлющими на передке возницами и покачивающимися высокими штабелями кукурузы.

— Иван-молдован хочет себя, да и скотинку молодой кукурузой попотчевать, — покосился на одну из таких каруц Шамаш.

Я согласно кивнул и почти тут же почувствовал нарастающую тревогу, поднимавшуюся откуда-то снизу к сердцу. Я знал, что она предвещает, но еще некоторое время пытался подавить,4е. Тщетно. А потом стали пульсировать, то усиливаясь, то вовсе исчезая, острые уколы в правом боку. Перерывы между уколами становились все меньше, боль стала режущей, заполнила все тело, я почувствовал, что скоро потеряю сознание.

— Останови, Семен Абрамович, — сказал я.

Шамаш, который уже давно все понял, съехал на обочину, остановил машину и помог мне выйти. Я лег ничком на обочину тут же, вдыхая запах пыли и уже начинавшей жухнуть травы, чувствуя, как от бешеной боли тяжелеет и гудит голова, сжимается сердце.

— Сабр амед, — негромко сказал Шамаш, — предел терпения. Нельзя же так мучиться. Придется…

— Ты меня наркоманом сделаешь, — мрачно сказал я, но сам понимал, что нахожусь на пределе. — Ну, что же, давай.

Шамаш, сверкнув на солнце рыжей шевелюрой (а его фамилия по-караимски и значит — "солнце"), наклонился надо мной, вытащил из полевой сумки коробочку и раскрыл ее. Намочив кусок ваты спиртом из флакончика, он протер мне на руке пятно выше локтя, достал из герметически закрывающегося баллончика со спиртом и пружинкой шприц, надел иглу, отломив кончик ампулы набрал морфий и привычно, уже мастерски, сделал укол. Что-то затряслось, забурлило во мне. Откуда-то от самой головы вниз стали накатывать тяжелые, сладкие волны, постепенно снимая боль, которая отступала и осталась лишь глухими и все более редкими подергиваниями. Наконец, я встал, пошатываясь, и сел в машину. Обычно разговорчивый, Шамаш тоже молча сел за баранку, и мы поехали. Только через час или полтора он сказал довольно угрюмо: — Нельзя же так мучиться, командир. Будто бы в Москве нет хороших врачей…

…Шамаш всю или почти всю войну провел под Ленинградом, то на Ленинградском фронте, то на Волховском, то на "дороге жизни" на Ладоге. С этих Двух фронтов запомнил он несколько неведомо кем сочиненных солдатских песенок-самоделок, и мы, его товарищи по экспедиции, любили, когда он их пел. Вот и тогда он негромко запел одну из таких песен. Сначала я

не обращал на это внимания, но поневоле стал вслушиваться в хорошо уже знакомые слова и нехитрую мелодию.

Вспомним о тех, кто командовал ротами,
Кто умира-а-ал на снегу,
Кто в Ленинград пробирался болотами,
Горло ломая врагу.
Пусть вместе с нами земля ленинградская
Рядом стои-и-ит у стола.
Вспомним, как русская сила солдатская
Немца за Тихвин гнала…

…Я не успел дослушать до конца, потому что почувствовал: кто-то стоит рядом и в больничной полутьме увидел зыбкое белое пятно. Догадался — дежурная медсестра Галя.

Прежде чем я успел раскрыть рот, Галя прошептала:

— Георгий Борисович, там в восьмой палате послеоперационный больной очень мучается. Надо ему укол понтапона сделать. А я забыла, сколько.

— Введи грамм, — решительно сказал я, хотя, в противоположность Гале, медицине не обучался и исходил только из своего собственного опыта. — Да, а потом зайди ко мне.

Все-таки изрядное свинство оставлять Галю дежурной сестрой на ночь в корпусе, где свыше 80 больных и почти все тяжелые.

Галя поступила в больницу почти одновременно со мной, после окончания трехгодичного фельдшерского училища. Это была восемнадцатилетняя, худенькая еще, нескладная девушка с большими, в сборочку розовыми губами, с четким очерком миловидного лица и прямым подбородком с небольшой ямочкой посередине. По утверждению некоторых романистов, таким подбородки бывают у людей смелых, решительных и непреклонных. Может быть, все эти качества действительно заложены в Гале, но, видимо, им будет суждено проявиться только в далеком будущем. Пока же эта застенчивая девушка с состраданием и откровенным страхом глядела на больных. Ее робость и неопытность тут же заметили некоторые остроумцы из выздоравливающих. Так как в урологическом корпусе изобретать предлоги для различных процедур с интимными органами не нужно, то они, забавы ради, то и дело обращались к ней с соответствующими просьбами, да еще нарочно громкими голосами. Галя краснела, а иногда просто убегала Остроумцы жаловались старшей сестре, та устраивав. Гале разнос. У нее выступали слезы на больших карих глазах, и она потом долго плакала, открыв двери стенного шкафчика и уткнувшись носом в стоявшие там лекарства. Видно было, как под белым халатом

подрагивают ее острые лопатки.

Я, пройдя по палатам, пристыдил и обругал остряков, и они сразу же все прекратили. Им и самим было не по себе, но просто из дурного молодечества друг перед другом они никак не могли остановиться. После этого Галя прониклась ко мне симпатией и доверием, а также, немало меня озадачив этим, решила, что я разбираюсь в медицине. После операции она трогательно, хотя и не умело ухаживала за мной. А вот теперь, когда главный врач корпуса на два дня куда-то вылетел на консультацию, какой-то умник догадался оставить ее на ночь дежурной сестрой.

Вечером, после каждой процедуры, Галя, обессиленная главным образом от неуверенности, валилась на стул, пока новый крик не подзывал ее к очередному больному.

Время от времени она обращалась ко мне за советами, которые я, несколько поднаторевший в медицине за время пребывания в корпусе и принимая во внимание всю безвыходность ее положения, отваживался ей давать.

— Больной в трлъей палате очень стонет, — горестно сообщала мне Галя.

— А что у него?

— Камень в левой почке.

— Температура высокая?

— Нет, почти нормальная.

— Ну, тогда ничего страшного. Подложи ему одну грелку снизу, а другую сверху напротив почки.

Так было несколько раз в эту ночь, и я уже изрядно устал, да и мучился от своего довольно двусмысленного положения, но понимал, что ей сейчас еще тяжелее. А Вот теперь она ушла делать укол, а с ее способностям к этой процедуре вряд ли скоро вернется. А надо бы…

…Во время работы в Каракумах я вынужден был пить из верблюжьих колодцев воду немыслимой жесткости. Даже когда руки ею вымоешь, они становились белыми, словно надел бальные перчатки. Правая почка не сработала, и в ней образовался камень. Он вызывал приступы, сопровождающиеся сильной болью, мешал работать, двигаться, что мне как археологу-экпедиционнику было особенно необходимо.

Хлопотами лечащего врача, при помощи справок и ходатайств, получил я в конце концов испещренный подписями и печатями рецепт, по нему — десяток ампул морфия. Семен Абрамович быстро, как: и все, что требовало смекалки и ловкости рук, научился во время приступов делать мне уколы. Это помогало, но приступы становились все сильнее и чаще, и вот, в разгар экспедиционных работ, в июне 1955 года, я вынужден был

уехать в Москву, лечь в больницу, где рентген и зверское исследование под названием цистоскопия показали, что камень довольно большой и ничего хорошего от него ждать нельзя.

Известный хирург-уролог, Лев Исаакович Дунаевский, главный врач урологического корпуса Басманной больницы, вырезал мне этот камень. Зашивая большой, около 30 сантиметров длиной разрез, его ассистентка Раиса Петровна оставила небольшое отверстие, в которое был вставлен резиновый катетер для отвода из оперированной почки гноя и других выделений. Видимо, во сне я случайно неудачно повернулся и получилось неладное. Да, а Галя появится неизвестно когда.

Но она пришла неожиданно быстро и безмолвно встала возле моей кровати расплывчатым белым пятном.

— Понимаешь, Галя, — как можно спокойнее сказал я, — у меня катетер сдвинулся. Видимо, началось кровотечение.

Галя вскрикнула.

— Да тише ты, — сердито одернул ее я. — Обработай йодом рану и залепи ее пластырем. Им же укрепи катетер. Света не зажигай. Возьми фонарик.

Но Галя не послушалась, и под потолком вспыхнула яркая без абажура лампа, осветив нашу палату, шесть коек, стоящие в два ряда по три в каждом, разделенные только тумбочками.

Пока Галя бегала за йодом, пластырем и другими снадобьями, обрабатывала рану, я искоса оглядел палату. Мне еще не разрешили поворачиваться на бок, только лежать на спине, так что угол зрения был ограничен, но кровать Павлика я все-таки увидел. Он не спал. Как и я лежал на спине, но, в противоположность мне, без всякой надежды когда-нибудь повернуться на бок. Небольшие серые глаза были раскрыты и невидяще устремлены в потолок. Лоб и лицо покрывали капельки пота. Нижняя губа закушена, и из нее по подбородку неспешно стекала тоненькая струйка крови.

— Пашка, — решительно сказал я, — не валяй дурочку, постони.

С трудом раскрыв рот, он грозно прошептал:

— Помолчи, фраер, не ори, и эта, ссученная, тоже иллюминацию засветила среди ночи.

— Брось, — миролюбиво оборвал я. — Все спят. Свет я и сам просил не зажигать. И потом я такой же фраер, как и ты. Просто ты черт знает где поднабрался разных словечек, а что к чему и сам не знаешь.

Потом я поднял глаза на Галю:

— Кончила?

Она кивнула и я не допускающим возражений тоном сказал:

— Сделай ему укол, два грамма морфия.

Галя слабо запротестовала:

— Ему уже делали сегодня три раза. Больше нельзя, да и препарат учетный. Знаете, как мне влетит!

— Ссученная и есть, — зло бросил Павлик.

— Не обращай на него внимания. Ты что, не видишь, как он мучается? Сделай укол, а ампулы раздави, скажешь — разбила. А в случае чего я поговорю со Львом Исааковичем.

Галя послушно принесла шприц, уже наполненный чем надо, и, побледнев, откинула одеяло и простыню на проволочный каркас, возвышающийся над телом Павлика от конца ног до того места, где когда-то был у него таз, мочевой пузырь и прочее, а теперь — зияющая рана со сгустками гноя и какими-то фиолетовыми затвердениями. Лев Исаакович под общим наркозом извлек из этого месива осколки от раздробленных тазобедренных костей, проложил кое-как коммуникации, но все равно любое прикосновения, а уж тем более простыни и одеяла еще более усиливали его немыслимую боль. Сосед по палате, Марк Соломонович, своими толстыми, но такими сильными и ловкими пальцами сделал над изуродованным телом Павлика проволочный каркас и теперь только на груди и на плечах его лежали простыня и одеяло, ниже они помещались на проволочном каркасе…

… Галя, побледнев и полузакрыв глаза, сделала укол явно не слишком удачно. Павлик снова закусил губу, но промолчал. После того как Галя кое-как справилась, я попросил:

— Погаси свет и уходи, — а когда она ушла, ехидно поинтересовался у Павлика: — Пашка, ведь она тебя очень больно на иглу посадила. Что же ты ее не обложил?

— Иди ты сам на х…, тоже, начальничек выискался, — прошептал Павлик, и я понял, что боль у него стала утихать…

… Не заметив, как и уснул, я продрал глаза в 6 часов утра, когда было уже давно совсем светло. Один за другим просыпались и мои сопалатники. Галя, неслышно проскользнув в палату, по очереди дала каждому из нас термометр. Все подчинились, кроме Павлика, который посоветовал ей сунуть термометр в задницу дежурному врачу, после чего Галя, покраснев, убежала.

Первым встал Мустафа, натянул выцветший, неопределенного цвета халат, из-под матраца вытащил маленький коврик, встал на нем на колени и, озаренный яркими солнечными лучами, принялся горячо молиться, неслышно шевеля губами. Узкие, слегка раскосые глаза его были

полузакрыты, круглая голова с черными с сильной проседью коротко остриженными волосами подолгу касалась пола, и он застывал в такой позе.

Марк Соломонович поднялся во весь свой богатырский рост, потянулся, надел пижаму, пробурчал:

— Мир вам. Благословен Ты, Господь наш, Владыка Вселенной, сохранивший нас в живых и поддержавший нас и до этого времени.

После чего он зажал в свой могучий кулак ножку от тумбочки и начал высоко поднимать и опускать ее. Он и раньше так делал и, по его мнению, это называлось зарядкой. Когда я как-то сказал ему, что тумбочка вовсе для зарядки не нужна, он упрямо ответил, что даже мельница не машет крыльями впустую, а крутит жернова, а уж человек тем более. Тогда я смирился с таким ответом, но сейчас, когда он лишь недавно перенес операцию, это было уже слишком:

— Марк Соломонович! Поставьте сейчас же тумбочку на место!

— Вам не кажется, Гриша, что это неприлично — делать замечания человеку, которые вдвое старше вас? — сварливо осведомился Марк Соломонович.

— Не кажется, — отрезал я, — совершенно не кажется.

— Видит бог, я не хотел бы служить в солдатах при таком сержанте, как ты, Гриша, — ответил этот семидесятилетний сапожник, но тумбочку все-таки поставил. Потом взял большой кувшин, полотенце, мыло, пасту, зубную щетку и ушел из палаты, освободив поле боя. За ним, после долгих прокашливаний, отсмаркиваний и кряхтения, последовал Дмитрий Антонович. По пути он пихнул Мустафу и презрительно бросил:

— Лоб в дерьме измажешь, ты, хурды-мурды.

На что Мустафа, впрочем, не ответил.

Проснулся и Ардальон Ардальонович, поднял руку в знак приветствия. Худое лицо его, обычно бледное, было сегодня каким-то сероватым.

— Вам было здорово больно ночью, Ардальон Ардальонович, — догадался я, — может полежите еще.

— Вы на редкость сообразительны, — насмешливо ответил он, — однако, как говорили еще древние римляне: "Ignavia est jacere dum possis surgere" — постыдно лежать, если можешь подняться.

Собрав свои туалетные принадлежности, он удалился. Седые волосы его были разделены ровным пробором и тщательно уложены, как будто он только что пришел из парикмахерской.

Тишину, установившуюся в палате, через некоторое время

нарушил Павлик:

— Куда слинял этот жид пархатый и где он запропастился? — зло спросил он, не открывая глаз.

— Ну чего ты, Пашка, — ответил я. — Наверное, для тебя же за теплой водой пошел, а ведь это через всю больницу тащиться надо аж до самого морга.

Павлик смолчал, видимо, боли не так уж сильно мучили его. А вскоре появился Марк Соломонович и в руке его и в самом деле дымился кувшин.

— Будем умываться, сынок, — обратился он к Павлику, и, когда тот замотал отрицательно головой, ласково добавил: — Это в вашем Евангелии от Марка, моего тезки, сказано, что книжники и фарисеи укоряли Христа за то, что его ученики ели хлеб немытыми руками. И они-таки были правы, эти книжники и фарисеи, — добавил он, сдвинув с груди Павлика одеяло и тщательно вымывая ему лицо, руки, грудь.

Павлик отфыркивался и отругивался во время этой довольно длительной процедуры. Тем временем все койки в нашей палате оказались снова занятыми.

Наступило затишье. Оно продолжалось недолго. С бренчанием вкатила Галя в палату небольшой столик на колесиках и, набрав в шприц раствор пенициллина, направилась к первой от двери кровати слева, то есть к моей. Пенициллин тогда считался панацеей от всех бед. Его кололи всем и помногу, а особенно послеоперационным больным. Я невольно съежился. Не знаю, как их там обучали в фельдшерском училище, но делать уколы Галя явно не умела. Впрочем, может и учили хорошо, просто Галя боялась. Она подошла ко мне, откинула одеяло и, поставив иглу шприца почти параллельно ноге, стала медленно вводить его под кожу. Сжав зубы, я старался не показать, какую мучительную боль она мне причиняет. Так же поступали и другие, щадя Галю с ее молодостью и неопытностью. Только Марк Соломонович, видно еще не остывший после перепалки с Павликом во время умывания, не выдержал и проворчал:

— Девушка, скажи, у тебя есть сердце? — потирая то самое место, в которое только что получил укол.

Бледная после ночного дежурства, Галя снова вспыхнула и пробормотав «Извините», быстро ушла, бренча своим столиком.

Палата отдыхала после Галиных уколов, когда дверь открылась и стремительно вошла, радуя всех глубокой синевой глаз под черными разлетистыми бровями, Мария Николаевна и насмешливо-ласково сказала:

— Здорово, гвардейцы!

Мы недружно и не в лад ответили, но каждый как-то

внутренне собрался, подтянулся что ли, как и всегда при ее появлении, да и повеселел. И в самом деле на нее трудно было смотреть без удовольствия. Белый халат не скрывал ее статной, хотя и начинающей полнеть, фигуры зрелой женщины. Из-под белого колпака, закрывая правый висок, как всегда выбивалась прядь темно-русых волос. Четко вырезанные губы, расплывшиеся в улыбке, смуглая кожа слегка скуластого лица только подчеркивала белизну ровных зубов.

— Павлик, — мягко и решительно сказала она, подойдя к его постели, — надо спину протереть одеколоном и смазать, а то еще пролежни будут. — Тот в ответ только недобро зыркнул и промолчал. Кстати, Мария Николаевна была единственным чело веком, которому он разрешал называть себя Павликом. Если это пытались делать другие, нещадно матерился. Для всех остальных он был «Пашка», ну, может быть «Павел», да для Марка Соломоновича еще и «сынок». Его-то и позвала на помощь Мария Николаевна.

— Иду, Машенька. Иду, красавица, — засуетился он, явно волнуясь. Мария Николаевна подняла и набросила на каркас переднюю часть одеяла и простыни, подтянула рукав серо-белой больничной сорочки Павлика, обнажила его худую, покрытую веснушками руку, поставила иглу шприца под углом 45 градусов к ней и быстрым, резким, почти невидимым движением ввела иглу под кожу. Я знал, что она делает уколы совершенно безболезненно, и совсем небескорыстно приглядывался к этой процедуре. Через некоторое время Мария Николаевна кивнула Марку Соломоновичу, он нагнулся и, придерживая Павлика, обхватившего его за шею, приподнял в полусидячее положение своей огромной лапищей.

Видимо, несмотря на укол, боль была страшная. Павлик заскрипел зубами, но смолчал. Мария Николаевна усердно протирала и чем-то присыпала его спину, на которой уже кое-где появились красноватые бархатные овалы. Потом она сменила простынку, покрывавшую резиновый надувной круг, на котором лежала спина Павлика, осторожно вместе с Марком Соломоновичем опустила его, протерла ему и лицо одеколоном.

Павлик проворчал:

— Ты вот в дерьме копаешься, а на тебе еще пахать и пахать.

— Как знать, хлопчик, может и попашешь еще, — засмеялась Мария Николаевна, и Павлик растянул в улыбке лиловые, прокушенные губы.

А Мария Николаевна, операционная сестра, лучшая сестра корпуса, а, наверное, и всей больницы, по очереди обошла нас, для каждого находя ласковое слово, каждому чем-то помогая.

Когда она дошла до меня, я рассказал, что ночью сдвинулся катетер и Галя его закрепила.

Подняв одеяло, отлепив пластырь, Мария Николаевна спокойно сказала:

— Он не сдвинулся, он выскочил. Ну, да не беда. Сейчас вставим обратно. Будет больно, но недолго. Потерпите!

Точно рассчитанным движением, она всунула катетер, и я далее не успел вскрикнуть от резкой боли, как она прошла.

— Откуда вы знаете, куда и насколько вставлять? — спросил я, пока Мария Николаевна закрепляла катетер.

— Куда — он сам идет, канал еще не закрылся, — легко ответила она, — а насколько — видно, потому что на катетере от тела отметины остались.

— Маша, — взмолился я, — научи Галю делать уколы. Это же мука мученическая. Только пусть тренируется не на живом человеке, на подушке, что ли.

— Мария Николаевна улыбаясь кивнула, и тут я шепотом, одними губами, спросил ее, косясь в сторону Павлика: — Ну, как? — Синие глаза ее поблекли, она неопределенно пожала плечами, но все стало ясно.

…Павлик был шахтером где-то на севере, был засыпан и искалечен в угольной шахте обвалом и после лежания в тамошнем госпитале привезен к нам фактически умирать, хотя все мы, веря в искусство Дунаевского, надеялись, что он совершит чудо. Но, видно, здесь и чудо не поможет. Мария Николаевна знала толк в медицине.

Улыбнувшись, раздав пакетики с лекарствами, Мария Николаевна помахала своей легкой рукой на прощанье и вышла. В палате воцарилось всеобщее благодушие. Ардальон Ардальонович даже сказал своим скрипучим, но поставленным голосом:

— Да, теперь над нашей палатой нужно прибить доску с такой же надписью, что была выжжена над входом в сад Эпикура: "Странник, здесь тебе будет хорошо, здесь удовольствие — высшее благо". Сходство усугубляется и меню: в саду Эпикура всех поили только водой и кормили только ячменной кашей. Вот Столько этическим идеалом Эпикура — атараксией — никто из нас не обладает.

— А что это? Прости, Господи, не могу выговорить, — заинтересовался Марк Соломонович.

— Атараксия — это бесстрашие, невозмутимость, — пояснил Ардальон Ардальонович. — По Эпикуру истинный философ даже под пыткой, скажем, когда его поджаривают на медной сковородке, должен про себя повторять: "Как сладко мне. Сколь

мало это меня заботит".

— Или то или другое, — пробурчал озадаченный Марк Соломонович и задумался. Ардальон Ардальонович, а за ним и все остальные, кроме нас с Павликом, отправились завтракать. Нам же няня, тетя Клава, толстая женщина с красным лицом и полуседыми волосами, принесла по миске манной каши с куском сливочного масла посередине и кружке бурды, именуемой кофе.

— Помочь тебе, Пашка? — грубым голосом спросила она.

— Да подавись ты своей мякиной, кобыла, — беззлобно ответил Павлик. Лицо тети Клавы еще больше покраснело, она проворчала: "Заткнись, урка!", и так ткнула ему ложкой в рот, что если бы он не успел мгновенно его раскрыть, то, наверное, лишился бы пары зубов. Так, переругиваясь, они закончили завтрак, и тетя Клава, забрав наши миски и кружки и на прощанье погрозив Павлику кулаком, степенно удалилась.

Лечащие врачи обычно начинали обход со второго этажа, где находилось женское отделение. Поэтому с завтрака вернулся в палату только Марк Соломонович. Остальные вышли погулять в прекрасный больничный сад, среди которого были разбросаны многочисленные корпуса: хирургический, терапевтический, гнойный и другие. Марк Соломонович нагнулся ко мне и почему-то шепотом сказал:

— Гриша, ты, конечно, можешь не верить, но у меня снова появились такие же боли.

— Бог с вами, — ответил я испуганно, — это вам только мерещится.

— Я не барышня из Смольного института, — свирепо проворчал он, — мне ничего не мерещится. Как ты думаешь, что надо делать?

— Вернется Дунаевский, — расскажите ему, — предложил я.

— Так, так, посмотрим, что скажет Льва Исаакович, — перешел на шепот Марк Соломонович, скосив глаза на койку Павлика, и увидел, что тот, наконец, уснул. — Господи, не мне, полуграмотному сапожнику тебя учить, но если ты хочешь очистить душу этого мальчика страданием, то не переложил ли ты страдания, как хозяйка, случается, перекладывает дрожжей в квашню? Сжалься над ним, Господи!

Марк Соломонович на цыпочках подошел к своей койке и бесшумно улегся на нее. Наступившая тишина нарушалась только щебетанием птиц да невнятным шумом голосов гуляющих больных, доносившихся из двух открытых настежь окон нашей палаты…

…Двухэтажный кирпичный дом с облупленной штукатуркой, урологический корпус, был внутри довольно чист и опрятен, но

бедность и обветшалость его инвентаря бросалась в глаза. Колченогие ветхозаветные железные кровати, довоенные еще, тяжелые тумбочки 1с многослойной разноцветной облезающей окраской и толстыми пупырышками ручек на тугих ящиках. Серая унылая краска на стенах. Под потрескавшимся потолком голые без абажуров или плафонов лампочки. Густой, насыщенный отнюдь не благоухающими запахами воздух. Битком набитые палаты. Даже в коридоре на самом проходе иногда лежали больные. Однако вся эта довольно неприглядная картина отошла куда-то, даже исчезла после знакомства с Дунаевским. Невысокого роста, седой, с крупными морщинами, пристальным и жестким взглядом, он был похож на своего знаменитого брата, но казался совсем не таким благостным.

Утром Дунаевский, приехавший раньше всех, поставил «Победу» под окном своего кабинета, сухо поздоровался со встретившимися больными и в сопровождении дежурной сестры ушел к себе. Около часа дня, он вместе с палатным врачом, красивой белокурой Женщиной, Раисой Петровной, и сестрой Любой появился в нашей палате. Обходя больных, молча выслушивал слова лечащего врача, иногда что-то ощупывал Минными, как у пианиста, пальцами.

— Лев Исаакович, я могу надеяться? — упавшим голосом спросил Дмитрий Антонович, едва шевеля дрожащими губами.

— Безусловно, — сухо ответил Дунаевский, и Дмитрий Антонович покраснел и расплылся в счастливой улыбке.

— Как настроение? — спросил Дунаевский у Марка Соломоновича, перейдя к его койке.

— Все хорошо, Льва Исаакович, — безмятежно ответил он, — только вот не могу понять, зачем это Никитку с Булганиным в Индию понесло?

— Что ж, обдумайте на досуге, вы человек умный, — все так же сухо ответил Дунаевский. Дольше всего он пробыл у койки Павлика. Снял полностью одеяло и простыню, близоруко щурясь всматривался в развороченный таз, что-то делал, натянув резиновые перчатки, и, не оглядываясь протягивал руки к сестре за нужным инструментом. Закончив, он своим чистейшим носовым платком отер лоб Павлика и сказал впервые помягчевшим голосом:

— Будем бороться, Павел Васильевич. Надо, надо, ведь мы с вами одного поля ягода, нам иначе нельзя.

Павлик неожиданно заплакал. Крупные слезы его скатывались с обоих сторон на подушку.

— Не трогать, — властно сказал Дунаевский сестре, кинувшейся было вытереть слезы Павлику и вышел,

сопровождаемый своей многочисленной свитой.

На второй день после поступления в больницу, Дунаевский сказал мне во время обхода:

— Минут через сорок зайдите ко мне.

В кабинете Лев Исаакович, посадив меня, зажег лампочку за подвешенным на стенде моим рентгеновским снимком и бесстрастно сказал:

— Камень в правой почке, оксалатный, диаметром примерно 15 миллиметров, двигается, рвет ткани, подлежит удалению под наркозом. Согласны на операцию? Предупреждаю — она тяжелая.

— За этим и лег к вам.

— Так. Операция через три дня в одиннадцать часов. Лечащий врач вас подготовит. Всего хорошего.

Эти три дня я бродил по корпусу, заглядывая во все палаты, знакомился. По утрам, до и после завтрака, до врачебного обхода, все способные ходить больные, кто на костылях, кто как мог, выбирались в сад, где еще виднелись кое-где отцветшие веточки сирени, среди раскидистых лип щебетало, да, наверное, и гнездилось бесчисленное множество птиц. Вырванный силой обстоятельств из напряженной, полной трудностей, азарта, радостей экспедиционной жизни, из пленительной природы Подунавья: полных жизни чистых озер, невысоких холмов, в крытых шелестящими и просвеченными солнцем дубравами, буками, грабами, плантациями кукурузы, винограда, помещенный в тесноту больничного корпуса с его удушливыми запахами, я только здесь, в саду, свободно дышал. Однако все тревожные, тяжелые мысли, а их было много и помимо болезни, все пережитое и еще переживаемое я старался не допускать до себя, но это гнездилось где-то там, в темных глубинах моего подсознания и, время от времени, все равно выходило наружу…

… Пятого марта 1953 года умер Сталин, унеся с собой напоследок сотни жизней растоптанных и раздавленных людей, пришедших на его похороны. А уже через месяц, 4 апреля, все центральные газеты СССР поместили следующее: "Сообщение Министерства внутренних дел СССР. Министерство внутренних дел СССР провело тщательную проверку всех материалов предварительного следствия и других данных по делу группы врачей, обвиняющихся во вредительстве, шпионаже и террористических действиях в отношении активных деятелей Советского государства. В результате проверки установлено, что привлеченные по этому дело профессор Вовси М.С., профессор Виноградов В.Н., профессор Коган М.Б., профессор Егоров П.И., профессор Фельдман А.И., профессор Этингер Я.Г., профессор Василенко В.Х., профессор Гринштейн,А.М, профессор

Зеленин В.Ф., профессор Преображенский Б.С., профессор Попова Н.И., профессор Закусов В.В., профессор Шерешевский Н.А., врач Майоров Г.И., были арестованы бывшим Министерством государственной безопасности СССР неправильно, без каких-либо законных оснований.

Проверка показала, что обвинения, выдвинутые против перечисленных лиц, являются ложными, а документальные данные, на которые опирались работники следствия, несостоятельными. Установлено, что показания арестованных, якобы подтверждающие выдвинутые против них обвинения, получены работниками бывшего Министерства государственной безопасности путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия.

На основании заключения следственной комиссии, специально выделенной Министерством внутренних дел СССР, арестованные Вовси М.С., Виноградов В.Н., Коган Б.В., Егоров П.И., Фельдман А.И., Василенко В.Х., Гринштейн А.М., Зеленин В.Ф., Преображенский Б.С., Попова Н.А., Закусов В.В., Шерешевский Н.А., Майоров Г.И. и др. привлеченные по этому делу полностью реабилитированы в предъявленных им обвинениях во вредительской, террористической и шпионской деятельности, в соответствии со ст.4, п. 5 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, из-под стражи освобождены.

Лица, виновные в неправильном ведении следствия, арестованы и привлечены к ответственности."(Поясню, что почти сразу после смерти Сталина многочисленные министерства были слиты, оставлены лишь десяток их, в том числе и Министерство внутренних дел, в которое вошло и бывшее Министерство государственной безопасности. Впрочем, так продолжалось недолго. Вскоре Министерство (Комитет) государственной безопасности было восстановлено и оба министерства работали на полную мощность.)

Бросалось в глаза, что в сообщении Министерства внутренних дел поименный список освобожденных из-под стражи короче, чем список арестованных. Те, кто в числе освобожденных не указаны, были убиты под пытками во время следствия. Лживым и лицемерным было в заявлении и утверждение, будто "методы следствия" (то есть избиения и пытки), примененные по отношению к арестованным, были у нас "недопустимы и строжайше запрещены". Да, формально, Великая Сталинская Конституция среди "незыблемых прав", дарованных ей советским гражданам, даровала и "неприкосновенность личности". В уголовном кодексе были статьи о наказании следователей за применение угрозы насилия или издевательства над личностью

допрашиваемого. Однако что значили эти пустые бумажки, ничем не подкрепленные, по сравнению с весомыми, однозначными указаниями нашего великого вождя, учителя, лучшего друга? Избиения и пытки широко применялись у нас во все времена владычества Сталина, а с 1937 года даже были вменены в обязанность следователю самим отцом родным. Для аргументирования этого Сталин прибег к обычной для него семинаристско-иезуитской псевдологической тезе: "Революционеров и наших разведчиков, попавших в лапы капиталистических контрразведок пытают. Чем же враги социализма лучше их?"

Через день, 6 апреля, «Правда» напечатала передовую "Советская социалистическая законность неприкосновенна", перепечатанную затем всеми центральными и многими другими газетами. В ней сообщались некоторые подробности: непосредственным Виновником "недопустимых, строжайше запрещенных" приемов следствия был назван Рюмин, зам. министра госбезопасности, начальник следственной части министерства "ныне арестованный" и впоследствии расстрелянный. Арестованные врачи аттестованы были Как "видные деятели советской медицины", даже как честные и уважаемые деятели нашего государства" и т. д. Рюмин назван «преступником», "презренным авантюристом, пытавшимся разжечь в советском обществе… чуждые советской идеологии чувства национальной вражды. Тщательной проверкой установлено, например, что таким образом был оклеветан честный общественный деятель, народный артист СССР Михоэлс".

Далее пояснялось: "В Конституции СССР (эту насквозь фальшивую филькину грамоту называли до смерти Сталина — «сталинской», да и после его смерти, аж до замены — "самой демократичной в мире" и т. д. — Г.Ф.) записаны великие права граждан Советского социалистического государства. Статья 127-я Конституции СССР обеспечивала гражданам СССР неприкосновенность личности. Никто не может быть подвергнут аресту, иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора".

Конституция эта была принята в 1936 году, накануне 1937-го и последующих годов, из чего видно, что она в самом деле «обеспечивала». В завершение статьи утверждалось: "Никому не будет позволено нарушать советскую законность. Каждый рабочий, колхозник, каждый советский интеллигент может спокойно и уверенно работать, зная, что его гражданские права находятся под надежной охраной советской социалистической законности" и т. д. Статья не была подписана, но ясно было, что

это продукт творчества верхушки и прежде всего всемогущего министра внутренних Дел, ближайшего "соратника великого Сталина", главы всего репрессивного аппарата, Лаврентия Павловича Берия. Именно в недрах его ведомства действовали «тройки» и "особые совещания", творившие беззаконную и тайную кровавую расправу над миллионами людей.

Сам факт освобождения выживших врачей, реабилитация действительно великого артиста, С.М.Михоэлса, безжалостно и подло убитого агентами Берии в Минске 13 января 1948 года и объявленного "еврейским буржуазным националистом", призыв к тому, чтобы "не разжигать национальную вражду", то есть оголтелый антисемитизм, — все это было отрадным. Однако лицемерие и ложь, пронизывавшие эту передовую «Правды», были настолько отвратительны, что не позволяли верить в искренность содержавшихся в них утверждений. В самом деле, нас заверял в том, что мы можем спокойно жить и работать под защитой «закона» главный палач страны Берия. Страх не проходил, он лишь отступил. Махровый антисемитизм свирепствовал в СССР со времен войны, уже явно с 1943 года, когда обозначилось неизбежное грядущее поражение фашистской Германии. Особенно бушевал антисемитизм с начала "холодной войны", то есть с 1947–1948 годов, когда под видом борьбы с «космополитизмом» (никого не смущало, например, что Маркс называл себя космополитом) и "буржуазным национализмом" было ошельмовано, доведено до самоубийства, уничтожено множество русских людей еврейского происхождения, прежде всего из интеллигенции.

В статье реабилитировался Михоэлс, но ни слова ни говорилось о судьбе возглавлявшегося им прекрасного Еврейского театра и его актеров.

Убийство Михоэлса (по официальному сообщению он случайно попал под машину) повергло в скорбь многих людей, прежде всего людей искусства. Над его гробом, установленным в Еврейском театре, где он сыграл столько прекрасных ролей, например, короля Лира, пел Иван Семенович Козловский, проститься с ним пришел весь цвет московской творческой интеллигенции. Однако вскоре после похорон Михоэлса объявили врагом и буржуазным националистом, театр ликвидировали, значительная часть его актеров была арестована и погибла в застенках Берии, например, партнер Михоэлса — блистательный шут из "Короля Лира" — актер Зускин. Другие, изгнанные отовсюду, ожидая ареста влачили нищенское существование, как, например, гениальный еврейский художник Александр Григорьевич Тышлер. Кстати, мой покойный ныне друг, крупный

искусствовед Альфред Басехис, арестованный во время кампании борьбы с «космополитизмом» и проведший много лет в тюрьмах и лагерях, рассказывал мне, что когда гроб с изуродованным телом сопровождавшего Михоэлса в Минск театроведа Голубова, также «случайно» попавшего под машину, доставили в Москву, его временно поставили в ВТО. Басехис оставался там дежурным на ночь. Ночью он осмотрел тело Голубова и, помимо раздавленной груди, обнаружил три пулевые раны в затылке. Вспомнилась вдова Соломона Михайловича Михоэлса, обаятельная мудрая женщина Анастасия Павловна Потоцкая, из рода тех самых графов Потоцких. Она рассказывала мне, что патологоанатом, профессор Збарский (он мумифицировал Ленина, а потом Сталина, но в последнем случае его скорбный труд пропал даром), принес ей шубу Михоэлса, в которой тот был в ночь гибели в Минске. На левой стороне шубы, в районе груди он указал два отверстия, объяснив, что это следы от пуль. Впрочем, скоро на квартиру Анастасии Павловны явились весьма сдержанные и вежливые люди с красными книжечками, которые шубу унесли.

И вот теперь в передовой «Правды» из всех преступлений по отношению к Михоэлсу сообщалось только, что он всего-навсего был оклеветан.

Министр государственной безопасности С.Игнатьев, ближайший подручный главного палача, виновный не только в гибели врачей, но и множества других ни в чем неповинных людей, словно в насмешку над ними обвинялся лишь в "политической слепоте", «ротозействе», в том, что он оказался на поводу у своего заместителя "преступного авантюриста" Рюмина. Вторившая партийной «Правде» правительственная газета «Известия» в передовой "Незыблемые права советских людей" в смягченном виде повторяла напечатанное в «Правде», при этом написав и о том, что "Коммунистическая партия, вооруженная учением Ленина-Сталина, привела нашу страну к победе социализма…" и т. д. Кажется, в таком качестве имя Сталина в газетах упоминалось в последний раз. В дальнейшем наше самое передовое в мире учение называлось только учением Ленина. Имя Сталин отпало, как хвост ускользающей от опасности ящерицы.

Через несколько дней во всех центральных газетах было опубликовано краткое сообщение: "В Президиуме Верховного Совета СССР. Президиум Верховного Совета СССР постановил отменить указ от 20 января 1953 года о награждении орденом Ленина врача Тимашук Л.Ф. как неправильный, в связи с выявившимися в настоящее время действительными

обстоятельствами". Что это за "действительные обстоятельства" уважаемым советским гражданам не разъяснялось.

Лидия Тимашук была одной из доносчиц, на клеветнических показаниях которой строило свои доказательства Министерство государственной безопасности. Недолго проносила она свой орден Ленина, но зато славно.

Несмотря на все лицемерие, недомолвки, увертки сообщения Министерства внутренних дел СССР, опубликованного 4 апреля 1953 года, и последовавших газетных статей, страна, за исключением крайних черносотенцев, грязных продажных писак и профессиональных палачей, вздохнула с облегчением впервые за много лет.

Ведь всего несколько месяцев назад было помещено во всех газетах под заголовком "Хроника. Арест группы врачей-вредителей" сообщение, в котором выдающиеся врачи, в основном с еврейскими фамилиями, назывались "террористической группой врачей, ставившей своей целью путем вредительского лечения, сократить жизнь активным деятелям Советского Союза". Врачи обвинялись так: "Эти преступники зловеще умертвили товарища Жданова А.А., сократили жизнь товарища А.С.Щербакова" (первый секретарь МК ВКП(б)). С целью "ослабить оборону страны" старались "подорвать здоровье советских руководящих кадров", "вывести из строя маршала Василевского А.М., маршала Конева И.С., генерала армии Штеменко С.М., адмирала Левченко Г.И. и других…" Сообщалось, что большинство из "врачей убийц", ставших извергами человеческого рода, были связаны с еврейской буржуазно-националистической организацией «Джойнт», созданной американской разведкой, и под ее руководством проводили "широкую шпионскую, террористическую и иную подрывную деятельность в ряде стран, в том числе и в Советском Союзе. Арестованный Вовси заявил следствию, что он получил директиву" об Истреблении руководящих кадров СССР из США от организации «Джойнт» через врача в Москве Шимелиовича (главный врач Боткинской больницы) и известного буржуазного националиста Михоэлса. Другие участники террористической группы (Виноградов В.Н., Коган М.Б., Егоров П.И.) оказались давнишними агентами английской разведки. Следствие будет закончено в ближайшее время (ТАСС) ".

Это сообщение в «Правде» от 13 января 1953 года предварялось передовой "Шпионы и убийцы разоблачены", в которой арестованные врачи назывались "гнусной шайкой шпионов и убийц", "с дьявольской черной совестью", «извергами» и т. д. С торжеством писали, что "чудовищные преступления скрытых врагов народа разоблачены". Тут же сообщалось: "Теперь

полностью разоблачена подлинная деятельность международной еврейской сионистской организации — организации шпионов и террористов, состоящей на службе у агрессивного американского империализма", писалось в связи с этим о гневе и омерзении всех советских людей, клеймился буржуазный националист Михоэлс, вспоминались слова товарища Сталина, сказанные им еще в 1937 году, о существовании у нас вредителей, шпионов, диверсантов и убийц, засылаемых в наши тылы разведками иностранных государств. "Как ничтожных козявок раздавит жалкую кучку презренных предателей Родины советский народ-богатырь", — возвещала газета. Статья заканчивалась лозунгом великого гуманиста, основоположника пролетарской литературы и социалистического реализма А.М.Горького: "Если враг не сдается — его уничтожают".

В головах многих людей, затуманенных годами лживой человеконенавистнической пропаганды, кровавым ураганом сталинских репрессий, далее не возникала мысль о такой мелочи как презумпция невиновности, в том, что, судя по официальному сообщению ТАСС, и следствие-то еще не закончилось, суда и подавно не было, что только суд может установить виновность, а до его приговора обвиняемые считаются невиновными. Где уж тут было до юридических тонкостей. А потом, 21 января, в день смерти В.И.Ленина был опубликован указ о награждении орденом Ленина врача Лидии Федосьевны Тимашук, способствовавшее разоблачению убийц в белых халатах и тем предотвратившей их дальнейшие злодеяния в отношении руководящих кадров СССР. В газетах и журналах появилось множество статей, писем читателей, в которых воспевалась бдительность Тимашук, ее беспредельная преданность делу Ленина-Сталина, партии, социалиста ческой Родине. В «Правде» был опубликован подвал под заголовком "Почта Лидии Тимашук", в котором цитировались письма различных читателей, прежде всего рабочих-ударников, с выражением горячей признательности верной дочери партии и народа, с призывом покончить с еврейскими буржуазными националистами. В газетах, журналах и по радио вещали с необходимости еврейских погромов, лишь слегка камуфлируя это необходимостью уничтожения сионистов всех мастей, агентов «Джойнта» и т. д. На собраниях эту словесную шелуху не употребляли. Там простсгромили евреев, талмуд и т. д. Ярые антисемиты, расплодившиеся после войны не без влияния идеологи* разгромленного Третьего рейха и взлелеянные нашил Отцом Родным, несколько подуставшие после шумной антикосмополитической кампании конца сороковые годов, получили новые живительные импульсы. Всё чаще печатались

открыто антисемитские карикатурь и фельетоны, вроде пасквиля Василия Ардаматскогс "Пиня из Жмеринки", опубликованного в «Крокодиле», впрочем, в марте 1953 года уже после смерти великого кормчего.

Евреи любых специальностей подвергались шельмованию и арестам. Какие-то бодрячки тиснули I разгромные статьи против Маршака и Чуковского. I авторе «Мухи-цокотухи» заподозрили примесь еврейской крови. Его обвиняли, в частности, в том, что он воспевает мух, которые разносят заразу и подрываю" здоровье советских людей. Но тут последовал чей-то начальственный окрик и бодрячки приумолкли. Даже Лаврентий Павлович, который отвечал за создание атомных бомб, берег до поры своих евреев из «ящиков» и "шарашек".

Однако все это были семечки. Великий вождь и его верные соратники, хотя и дрожавшие перед ним от страха, затевали дело посерьезнее. На заводах, фабриках, в учреждениях, совхозах и колхозах были проведены бесчисленные стихийные митинги. Ораторы требовали смертной казни для убийц в белых халатах и вообще искоренения этих, от которых житья не стало истинно русским людям. В состав Президиума ЦК КПСС, сменившего на XIX съезде в 1952 году Политбюро, был введен некто никому до того не известный Д.Чесноков. На более или менее закрытых собраниях пересказывали содержание изданной им для служебного пользования брошюры, в которой «обосновывалась» необходимость ссылки всех лиц еврейской национальности в отдаленные и малонаселенные районы страны. Многие одураченные люди отказывались бриться у евреев-парикмахеров, лечиться у евреев-врачей. На улицах по адресу проходящих евреев раздавались ругательства и угрозы, иногда происходили и избиения. Многие докладчики, как бы случайно «проговаривались», что евреи сами просят выселить их из городов и населенных районов куда-нибудь в глушь, на северо-восток, чтобы избежать погромов и других проявлений справедливого гнева советского народа и помочь им приобщиться к земле. Якобы письмо с такого рода просьбой, подписанной евреями, выдающимися деятелями науки, культуры и искусства, было уже получено товарищем Сталиным и благосклонно им рассматривалось.

Но были слухи и другого рода. Вообще в закрытом обществе недостаток и лживость официальной информации в какой-то мере компенсируется далеко не всегда беспочвенными слухами, часто отражавшими умонастроения. Например, когда в Москву приехал член Бюро Всемирного Совета Мира француз Ив Фарж, он потребовал свидания с кем-либо из обвиняемых врачей.

Отказать было невозможно. Ива Фаржа на Лубянке привели в комнату, в которой его уже ждал облаченный в тройку и при галстуке, но очень изможденный один из "убийц в белых халатах". На все вопросы Ива Фаржа он отвечал вполне однозначно, хотя и безучастно: да — вредитель, да — шпион, да — террорист, обращение следователя — самое гуманное, осознал свою вину, вину страшную, но слишком она велика — его надо казнить.

Ив Фарж, сначала слушавший с недоумением, вскоре догадался, что все разговоры в комнате прослушиваются. В это время профессор поднял руки, и потрясенный Ив Фарж увидел, что ногти на обеих его руках вырваны. Член Бюро ВСМ имел неосторожность рассказать об этом нескольким людям, после чего, во время путешествия по Советскому Союзу, в Грузии, был "совершенно случайно" убит в автомобильной катастрофе. После страшных пыток был убит в застенках и его собеседник.

Обвинения в преднамеренных убийствах, вредительстве, терроризме и т. п. по отношению к врачам, которые десятилетиями лечили и спасали жизнь и здоровье множеству людей, и были настолько чудовищны, что повергли в смятение и недоумение мало-мальски мыслящих людей, особенно честных и неискушенных.

Как-то к нам пришла друг нашего дома, умная и талантливая переводчица Наташа Т., и с горечью сказала:

— Да, конечно, антисемитизм — это отвратительно, но как они могли забыть долг врачей, пойти на такие преступления?

— Ты что, белены объелась? — сказал я, — Они-то своего долга не забыли. Это — честнейшие и благородные люди.

Наташа посмотрела на меня и впрямь безумными глазами и, с трудом выговаривая слова, спросила:

— Ты что же, считаешь, что они ни в чем не виноваты, что это может быть клеветой?

— Да, это и есть самая гнусная клевета! — зло ответил я. Побледневшая Наташа дрожа спросила:

— У тебя есть доказательства?

— Идиотка, — окончательно разозлился я. — На кой черт тебе нужны какие-то доказательства? А уж если они тебе так понадобились — подумай о жизни каждого из них. Сколько людей они спасли и вылечили на фронте и в тылу, до и после войны…

Наташа, продолжая дрожать, молча ушла. Четвертого апреля 1953 года, когда было опубликовано достопамятное "Сообщение Министерства внутренних дел СССР" о реабилитации врачей, она пришла к нам, рыдая, спрашивала, ни к кому не обращаясь, сквозь слезы:

— Как теперь жить? Боже мой! Более мой!

Я не стал ее успокаивать и жестко ответил:

— Вот именно теперь ты и обязана жить, хотя бы для того, чтобы загладить свою вину перед мучениками.

Наташа не была одинока. Машинистка нашего института Анастасия Андреевна, печатавшая свободно на нескольких языках, культурная, интеллигентная женщина, горестно сказала мне тогда:

— За всю историю Россия не была в таком позоре. Страшно и стыдно быть гражданином этой страны. Как Вы могли поверить такой бесчеловечной клевете?..

Я слышал, что Дунаевский тоже был арестован как врач-убийца, хотя и не фигурировал в «Хронике» ТАСС. После сообщения Министерства внутренних дел от 4 апреля его освободили. Конечно, меня подмывало кое о чем расспросить его, но я не решался, боясь причинить ему боль, да и его сдержанная, сухая манера поведения к этому совсем не располагала.

… А чудеса после смерти Сталина продолжались.

С крестьян сняли часть чудовищных налогов, которыми до того облагалось каждое фруктовое дерево в саду, каждая курица во дворе и другая живность, увеличили и приусадебные участки. Стали исчезать из книг, журналов и газет до того бесчисленные цитаты из "гениальных трудов величайшего корифея науки", портреты и самое его имя стало понемногу исчезать после лавины верноподданнических стихов, статей и т. п., обрушившейся сразу после "великой утраты", в которых на все лады воспевали вождя и лучшего друга, клялись в беззаветной любви к нему, в том, что он не умер, он живет, что озарил путь к коммунизму своим могучим сиянием, воспевали тепло его рук, клялись исполнить сталинский завет и быть верными ему… Не писали панегирических поминальных стихов великие поэты Анна Ахматова и Борис Пастернак. Кое-кто вспоминал в связи с "великой утратой" стихи Г.Державина на смерть Павла I: "Умолк рев Норда сиповатый, закрылся грозный страшный зрак". А бесстрашный поэт Наум Коржавин сразу же после смерти Сталина написал посвященное этому событию стихотворение, которое кончалось таким обращением к России:

"А может, ты поймешь, сквозь муки ада,
Сквозь все свои кровавые пути,
Что слепо верить никому не надо
И к правде ложь не может привести."

Величайший вождь всего прогрессивного человечества,

незакатное солнце наше, наша молодость, счастье, наш отец родной линял с каждым днем…

Как и все люди в то время, я жил ожиданием перемен. Их действительно ждали все, кто с надеждой, а кто и со страхом. И перемены происходили все значительней и весомее. Ближайший соратник великого вождя, наш славный стальной чекист Лаврентий Павлович Берия, испытанный большевик-ленинец, автор бессмертного исторического труда о подвигах Сталина в Закавказье, второе лицо в государстве, оказался на поверку врагом и насильником. Он был арестован и расстрелян. На закрытых партийных собраниях читали об этом письмо ЦК КПСС, где указывалось, что он изнасиловал более 200 женщин, был палачом, с осуждением приводились его слова о том, что неугодных ему людей он превращает в "лагерную пыль" (например, секретарь Львовского обкома КПСС), что он открыл какие-то государственные границы и т. д.

В тревожные дни июня 1953 года я оказался на Никольской улице и увидел необыкновенное зрелище: вся она была заставлена танками Т-34 с открытыми люками. Возле машин прохаживались молодые танкисты в черных шлемах и комбинезонах поверх формы.

— Вы откуда, ребята? — спросил я одного из них.

Тот важно ответил:

— Кантемировская бронетанковая. Не видишь что ли?

— А что вы здесь делаете? — не отставал я.

— Спецзадание, — еще более важно ответил танкист.

В это время к нам подошел озабоченный офицер и сказал мне строго:

— Отойдите от танков, товарищ, и в разговоры с нашими не вступайте!

Я пожал плечами и вышел на Красную площадь. Над Спасскими воротами то и дело вспыхивали разноцветные сигналы, черные закрытые ЗИСы, тихо и грозно рыча, на большой скорости влетали в воротную арку и вылетали из нее. Только потом, во время чтения закрытого письма ЦК, я понял, что именно в тот день и произошли падение и арест Берии…

А новости все появлялись и появлялись. В печати перестали упоминать не только имя Сталина, но и такой привычный термин, как "враг народа". Отзвуки глухих грозных раскатов доходили до Москвы с крайнего Севера, а иногда появлялись приехавшие оттуда постаревшие и изможденные люди, которых уже давно считали мертвецами.

СССР посетили Джавахарлал Неру и его красивая стройная дочка Индира, облаченная в невиданное еще нами сари. Неру,

сверкая белизной узких брюк и пилотки, широко улыбаясь, говорил о дружбе, о необходимости мирного сосуществования, о ненасильственном развитии общества и государства, о величии помыслов и жизни его учителя Махатмы Ганди. Наши вожди ко всеобщему изумлению поддакивали ему и клялись, что все, что исповедовал Ганди, еще раньше высказал Владимир Ильич Ленин. Получалось, что эти два основателя великих государств — Советского Союза и Республики Индия — чуть ли не полные единомышленники. А ведь совсем недавно говорили и писали, да и можно было прочесть, например, в энциклопедии, что Ганди — верный прислужник британского империализма, уводящий массы от революционной и национально-освободительной борьбы к мракобесию, мистике и полной покорности капиталистам.

Антисемитов как ветром сдуло со страниц газет и журналов. Эта свора вообще ветра и света боится. Более того, один из главных вдохновителей и организаторов антисемитских кампаний и травли евреев некий бездарный «литератор» в "Литературной газе-16 бесстыдно опубликовал свой перевод стихотворения одного еврейского поэта. Опомнившись от изумления, вызванного такой наглостью, кто-то написал по" тому поводу эпиграмму, широко разошедшуюся по Москве. Эпиграмма кончалась словами: "…хотел перейти он всех жидов, перевел лишь одного еврея…"

Самые неожиданные и разнообразные новации ЗЫли вместе с тем чем-то крепко связаны друг с. Казалось, что какие-то могучие, но еще тайные колеблют пресс, под гнетом которого мы жили Пятилетия.

А теперь вот первый секретарь ЦК КПСС Хрущев и председатель Совета Министров СССР благообразный Булганин сами направились в Индию. Поездка их широко освещалась в нашей печати. Хрущев поражал не только индусов, но и нас, советских граждан, свободной раскованностью своих не во всем вразумительных речей, повторением тех лее постулатов, что высказывал Неру, но уже от своего собственного имени.

Общество, запутанное десятилетиями террора, пронизанное стукачами и провокаторами, не бурлило, что было бы естественно при таких обстоятельствах, но молча затаилось с надеждой и тревогой, ожидая развития событий. Пока что по привычке люди старались не говорить о самом важном и ограничивались туманными намеками. Впрочем, как будет ясно из дальнейшего рассказа, так вели себя не все, по крайней мере, в нашей больнице.

После приемного покоя меня поместили в одну из предоперационных палат. Палата была десятиместная, тесная и

благоухала всеми ароматами урологии.

Несмотря на дурацкий выцветший халат, я попытался было выйти из больницы и погулять по городу, но это оказалось невозможным. Огромная территория ее была обнесена высокой железной оградой, а у единственных ворот в будке сидели по очереди сварливые и крикливые старикашки. Они беспрепятственно пропускали на территорию больницы машины и всех желающих, но ни одного больного не выпускали. В случае чего поднимали страшный крик, грозя свистком вызвать милицию. Благо 28 отделение милиции находилось на той же Новой Басманной улице прямо напротив больницы в доме № 29.

После очередной неудачной попытки выйти и ругани с вахтером я, поостыв, спросил его:

— Неужели вы действительно вызвали бы милицию и чего доброго добились бы, чтобы меня туда упрятали?

— Святое дело, — подтвердил вахтер, невысокий старик с сивыми усами и в валенках несмотря на лето, но зато в синем суконном френче с накладными карманами, — и ты еще за это меня благодарить должен.

— Почему? — удивился я. — За заботу о моем здоровье, что ли?

— Какое в отделении милиции здоровье, — усмехнулся старик. — А просто там, было время, сидели под арестом знаменитые писатели Короленко и Маяковский. Так что — почет там посидеть.

— Как это? — еще больше удивился я.

— Да там, — торжествующе ответил вахтер, — где сейчас милиция, до революции был частный дом, полицейская часть то есть. Смекаешь?

— А за что их посадили?

— Стало быть, заслужили, — пробурчал вахтер и мстительно добавил: — Небось как ты телепались. И тебе туда же дорога.

Но я не захотел попадать под арест даже в таком блестящем обществе и с позором отступил. Тогда я решил разузнать все, что можно о самой Басманной больнице или, как она стала называться, Шестой городской клинической больницей Москвы. Я с трудом получил разрешение на вход в больничную библиотеку, вообще-то предназначенную только для медицинского персонала.

Новую Басманную улицу от Старой Басманной, позже переименованной в улицу Карла Маркса, отделяло небольшое пространство, в давние времена занятое огородами. В XVII веке в районе Басманных улиц находилась Басманная слобода, где жили государевы пекари, выпекавшие дворцовый казенный хлеб

«басман». Назывался он так потому, что на верхней корке %u2022еще не остывшего хлеба вытеснялись — «басманились» — разные изображения, удостоверявшие доброкачественность изделия. Даже сами дворцовые пекари (Назывались «басманниками». Басма — тиснение по коже и другим материалам различных узоров и изображений — было одним из любимых способов орнаментации в древней Руси. Новая Басманная улица, идущая от Разгуляя до Красных ворот, возникла где-то в середине XVII века и до 1762 года называлась Капитанской, поскольку на ней жили офицеры солдатских петровских полков. С середины XIX века на углу Новой Басманной улицы и Бабушкина переулка находилось Сиротское училище, а с 1876 года — Басманная больница. Большая часть корпусов ее, изрядно обветшавших, стояла и поныне. Зато больничный сад сильно разросся и был очень красив.

Вот и все, что я вычитал в больничной библиотеке и увидел собственными глазами.

Прогулки по саду были здесь единственной отрадой. Вначале я почти не различал больных, облаченных в одинаковые безобразные халаты, даже не всегда мог отличить мужчин от женщин. Однако постепенно кое-какие различия уловил, и прежде всего стал узнавать наших урологических. Большинство из них были мужчины весьма пожилого возраста или даже различной степени ветхости старики. Поверх халата на марлевой повязке висели у них стеклянные бутылки, более или менее заполненные отнюдь не духами. В бутылку входил один конец резиновой трубочки — катетера, другой его конец исчезал где-то в складках халата.

Больница похожа на солдатскую казарму тем, что по ней непрерывно циркулируют слухи всякого рода, по большей части потом подтверждающиеся, хотя иногда и фантастические. А существенная разница заключалась в том, что в казарме солдаты исповедуются неохотно мало, а в больнице почти каждый норовит при первой возможности кому попало излить свою душу и прежде всего во всех подробностях описать свое заболевание и свои обстоятельства, а зачастую и не только свои.

Таким образом я узнал, что старикам с бутылками делали операции по удалению гипертрофированной предстательной железы, закрывавшей иногда наглухо выход из мочевого пузыря. Тогда операцию делали в два этапа, и между первым и вторым проходило порядочно времени, которое больные и коротали и урологическом корпусе с подвешенными ниже пояса бутылками.

В палате, в которую я попал, таких стариков было семеро. Они ждали второй операции, заключительной, и были настолько

зациклены на ней, что говорить с ними не хотелось. К тому же мне было тогда 38 лет, до старости еще оставался немалый срок, и обычный больничный эгоизм позволял мне до поры не обращать особого внимания на этих стариков.

На больничном жаргоне их называли «поллитрами» или малозвучной аббревиатурой «ЖЭПЭ» (железа предстательная), а то и еще малозвучнее, Альберт Швейцер называл сообщество больных "братством боли". Что же, наверное, в его больнице, затерянной в джунглях Габона, при таком враче, как он, и больных аборигенах из обитателей этих джунглей, естественных и непосредственных, так оно и было. А вот в нашей больнице, куда нередко попадали люди с изломанными судьбами, с самыми различными, иногда противоположными взглядами, все обстояло значительно сложнее и ни о каком всеобщем «братстве» говорить не приходилось.

Впрочем, в первые дни пребывания в больнице, я особо и не хотел никаких контактов, всеми помыслами рыл там, где среди пышной природы Подунавья, в черных прямоугольниках раскопов, медленно выходили под лопатами, ножами, кисточками, скальпелями, каждый раз неожиданно и прекрасно, древнее оружие, украшения, орудия труда, остатки различных сооружений, веками погребенные, но не уничтоженные.

Однако больница сама властно и грубо вторгалась не только в мой новый быт, но и в сны мои. Хочешь — не хочешь, надо было обживать мое новое обиталище, обретать в нем свой статус…

Прямо напротив входной двери в наш корпус расходился небольшой вестибюль и лестница, ведущая р второй этаж в женское отделение. Через весь первый этаж тянулся длинный коридор. Слева в него входили двери из операционной, ординаторской, процедурной, халатной (тогда в больницы всем, даже посетителям, разрешалось входить только в белых халатах), столовой, кабинета Дунаевского. В процедурной, где помимо обитого клеенкой лежака и двух стеклянных шкафчиков с лекарствами стояло зловещее гинекологическое кресло для всевозможных урологических исследований, часто очень тяжелых. Больные прозвали его «козой», вероятно из-за двух сверкающих никелем, торчащих вперед подпорок для ног. Влезть "на козу" и сидеть на ней было не только тяжело морально из-за беспомощной и даже унизительной позы, но и сопряжено с очень болезненными процедурами.

По правую сторону в коридор выходили двери из палат и бельевая, где хранились простыни, одеяла, подушки, клеенки, судна, утки, халаты, пижамы и прочий жалкий скарб корпуса, а также дверь из туалета. Место кастелянши было вакантным, и

ее обязанности, как теперь говорят, на общественных началах, исполняла операционная сестра Мария Николаевна.

Посередине коридора стоял столик со стулом, над ним висел шкафчик с лекарствами. Это был пост дежурной сестры. Санитарок или нянечек в мужском отделении было две — могучая и грубоватая тетя Клава и Авдотья-квадратная, неопределенного возраста женщина с сильно приплюснутым посередине носом и очень красным лицом по прозвищу Кнопка. Санитарок был явный недобор. Да и кому же хотелось идти на эту работу, да еще за 300 тогдашних рублей в месяц. Впрочем, недобор был и среди медсестер — ведь получали они всего в два раза больше санитарок, а ответственность было огромной, да еще приходилось выполнять множество дополнительных обязанностей. Врачей помимо Дунаевского было двое: Демьян Прокофьевич, жгучий брюнет с тяжелым взглядом и еще более тяжелой нижней челюстью, по слухам хороший специалист (да плохого Дунаевский и не стал бы держать), но человек очень жесткий, и молоденькая белокурая приветливая Раиса Петровна, которая сразу же вызывала симпатию, и я был очень рад, что именно к ней. Однако, когда за день до операции она во время утреннего обхода попросила меня зайти в процедурную, я почувствовал себя не очень хорошо, заподозрив неладное. Я не ошибся. Когда пришел, Раиса. Петровна сказала, что придется сделать повторную цистоскопию и тут же вколола в вену специальную синюю жидкость. Суть варварского, дикого по болезненности анализа заключается в том, что в мочевой пузырь вводят через канал стержень с небольшой электрической лампочкой на конце, а на другом конце стержня имеется зеркало. Врач включает лампочку и смотрит в зеркало, как скоро и с какой интенсивностью каждая почка сбрасывает синюю жидкость.

Кряхтя взобравшись на «козу», я жалобно попросил Раису Петровну:

— А нельзя мне ввести туда что-нибудь обезболивающее?

Она взглянула на меня своими ясными глазами и, поколебавшись, сказала почему-то вполголоса:

— Хорошо, но только с одним условием. Здесь нужно особое средство. У нас его очень мало, так что никому не рассказывайте.

Я клятвенно обещал хранить тайну, и Раиса Петровна действительно ввела мне шприцем какую-то бесцветную жидкость и через несколько минут приступила к анализу. Было больно, но не в пример тому, как в первый раз. Вообще вполне терпимо и во время этой довольно длительной процедуры мы говорили о русской поэзии и по просьбе Раисы Петровны я читал ей наизусть Гумилева и Георгия Иванова. Когда я, наконец, благополучно слез

с «козы», Раиса Петровна сказала:

— Да, операция нужна и по крайней мере с этой стороны противопоказаний нет.

Я горячо поблагодарил ее, и далее, в порыве чувства признательности, поцеловал. Раиса Петровна покраснела:

— Ведь вы культурный человек, Георгий Борисович, разве вы не могли понять, что туда нельзя, да и некуда вводить обезболивающее. Я впрыснула вам дистиллированной воды. Это называется психотерапия.

Нужно ли удивляться тому, что после этих слов я поцеловал ее еще раз.

В палате меня между тем поджидали два безбутыльника, с которыми я уже успел свести знакомство. Один из них, лет сорока пяти, невысокий, с правильными чертами лица, был, что называется, на диво сложен. Даже наша дрянная больничная амуниция — халат и пижама, — выглядели на нем как-то элегантно. Чувствовалось, что он привык носить форму. Звали его Владимир Федорович и отличался он неизменной корректностью и сдержанностью. Он был капитаном дальнего плавания и ходил на своих сухогрузах по многим морям. Как-то неподалеку от берегов Англии у него внезапно начался приступ аппендицита, а судовой врач, как на грех, сам лежал с тяжелым сердечным приступом. Сухогруз срочно пришвартовался в Ливерпуле, и в местном госпитале ему немедленно сделали операцию. Он лежал на койке у окна, когда весьма плотный санитар влез на подоконник, чтобы перевесить штору.

— Смотрите, не свалитесь на меня, — пошутил Владимир Федорович.

— Ну, что вы, сэр, — улыбнулся английский санитар и тут же брякнулся прямо на Владимира Федоровича. Пришлось снова накладывать швы, но все в конце концов обошлось благополучно, и Владимир Федорович прилетел к порту приписки своего сухогруза Ленинград. Однако через несколько месяцев, с той стороны, где была сделана операция, у него появились ноющие боли. Рентген показал, что там находится какой-то посторонний предмет. Владимира Федоровича отправили в Москву, к лучшему хирургу-урологу Дунаевскому. Тот не медля положил капитана на операционный стол и извлек из него забытый во время удаления марлевый тампон, который, постепенно обызвествковываясь, твердел и причинял капитану такие боли. Второй безбутылочник, лет двадцати пяти-тридцати, рыжий неугомонный верзила Степа был боцманом на пассажирском пароходе «Россия», приписанным к одесскому порту. Он попал в больницу с тем лее, что и я, почему-то не доверяя своим одесским врачам.

Когда я все-таки рассказал им о психотерапевтическом сеансе Раисы Петровны, оба они смеялись, а Степа еще мечтательно и загадочно сказал:

— Эх, нам бы такую пташечку в катакомбы!..

— Ты же моряк-одессит, Степа, — с удивлением спросил я, — причем здесь какие-то катакомбы?

— А ты думаешь, что плоть и кровь Одессы Французский бульвар, Дюк и Дерибасовская? — усмехнулся он. — Нет, было время, когда они находились в катакомбах, — и больше на эту тему говорить не пожелал. Правда я и так понял, в чем суть…

Зная, что завтра операция, я все-таки нервничал, и в который раз обойдя все палаты, постучался в кабинет Дунаевского.

— Волнуетесь, — спросил он, жестом приглашая меня сесть.

— Дело не в этом, Лев Исаакович, — твердо сказал я, — а в том, что я очень прошу оперировать меня не под наркозом, а с местной анестезией.

Лев Исаакович ответил холодно:

— Вам предстоит тяжелая полостная операция. Такие операции делают только под наркозом. К тому же в почку никакого обезболивающего вводить нельзя.

— И все-таки, — продолжал настаивать я, — прошу сделать операцию с местной анестезией. Я нагляделся, как выворачивает наизнанку оперированных после эфира. Кроме того, у меня был перелом шейных позвонков, они срослись не совсем правильно и я должен постоянно контролировать дыхание, иначе могу задохнуться. В общем, или с местной анестезией, или я отказываюсь от операции.

Лев Исаакович, пожав плечами, ответил:

— Я сделаю все, что можно, но все равно будет больно. Очень больно.

— Спасибо, — обрадовался я и почему-то выпалил: — А как же это англичане, такие аккуратные люди, тампон в животе у Владимира Федоровича забыли?

Дунаевский, впервые за мое знакомство с ним, слегка улыбнулся и сказал:

— Это со всеми может случиться. Вот я напишу вам сейчас записку, пойдете в наш закрытый больничный музей, там посмотрите.

Вооруженный запиской, я действительно посетил тщательно охраняемый больничный музей и был поражен, увидев на витрине забытые во время операции или иными путями попавшие в животы людей всевозможные предметы. Здесь были зажимы, пинцеты, даже ножницы, ложки, гайки и всякая другая дребедень.

Вернувшись из музея, все-таки продолжая волноваться из-за

завтрашней операции, я зашел в палату, где лежал 78-летний раввин, с которым я уже успел познакомиться. Это был тихий, кроткий старичок с огромной белой бородой и черной ермолкой на седых кудрях. Когда ему говорили: "Здравствуйте, ребе", он открывал широко по-детски ясные зеленоватые глаза, вежливо отвечал: "Мир вам", и снова погружался в дремоту. Он считался хроником, то есть был болен безнадежно. Видимо, у своих знакомых старик пользовался большим уважением. Часто к нему приходили какие-то люди, они долго что-то шептали ему в большое бледное ухо. Старик безучастно слушал, лежа совершенно неподвижно. Иногда он открывал глаза и слабым голосом произносил несколько слов на еврейском языке. Посетители внимательно слушали. Потом, кланяясь, на цыпочках уходили из корпуса. В открытые окна доносились их оживленные голоса, и видно было, как они страстно жестикулируют, обсуждая советы ребе. Я решил тоже попросить у него совета перед операцией, но выяснилось, что я пришел совсем не вовремя. Старику, оказывается, потребовалось поставить клизму, и занималась этим растерянная медсестра Галя. Она очень старалась, но никак не могла попасть наконечником в нужное место. А когда думала, что попала и отпускала зажим, неизменно оказывалось, что ошиблась. Решив помочь ей, я уже несколько раз приносил заново наполненную кружку Эсмарха. Раввин был весь мокрый, он лежал в воде, как в озере, и только седая борода его торчала, как парус. Он был добрый человек. Потому, хотя и несколько растерявшись, он нисколько не сердился, а наоборот, старался ободрить и утешить Галю, кротко говорил ей: "Ничего дочь моя. Не волнуйся. Ищущий — обрящет…"

Галя вся раскраснелась, халат ее был забрызгав водой, а когда зашедшая случайно санитарка, тетя Клава, дала ей грубый, но дельный совет, она совсем смутилась и убежала. Тогда тетя Клава, не говоря ни слова, в два счета проделала эту нехитрую процедур) и сменила белье старику и на его постели. Собственно именно санитарки и должны этим заниматься, но их не хватало, работы у тех двух, что из нашего отделения и так было невпроворот…

Вечером, когда я сидел в саду, пришла, наконец моя жена, которая снимала в Крыму фильм по рассказ) Куприна, и с большим трудом вырвалась на пару дней в Москву. Встреча с любимой помогла мне собрать вес силы, успокоиться и ночь перед операцией я, хотя V со снотворным, проспал спокойно…

Однако утром, когда Раиса Петровна сказала мне что завтракать нельзя, и снова осмотрела меня, я почувствовал какое-то отчуждение от людей. Что-та стало отделять меня от всех

остальных, от всего мира Я с нетерпением ждал, когда позовут меня в операционную. Туда полагалось везти на каталке, но я твердо решил пойти на своих двоих. Палата была пуста Минуты тянулись томительно долго, а за мной все не приходили. Тогда я вышел из корпуса и не замеченные женой и другими близкими, завернул за угол. Прошелся по одной из аллей. Странно и нелепо показалось мне, что вот я свободно хожу и ничего у меня не болит и светит солнце, и зеленеют деревья, и поют птицы, я почему-то должен идти в операционную, ложиться под нож, и бог знает чем все это кончится. А может отказаться? Нет, пересилив это малодушное желание я, снова не замеченный, вернулся в корпус. Вошел в свою палату как раз вовремя, почти тут же появилась операционная сестра Мария Николаевна, поманила меня, сказала спокойно:

— Пошли, Георгий Борисович, раз уж вы такой завзятый пешеход.

В коридоре я спросил:

— Вы там-то будете?

Она улыбнулась.

— А как же, для того и поставлена.

Такой красивой, ладной, спокойной была она, что словно что-то перелилось от нее ко мне, и я уверенно вошел в операционную. Дунаевский в желтых перчатках, в марлевой повязке был с трудом узнаваем, сосредоточен и хмур. Зато облаченная, как и он, Раиса Петровна оставалась такой же, как всегда, и даже чудилось мне, что она улыбается под своей марлевой повязкой. В операционной находилась еще одна сестра, равнодушная Люба. В центре круглая — люстра уже заливала ярким мертвенным светом обитый белой клеенкой операционный стол. Он состоял из трех сочленений. Пока я, выполняя указания Дунаевского, раздевался, а потом и лег на левый бок на этот самый стол, Мария Николаевна тщательно вымыла руки и тоже надела марлевую повязку. Потом она накрыла мне нижнюю часть тела простыней, правый бок чем-то обильно смазывали и протирали. Я почувствовал серию уколов. Понял, что вводят местную анестезию. Все остановилось, появилось какое-то напряжение. Мария Николаевна спросила звучным, несмотря на повязку, голосом:

— Где это вы так загореть успели? Совсем коричневый.

— Да с начала мая в экспедиции был на юге, на Дунае, — с облегчением ответил я.

Через несколько минут услышал голос Дунаевского: «Скальпель», и тут же почувствовал, как по правому боку словно провели гранью горячего утюга. Догадался — разрез. Вскоре

последовала новая серия уколов — обезболивающие вводили в разрез, и так несколько раз. Наверное, это удлинило время операции.

Вдруг с легким треском верхняя часть операционного стола ушла из-под моей головы и плеча и куда-то опустилась.

— Закрепить! — тихо приказал Дунаевский, и когда его распоряжение было тут же выполнено, спросил:

— Пульс?

Мария Николаевна сжала мою руку и через минуту сказала: «Норма». Последовала новая серия уколов и команд. Операция продолжалась. Тут стала падать нижняя часть стола, и я почувствовал как что-то изгибается в разрезе. Мария Николаевна подхватила стол, не дала упасть и тут же закрепила. Операция продолжалась. Да, видимо не только пижамы и халаты в корпусе были старыми и изношенными.

— Держите пульс, — через некоторое время приказал Дунаевский. Мария Николаевна села на табуретку возле меня и слегка сжала кисть моей руки. Тут я почувствовал сумасшедшую, неправдоподобную боль, и впился другой рукой в руку Марии Николаевны.

— Восемьдесят, — спокойно сказала она, а через некоторое время: — Девяносто, — потом: — Сто десять. — И, наклонившись к моему уху, прошептала:

— Потерпи, теперь недолго.

— Не отходи от меня, — взмолился я.

— А куда же я денусь, — ответила она ласково.

Вскоре боль и в самом деле стала не такой сильной.

Как я потом узнал, операция продолжалась два часа сорок минут…

Дунаевский поднес к моим глазам окровавленный шарик и спросил:

— Вот он, разбойник. Сохранить для вас на память?

— Зачем? — радостно ответил я, и камень глухо стукнул о дно эмалированной миски.

Дунаевский отошел в сторону, но не садился. К делу приступила Раиса Петровна, как будто подпиливая мне бок какой-то острой пилой. Наконец, по приказу Дунаевского, Мария Николаевна и Люба осторожно переложили меня на каталку и накрыли простыней до самой шеи.

— Спасибо, Лев Исаакович, — проговорил я, но он только устало кивнул. Мария Николаевна повезла каталку по коридору, где я увидел жену. Ей удалось каким-то чудом пройти в коридор. Мы встретились глазами, улыбнулись друг другу, что-то ободряющее друг другу сказали. Я увидел в ее глазах любовь,

тревогу, надежду и еще какое-то непонятное, но очень важное чувство.

Мария Николаевна привезла меня в новую послеоперационную палату. Одна, легко и осторожно, переложила навзничь на кровать, приладила катетер, который мне вставили во время операции, теперь уже без повязки, она широко улыбнулась:

— Держись, казак, сеча позади.

Я почувствовал огромную слабость, глухую боль в боку, но был счастлив. Счастлив тем, что увидел жену, тем, что операция прошла благополучно, что сделали ее не под наркозом, что хоть и пришлось потерпеть, но я в полном сознании, меня не мутит и не рвет.

Тут ко мне подошел высокий старик в пижаме с крупными чертами лица. Сверкая лысым черепом и огромными карими глазами, он церемонно раскланялся и представился:

— Марк Соломонович Тильман. Разрешите познакомиться.

— Георгий Борисович Федоров, — стараясь говорить ему в тон, ответил я, невольно улыбнувшись. И тут старик неожиданно хлопнул меня своей лапищей по плечу, да так, что у меня в глазах помутилось от боли в боку, и закричал:

— Ты не волнуйся, Гриша! Я тебе говорю, что все у тебя будет в порядке.

Ну что же, он не ошибся. Только все оказалось не так просто. К вечеру сильно поднялась температура. Держалась она и на другой день. Чтобы не допустить застоя в легких и их воспаления, пришлось поставить банки. Мария Николаевна, хотя это и не входило в ее обязанности, проделала всю эту сложную в моем положении процедуру лишь с малой помощью закрепила меня, обложив со всех сторон подушками в полусидячем положении, поставила на спине десятка полтора банок и держала их, как мне показалось, невыносимо долго. Разрез при этом сильно болел.

А потом вернулась на съемки в Крым жена — ей и так было трудно вырваться, и я почувствовал страшное одиночество и опустошение. Между тем температура, хотя и держалась выше нормы, постепенно стала спадать. Я начал привыкать к своеобразному режиму палаты, к тяжелому, несмотря на открытые окна, воздуху, к ругательствам Павлика, к озабоченности Раисы Петровны при виде моего температурного листка, к девяти уколам в сутки: шести — пенициллина, двум — камфары, и одного в ночь — понтапона. Правда не тогда, когда уколы делала Галя. Привыкнуть к этому не было никакой возможности. После обещания Марии Николаевны подучить Галю

я немного воспрянул духом. После ужина, когда еще продолжался длинный летний день, все, кроме нас с Павликом, вышли в сад. Последним выходил мой сосед слева, грузный Дмитрий Антонович. Остановив его движением руки, я сказал:

— Зачем вы называете Мустафу «хурды-мурды»? Это же невежливо и оскорбительно.

— Да брось ты, Борисыч, — почему-то горестно промямлил Дмитрий Антонович, — их всех так зовут.

— Кого это всех? — удивился я. — У нас что ли все Иваны? Да и потом имени такого нет, «хурды-мурды», а зовут его Мустафа, вы и сами знаете.

Черт с ним, — тоскливо сказал Дмитрий Антонович и, нагнувшись к моей кровати, почему-то Шепотом добавил: — Рак почек у меня, Борисыч. И Метастазы по всему телу. А этот, — и он мотнул Еловой в сторону коридора, — только разрезал, поглядел и снова зашил. А теперь мозги пудрит. Ему что до нас?

— Откуда вы про рак знаете? — невольно понизил я голос. Дмитрий Антонович предостерегающе замахал на меня рукой, продолжая тем же горестным шепотом, косясь почему-то в сторону кровати Павлика:

— Да уж знаю. Мне верные люди сказали. А чего и ждать было.

— Верить надо все-таки врачам, Дмитрий Антонович, а не вашим верным людям, — твердо ответил я.

Следующие дни были для меня томительно тяжелыми. Снова сильно подскочила температура. При малейшем движении болел и гноился разрез. Угнетало еще более замкнутое чем обычно выражение лица Льва Исааковича, хотя он не пропускал ни одного обхода и по-прежнему был внимателен к каждому больному. Что с ним происходит, гадали мы все, но ответа не было.

…И вот наступила эта трудная ночь дежурства Гали. Не знаю, сколько времени прошло, но я с некоторой досадой снова увидел перед собой в полутьме белое расплывчатое пятно.

— Ну, чего тебе теперь?

— Мне страшно, — ответила Галя. Таким обезоруживающим и простым был этот ответ, что я сразу же сменил гнев на милость.

— Садись, рассказывай, что там у тебя есть: мама, папа, сестры, братья, где родились, где учились, в кого влюблялись и все такое.

Галя послушно села на табуретку, заговорила сбивчивым горячим шепотом, так что я даже не все слова понимал. Но вот она постепенно успокоилась, да и серый свет занимающегося дня наполнил палату.

— Ладно, иди на пост, — предложил я.

— Спасибо, — пробормотала Галя и бесшумно ушла… А я вспомнил о другой медсестре, косточки которой уже давно истлели где-то в сырой земле, но образ ее — со мной до последнего дыхания моего.

Я был совсем юношей, когда со мной из-за сплетения нелепых обстоятельств произошло непоправимое несчастье. В полусотне верст от Москвы и в пяти — от станции Снегири на реке Истра я сломал третий, четвертый и пятый шейные позвонки и вывихнул обе руки. Меня доставили в Боткинскую больницу на три четверти мертвого. У меня был паралич, потеря всякой чувствительности, так что тело можно было безболезненно проткнуть в любом месте. Только страшно и садняще болели сломанные позвонки. Язык у меня ’ западал и перекрывал дыхание. Его закрепили большой защипкой, но дышал я все равно тяжело, с хрипом — из-за слюны. Человеческие лица я видел только, если сосредоточенно смотрел на них некоторое время, а так — расплывчатые фигуры с непонятными полузвериными головами. Сосредоточившись, я увидел на какое-то мгновение огромные, полные ужаса и сочувствия, глаза какого-то грузина, который пристально, как завороженный, смотрел на меня… Снова и снова перед мысленным взором моим открывался летний пионерский лагерь в Снегирях, полный света, веселых звонких голосов, звуков фанфар. Был торжественный день открытия лагеря. Приехали родители, представители Московского комитета партии и другие гости. Посередине лагеря уже навалили кучу хвороста для вечернего костра. Перед обедом я, дежурный пионервожатый, повел желающих ребят купаться на Истру. Там присланный из Московского института физкультуры инструктор построил длинный и высокий трамплин. Ребята. столпились около трамплина, а трое или четверо уже стояли на нем, готовясь к прыжкам. Тут у меня что-то екнуло в сердце. Я свистком отозвал ребят и предложил практиканту Высшей школы детского коммунистического воспитания, азербайджанцу Ганифаеву: "Иман, давай сначала сами попробуем трамплин." Смуглый атлет, с которым я уже успел подружиться, пожал могучими плечами и сказал: "Специалист проверял, но коли ты хочешь…"

Мы встали на трамплин, я раскачался и прыгнул ласточкой, а он вслед за мной…

Как потом выяснилось, трамплин был высотой пять с половиной метров, а глубина реки в этом месте т- всего полтора метра и дно каменистое. Я помню резкую боль сначала в кончиках пальцев сложенных Рук, потом в плечах, потом хруст и

оглушающий удар шеей о камни дна. Уже теряя сознание, я всплыл спиной кверху и меня вытащили. Иман раскроил голову, но из воды вышел сам. На голове и на плечах его, как волосы у моих любимых мушкетеров, лежала кровь. Пошатываясь, он сделал несколько шагов и рухнул, а я потерял сознание. Мой друг умер через несколько часов.

"Скорая помошь" — тяжелая черная машина «роллс-ройс», вызванная одним из работников МК, застряла, не доехав до лагеря, на размытой после недавних дождей грунтовой дороге. Ее с трудом водворили обратно на шоссе, мощеное булыжником. Несколько километров меня несли до нее на носилках, сменяясь по очереди, пионервожатые и кое-кто из гостей. Я то терял сознание, то ненадолго приходил в себя.

Заведовал десятым хирургическим корпусом Боткинской больницы, куда меня положили, профессор Алексей Дмитриевич Очкин, Несмотря на большую разницу в возрасте, мы с ним дружили. Алексей Дмитриевич был хирургом номер один. Высокий, красивый, великолепный, шумный, он, как и некоторые другие талантливые выходцы из народа, сочетал в себе неизвестно где схваченные барские манеры с беззаветным трудом, был грозен и милостив, ко многому нетерпим, но и понимал и прощал многое. Он был завзятым англоманом (что на Руси не редкость), и был на редкость талантлив и упрям.

Он встретил машину "скорой помощи", которая привезла меня, на крыльце корпуса, прорычал мне вместо приветствия какое-то добротное ругательство и велел поместить в изолятор на четыре койки. Там лежали больные только с переломами позвонков. За время, которое я там находился, в изоляторе перебывало 13 больных, все не старше 25 лет, но выжил я один.

Это было совсем непросто. После рентгена меня положили на спину на вытяжение на доски, покрытые простыней. Огромный толстый кожаный ошейник охватывал шею, подпирал подбородок и был двумя ремнями закреплен за спинку кровати. Пока я лежал на вытяжении, вернулась чувствительность в ногах и они задвигались, тогда их придавили мешочками с песком. Потом сняли ошейник, наложили большой гипсовый панцирь, который закрывал почти всю грудь, всю шею, фиксировал голову совершенно неподвижно. Потом стала возвращаться чувствительность и по всему телу. Заныли вправленные после вывиха руки, «задергали» неизбежно возникшие пролежни, почему-то все тело, то равномерно-ноюще, то острыми уколами заболело. Речь восстановилась, хотя и постепенно и с трудом. Руки оставались неподвижными, только на левой руке ожил указательный палец. Тут подошла новая беда. После долгого

перерыва почувствовав свое тело, раньше такое сильное, а теперь все ноющее, распростертое неподвижно на кровати, я стал презирать и ненавидеть его и всего себя тоже. Я сделался мрачным, замкнутым, упрямо невосприимчивым даже к тому маленькому палатному мирку, который открывался моим глазам, к посещениям близких, к врачам. Мне казалось, что внешне я совершенно бесстрастен, однако и медицинские сестры (они шутливо и сочувственно называли обитателей нашей палаты "беспозвоночными"), и Алексей Дмитриевич очень хорошо поняли мое состояние, почувствовали его. И тут я даже 1с некоторым злорадством заметил, что Алексей Дмитриевич стал впервые нервничать. Я натянуто улыбался его грубоватым шуткам, вполуха слушал рассказы о [различных событиях его прихотливой и во многом удивительной жизни. Он стал присылать ко мне свою жену — умную, изящную Нину Федоровну, врача-психиатра. Она приходила не раз и просиживала со мной подолгу, ведя в самом деле очень толковые, интересные разговоры, но мне не было до них дела. Я все больше терял вкус и интерес к жизни, все больше презирал себя.

Однажды вечером, когда все в палате уже спали и горел только неяркий ночник, находившийся в стене почти у самого пола, в палату вошла и подошла ко мне Светловолосая, с васильковыми глазами медсестра Маруся, которая была лишь немногим старше меня.

— Ты что, подменяешь кого-нибудь или на ночь к кому приставили? — спросил я довольно равнодушно.

— Вроде того, — беспечно ответила Маруся и вдруг, раздевшись догола, легла рядом со мной в постель и накрылась одеялом. Поняв в чем дело, я зло сказал ей:

— Убирайтесь к черту! Не нужна мне твоя жалость. — И так как она не думала уходить, то далее обматерил ее.

В пионерском отряде, а потом в комсомольской ячейке меня учили, что жалость, — это мещанское чувство, постыдное для того, что жалеет и особенно для тех, кого жалеют. И я верил в это. Я не знал тогда, что жалость, сострадание — самое великое чувство, которое вложил в нас Всевышний, и тот кто полон этим чувством, более всего приближен к Его престолу. Недаром на Руси слова «любить» и «жалеть» — почти синонимы и очень часто стоят рядом.

Я не подозревал тогда всего этого и презирал жалость еще больше, чем свое искалеченное тело. Однако все это не производило на Марусю никакого впечатления. Она потянулась, сказала:

— А я вовсе и не думаю жалеть тебя. Мне просто приятно с

тобой полежать, — и, обвив мою голову сверху руками, несколько раз поцеловала меня в губы.

В голове у меня помутилось, всего меня обдало жаром, сердце забилось часто и сильно, и я замолчал. Сколько так пролежала со мной Маруся, не знаю: иногда мне казалось — один миг, иногда, что много, много часов. Потом она бесшумно встала, оделась и молча ушла, на прощанье поцеловав меня. Так было еще три ночи. И то, чего не могли добиться знаменитый профессор и блестящий психиатр, его жена, то сделала девушка, сама едва вышедшая из отроческого возраста. В последний раз она лежала в постели уже не с уродом, а с парнем, пусть с гипсом на груди и шее, пусть пока прикованным к постели, но с парнем, готовым и жаждущим жить, любить, бороться. Я стал выздоравливать, с каждым часом чувствовать себя сильнее, то и дело ловил в себе новые проявления жизни и здоровья.

Алексей Дмитриевич провел синим карандашом косую линию через весь мой гипс, на равном расстоянии нарисовал на ней красивые кружочки и пронумеровал их.

— Сегодня ты дотянешься левой рукой до первой станции, чертов ныряла, понял?

— Понял, понял, — счастливо улыбнулся я и тут же, цепляясь указательным пальцем за гипс, стал тянуть руку. Она без труда добралась до кружочка с номером один. — Э, да ты изрядный симулянт, я вижу, — проворчал Алексей Дмитриевич, — тогда изволь сегодня же подняться до третьей станции.

Я потянул было руку, но гипс дальше довольно круто поднимался на груди, рука соскользнула и упала. После ухода Очкина я снова и снова возобновлял свои попытки и каждая неудача огорчала меня. Зато когда я смог добраться не только до третьей, но и до четвертой станции, я стал чувствовать себя чем-то вроде атлета-чемпиона. А после овладения всеми станциями, пошли и новые тренажные игры, упражнения. Остальные пальцы на левой руке задвигались, медленно, но неуклонно оживали и пальцы правой руки.

Да, Алексей Дмитриевич знал свое дело. Но знал он откуда-то и то, что сделала Маруся, и он, талантливейший врач, понимал все значение этого. Во время одного из обходов, он, грозный властелин корпуса, Который если замечал где-нибудь пылинку, то весь Персонал начинал дрожать от страха, вдруг железной своей рукой с неожиданной лаской провел по белой головной косынке Маруси. Он хотел, чтобы я увидел, Что он знает все о ней и отдает ей должное.

Маруся, Марусенька, лебедушка белая, я никогда забуду тебя. Какие слова найти, чтобы благодарить тебя? Вот ведь не

за горами был 37-й год и все, что в нем и за ним последовало. Может быть, именно те святые чувства — жалость, милосердие, доброта, — которыми ты одарила меня тогда в изоляторе десятого корпуса Боткинской больницы, и помогли мне в страшные годы сохранить человеческое лицо…

Мы встречались после больницы, подружились, А когда началась война, ты пошла добровольцем на фронт и была убита фашистами. А я еще с 1940-го года находился в армии. Так и не знаю, где, когда, как, даже на каком фронте погибла ты.

Художник, умирая, оставляет людям свои картины, поэт — стихи, ученый свои труды, композитор — музыку, строитель — здания, мосты, дороги, машины. А ты оставила людям свою жалость, свое милосердие, свою доброту. И пока она существует, ничто не может уничтожить род людской. С этими мыслями, вытеснившими из головы все остальное, я и уснул.

…Утром на обходе была только Раиса Петровна. Тут же больничный «телеграф» принес скорбную весть. Двоюродный брат Льва Исааковича, горячо любимый им, композитор Исаак Дунаевский скоропостижно скончался и сегодня — похороны. Принесли эту весть пришедшие меня проведать капитан Владимир Федорович и боцман Степа. Я предложил послать Льву Исааковичу телеграмму с выражением соболезнования. Все мои однопалатники согласились, морячки тоже, а Степа взялся пролезть через ограду, там где густо разрослись деревья, эту телеграмму отправить. Мы составили телеграмму, и Степа, только отмахнувшись, когда я протянул ему деньги, с необыкновенной для его комплекции быстротой исчез из палаты и уже через полчаса вернулся с квитанцией.

Весь день наша палата, да и весь корпус, обсуждали смерть Дунаевского. А вечером неожиданно дверь нашей палаты отворилась и вошел Лев Исаакович, но не в белом халате, а в строгом черном костюме. С непроницаемым лицом он обошел палату, каждому из нас протянул руку и ушел.

— Да, — протянул Марк Соломонович, — Льва Исаакович — это человек. Только сердце — не шкаф. Нельзя все загонять в него — разорвется, А ведь сказано в писании: "Больше всего хранимого храни сердце свое, потому, что оно источник жизни…"

В больнице, а уж тем более в корпусе и в палате все, кто интересуется, многое обо всех знают. Я уж знал, что Мустафа — татарин из московских дворников, династии которых и доныне не перевелись т столице, как исчезли, например, татары-старьевщики бродившие по дворам и монотонно кричавшие "Старье берем, бутылки покупаем!", или китайцы — продавцы пищалок и разноцветных бумажных игрушек, или китайцы —

непревзойденные прачки.

Марк Соломонович много раз на день сам заявлял что он сапожник. В этом была и правда, и нечто от смирения, которое паче гордости. Ведь он был не просто сапожником, а классным модельером дамской обуви.

Дмитрий Антонович служил чиновником в каком-то из престижных министерств, кажется, внешнее торговли. Он отличался довольно обычной для многих министерских работников того времени серостью консервативностью, чтобы не сказать убогостью мышления, приверженностью к тому, чтобы все явное делать тайным.

Главное в Павлике находилось под тем проволочным каркасом, что соорудил над его кроватью Марк Соломонович. Ни о чем другом как-то не хотелось; узнавать. А все-таки я спросил его:

— Пашка, почему профессор сказал, что ты с ним одного поля ягода?

На это Павлик хмуро ответил:

— Сказал — значит знает. А ты не завидуй — завидовать нечего.

И я отстал от него.

Ардальон Ардальонович был старым московским адвокатом, по слухам очень богатым во время НЭПа У него были камни в печени, а операция почему-то противопоказана. Дунаевский пытался что-то сделать и так…

Наутро Лев Исаакович, хотя и более бледный, чем обычно, был на обходе. Мне он велел продезинфицировать шов, удалить катетер, разрешил садиться и поворачиваться на левый бок. Я почувствовал большое облегчение. Внимательно осмотрев Ардальона Ардальоновича, он сделал ему какие-то новые назначения, тут же записанные дежурной сестрой Любой.

Дмитрий Антонович получил тот же ответ на вопрос, который задавал каждый день.

Когда Дунаевский спросил Марка Соломоновича, есть ли у него жалобы, тот, помедлив, видимо, поколебавшись, сказал:

— Нету, нету, Льва Исаакович, но вот мы все…

Однако Дунаевский резким движением руки прервал его и перешел к Павлику. Возле его кровати он пробыл гораздо дольше, чем у всех остальных и на прощанье сказала, как и всегда:

— Так вы держитесь, Павел Васильевич!

— Да, — со значением ответил Павлик, — как вы говорите, нам иначе нельзя.

Дунаевский, слегка переменившийся в лице, погладил Павлика по груди и вышел.

— Марк Соломонович, какого черта вы не сказали профессору, что у вас снова появились боли? — спросил я.

— Ах, Гришенька, — вздохнул старый сапожник (он упорно называл меня Гришей, хотя прекрасно знал, что меня зовут Георгий, и я примирился с этим), — время врачевать и время убивать, время жить и время погребать. Только и дела теперь Льве Исааковичу, что до моих болячек. Ты вот лучше объясни мне, раз Льва Исаакович не хочет, ты ведь человек ученый, зачем Никитка с Булганиным по Индии шастают? Ведь не затем лее только, чтобы "Бхай! Бхай!" кричать? — попытался он перехватить инициативу и направить разговор на другую тему.

— Откуда мне знать? — раздраженно ответил я.

— Ну, может, потому что вот Индия недавно стала независимой. Это огромная страна, и она очень много значит в Азии, а мы на две трети — азиатская держава. Вот они и хотят наладить дружбу и всякие там связи.

— Может быть, может быть, Гриша, — почему-то вздохнул Марк Соломонович, — только мне сдается, что сначала надо в своем доме разобраться, а потом уже шататься по чужим. Как сказано в книге Иова: "Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь все это, где путь к жилищу света и где место тьмы?"

— Ваше политическое мышление, уважаемый Марк Соломонович, отличается трезвой реалистичностью и зрелостью, — вмешался в разговор Ардальон Ардальонович. — Однако, чтоб отделить свет от тьмы, надо иметь опору, а если не имеешь, создать ее. Для этого есть много разных путей. Как говорят англичане: черная курица несет белое яйцо. Только вперед лезть не советую. Вы любите ссылаться на Святое Писание. Так вот, в Книге притчей Соломоновых, если не ошибаюсь, в первой главе, сказано: "Доколе глупцы будут ненавидеть знание?" Заметьте, премудрый Соломон, сын Давида, правивший еще в X веке до нашей эры, только ставил этот вопрос, но не отвечал на него. А вопрос актуален и поныне.

Марк Соломонович вскинулся и густым басом произнес:

— В той же главе сказано: "Упорство невежд убьет их".

— Не пойму я, — с досадой сказал вдруг Дмитрий Антонович, вмешавшийся в этот богословский спор, — что это вы оба лопочете? А только чую: чтой-то не то.

— Это вам мерещится, почтеннейший, — насмешливо улыбнулся адвокат, — праздный мозг, знаете ли, — это мастерская дьявола. Так что вы не напрягайтесь.

— У, недорезанный, — с ненавистью прошипел Дмитрий Антонович, повернулся своим грузным телом, накрылся одеялом, и, как он не раз говорил мне, наверно, подумал: "Ну, попал на

малину. Жид на жиде сидит и жидом погоняет. Главный врач — жид, и в палате жид, а кто не жид, все одно под их дудку пляшет. Да, еще инородцы, как этот хурды-мурды клятый, а русские — надо еще проверить, какие они русские. Занесло меня в этот зверинец, мог сейчас в Кремлевке лежать среди своих… Надо же, уговорили: лучший уролог в стране. Сгноить их бы всех лучших, все равно толку от них не добьешься. Небось в душе хихикает, смерти моей дожидается. Да, все прахом идет с тех пор, как родной отец умер. Истинно русским людям проходу не стало. Да, крутенек был хозяин, а как с нами со всеми можно? Он, даром что грузин, а за русских горой стоял. Теперь плачутся — многовато подчищал. А кто бы иначе на Волго-Доне, на БАМе, на всех великих стройках коммунизма вкалывал? Наши знали, кого брать, а кого — нет. Вот меня лее никто не тронул… Теперь-то что делается, повылазили отовсюду всякие… Пока только шепчутся, а того гляди и до дела дойти может." При этой мысли Дмитрий Антоновича стал бить озноб, но он вернул себе самообладание привычным рассуждением: "Появится новый хозяин, обязательно появится. Да еще истинно русским будет. И все эти погрызут мерзлую пайку и кайлом помахают". С этими приятными мыслями Дмитрий Антонович, гоня привычный уже, но все равно жуткий страх, мирно уснул.

… С каждым днем я поправлялся, и вот уже наступило утро, когда с трудом после десятидневной лежки, опираясь на Галю, встал. Голова у меня кружилась, ноги подкашивались, да и Галя вся дрожала. Спотыкаясь и поддерживая друг друга, мы добрели до открытого окна. Больничный сад, уже виденный мною много раз до операции, теперь показался каким-то особенно свежим и красивым. Обратно до койки я дошел сам и сказал порозовевшей Гале:

— Спасибо, я не забуду, что с твоей помощью сделал здесь первые шаги.

— Так ведь и я с вашей помощью сделала здесь первые шаги…

У меня еще продолжал в двух местах гноиться шов, но это было не страшно. Главная радость нашей палаты заключалась в том, что явно лучше стало Павлику. Он уже не прокусывал до крови нижнюю губу, чтобы не стонать. А синие твердые бугры, образовавшиеся на ней, Мария Николаевна постепенно сводила какими-то припарками и мазями. Далее взгляд Льва Исааковича светлел, когда он смотрел на Павлика, и, видимо, стало отпускать его то напряжение, которое, как мы заметили, появлялось у него всякий раз, когда он подходил к Пашкиной кровати.

Однажды Лев Исаакович сказал:

— Ну что, Павел Васильевич, еще посидим за баранкой? — И Павлик растянул в улыбке не совсем зарубцевавшиеся губы. Когда профессор ушел, Марк Соломонович изрек торжественно:

— Еще царь Соломон призывал: "Спасай всех взятых на смерть!"

Он, надевая огромные роговые очки, стал читать Павлику вслух попеременно "Три мушкетера" Дюма и "Блуждающие звезды" Шолом Алейхема. "Тискать романы", как выражался Павлик, которого оба эти романа приводили в восторг.

Даже у Ардальона Ардальоновича менее серым стало лицо и не такими набухшими мешки под глазами. Он все чаще вступал в шуточные пререкания с Марком Соломоновичем. Мустафа во время своих молитв, а их было в сутки несколько, время от времени поглядывал на Павлика. Совершенно очевидно, что он за него благодарил Аллаха. Только Дмитрий Антонович еще больше помрачнел и замкнулся в себе. На все попытки расшевелить его, которые мы время от времени предпринимали, либо отмалчивался, либо невнятно, но зло ругался. Ругал он и свою кроткую жену — полную лсенщину с курносым носом и добрым круглым лицом. Она навещала его по два-три раза в неделю, неизменно приносила домашние, вкусно пахнувшие пирожки с мясом и другую приготовленную ею снедь. В ответ на ругань она только шумно вздыхала.

Регулярно приходила гостья и к Ардальону Ардальоновичу — молодая и очень красивая женщина с тихими зелеными глазами и каштановыми волосами, собранными сзади в большой пучок. Обычно они тут же выходили в сад. Если же Ардальону Ардальоновичу было плохо, то женщина садилась около его кровати и они о чем-то шептались. Сквозь сетку частых морщин, покрывавших его лицо, просматривались черты сходства с молодой женщиной. Возможно она была его дочерью, но он никому из нас ее не представлял. А получить от адвоката какие-нибудь сведения можно было только тогда, когда он этого сам хотел.

К Мустафе время от времени наведывались какие-то люди, всегда разные, и он неизменно выходил с ними в сад. По большей части это были его соплеменники.

Меня часто навещали друзья. Особенно дорого мне было внимание и привязанность дочери старого друга Володи Берестецкого, милой и застенчивой Тани. Когда она кончила десятый класс, отец, выдающийся физик-теоретик, перевез ее из Ленинграда в Москву в свою новую семью. Таня, попав в непривычное для нее общество интеллектуалов, растерялась и замкнулась. Может быть потому мне особенно дороги были ее

доверие и привязанность.

Павлика и Марка Соломоновича навещать, видимо, было некому.

Главное все-таки заключалось в том, что Павлику стало лучше. Общий тонус в палате поднялся, а тут еще вскоре, и я вслед за остальным, стал выходить в больничный сад. Нагноение в боку меня не слишком беспокоило. Но у Марка Соломоновича боли усилились. Я настоял на том, чтобы он пошел и сказал об этом Дунаевскому. Он вернулся очень нескоро и только отмахнулся от моих вопросов. Однако через несколько минут сам же вызвал меня в коридор и зашептал:

— Льва Исаакович сказал, что у меня в мочевом пузыре остался еще один камень. Раиса Петровна во время операции, да простит ее Господь, его не заметила.

— Ничего себе, — огорчился я, — но почему вы говорите об этом шепотом и в коридоре? И что решил делать Лев Исаакович?

Марк Соломонович посмотрел на меня, как на круглого дурака, и сердито проворчал:

— Ты думаешь, что у этого несчастного мальчишки слишком мало забот? А Лев Исаакович ничего не решил, он сказал, что решать должен я.

— Как Вы? — снова не понял я, и Марк Соломонович, метнув в меня негодующий взгляд, сказал:

— А вот так, я. Либо надо снова делать операцию, хотя от первой шов еще не совсем зажил. А еще можно всунуть туда щипцы и попробовать раздробить ими камень. Он тогда должен превратиться в песок и сам выйдет. Только будет очень больно — так он сказал. Да, а еще, куда совать щипцы, что раскалывать, ты понимаешь, Гриша? — развел руками он, — и к тому же я сам должен решать, что выбрать, как будто это я — доктор медицины. Помоги мне, Гришенька. Я старый, глупый сапожник, что я могу выбрать?

— Хорошо, попробую, — озадаченно сказал я, — только давайте вернемся в палату. Мне надоело торчать в коридоре.

В палате, делая всякий раз таинственное лицо, Марк Соломонович каждые несколько минут подходил ко мне и паровозным шепотом спрашивал: "Ну?" Как ни крепок был старый сапожник, но 75 лет — это не шутка. Вторая операция была бы делом рискованным, и на очередной вопрос я твердо ответил: «Щипцы». Марк Соломонович посмотрел на меня в замешательстве, а потом, еще больше размахивал руками, чем обычно, закричал:

— Нет, вы поглядите на него. Он дает советы, что делать с живыми людьми! Как вам это нравится? Ты, Гришка, понимаешь только в людях, которые умерли во времена Моисея и от них одни косточки остались. Конечно, их можно резать ножом, а кому охота и пилить ножовкой.

— Да я вовсе не настаиваю, — недоуменно я, — вы же сами спрашивали моего совета! А по правде говоря, я и сам не знаю.

— Он не знает! — сардонически воскликнул Марк Соломонович. — Он, видите ли, не знает! Государство истратило на его учебу столько денег, что можно было новый корпус построить, а он не знает! Он — доктор наук и не знает. Как вам это понравится? Значит я, старый сапожник, должен сам все решить! Каково?

Вся палата заинтересованно прислушивалась к нашей перепалке. Ардальон Ардальонович даже спросил, в чем дело. Но Марк Соломонович только мотнул головой.

— Ну, хорошо, — миролюбиво предложил я, — может быть, тогда — операция?

— Ты что, рехнулся? — завопил Марк Соломонович. Ты, мешигенер, ты, цудрейтер! Ты меня, как Исаака, хочешь под нож

подставить?

— Черт побери, — разозлился я, — да я вам с самого начала сказал, что щипцы, но вы же принялись на меня орать!

— Гришенька, — внезапно переходя на какой-то вкрадчивый, жалобный тон, спросил Марк Соломонович, — ты вправду так думаешь?

Когда я подтвердил, Марк Соломонович молча выскочил в сад.

— Чего старик мается? — требовательно спросил Павлик, и мне пришлось ему, да и всей палате, рассказать в чем дело.

— Клево, — одобрил мой совет Павлик и деловито добавил: — Надо бы ему стакан высосать перед тем, как Лев Исаакович к нему в его обрезанный хуй со щипцами полезет.

Однако Марк Соломонович еще почти сутки колебался, прикидывал, то беспомощно разводил руками, то пожимал плечами, а когда я попытался узнать, почему он ничего не говорит, то отделался от меня только цитатой из своего любимого царя Соломона, к которому питал особое пристрастие, может быть, потому, что тот был тезкой его отца: "При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои — разумен".

Тем временем в Москву на несколько дней по делам экспедиции приехали двое моих учеников — аспирант румын Никушор Бырля и студент болгарин Атанас Бойлекчи. В первый же день они пришли ко мне в больницу и потом проводили в ней все свободное время. Они давно спелись во время экспедиций и, когда все врачи уходили, задушевно и выразительно пели печальные и веселые румынские, болгарские, русские, украинские и другие песни. Не только наша палата, но и весь корпус ими заслушивался. Никушор, обладавший способностью мгновенно влюбляться, тут же увлекся Галей, да и она не оставалась равнодушна к его черным с поволокой глазам и мягким манерам. Он очень тактично, не мешая, стараясь помочь Гале, все свободное время торчал в отделении, а перед отъездом в экспедицию, когда Галя дежурила, ночью влез в окно запертого корпуса.

Я был очень рад приезду моих учеников и, зная, что Атанас прекрасно рисует, решил с его помощью выпустить сатирическую стенгазету под названием «Цистоскопия». Почти все больные во всех палатах приняли мое предложение с энтузиазмом, и я вскоре получил кучу заметок, фельетонов, стихов. Сам написал передовую под названием "Больше внимания местным ресурсам", которая начиналась примерно так: "Почти ежедневно профессор Дунаевский извлекает из недр трудящихся много разнообразных

камней высокой прочности. Они являются прекрасным строительным сериалом. Между тем наш корпус, которому, наверное, уже больше ста лет, изрядно обветшал и нуждается в ремонте…" Атанас нарисовал очень красиво название газеты в рамке из развернутого к читателям стержня, на одном конце которого сверкало зеркало, на другом сияла электрическая лампочка, а также сделал много смешных карикатур и рисунков.

В разгар работы над газетой меня вызвала в ординаторскую Раиса Петровна и строго спросила:

— Вы действительно затеяли выпускать какую-то стенгазету!

Я подтвердил.

— Как секретарь партбюро больницы, я запрещаю вам это делать.

— Вы очень хороший врач, Раиса Петровна, но вот секретарь партбюро вы неважный.

— Почему? — опешила она.

— Да потому, что вы нашей Конституции не знаете. У нас свобода печати, тем более стенной. А не верите, что это — орган больных — пройдите по палатам, порасспросите.

Обескураженная Раиса Петровна замолчала. Однако через минуту, совсем другим тоном, сказала:

— Вы меня там высмеивать не будете, Георгий Борисович? Помните, как я вам делала цистоскопию и вообще.

— Раечка, — ответил я демагогически, — то вы, как партийный секретарь, попытались меня запугать, то хотите оказать моральное давление на свободную прессу. Не знаю, не знаю. Редколлегия рассмотрит ваше заявление, — и, видя, как она помрачнела, добавил: — Впрочем, обещаю замолвить за вас словечко.

Газета получилась, что надо. Мы с торжеством вывесили ее в небольшом вестибюле у входа в корпус. Все ходячие больные, весь свободный персонал корпуса собрались там и читали стенгазету. Так как протолкаться к ней было трудно, то близстоящие по очереди стали громко читать вслух все, что там написано. Когда во время обеда вестибюль опустел, в него крадучись вошла Раиса Петровна, явно с кровожадными намерениями, хотя я и сдержал свое обещание по отношению к ней.

— Как вам не стыдно, Раиса Петровна, — пресек я злокозненные ее планы. Она покраснела и удалилась, но я понимал, что дальнейшие покушения на гарантированную сталинской Конституцией свободу печати весьма вероятны. Я попросил Владимира Федоровича вместе со Степой, в очередь со мной, подежурить у газеты, пока не уйдут врачи, что они и

сделали с флотской тщательностью. Газета продолжала пользоваться большим успехом. Посмотреть ее приходили и из других корпусов. Однако через несколько дней во время обхода Лев Исаакович спросил:

— Это вы редактор? — а когда я подтвердил, попросил: — Подарите мне, пожалуйста, эту газету. Она хороша, а кроме того, за мою практику это первый такой случай.

Отказать было невозможно. Я сам свернул газету в рулончик, перевязал его и передал Дунаевскому…

Мои ученики вернулись в экспедицию и стало как-то тоскливо. А ведь до их отъезда радостное возбуждение от того, что я уже хожу не могло омрачить даже то, что вокруг были тяжело больные люди, причем далеко мне не безразличные…

Как раз когда Лев Исаакович снова улетел куда-то на три дня, к нам поступил новый больной, пенсионер, Кузьма Иванович. Места в палатах не было и его положили в нашем же и без того тесном коридоре. У него была гипертрофия предстательной железы, мочевой пузырь оказался напрочь закупоренным, и это причиняло ему все возрастающие боли. Он, однако, лежал в коридоре на, так сказать, ничейной территории и никому из наших и без того замотанных врачей не хотелось им заниматься, хоть мы не раз об этом просили. Весь вечер и ночь он стонал, а наутро встал, надел шлепанцы и как был, в кальсонах и серой больничной рубахе, шел из корпуса.

— Вы куда, Кузьма Иванович? — спросил я.

— Сил моих больше нет, — горестно ответил он. — Залезу на крышу и кинусь вниз. Уж лучше помереть, чем терпеть такие мучения.

Я тут же сказал об этом Раисе Петровне, и она, бросив все, вместе со мною выскочила из корпуса.

Кузьма Иванович медленно поднимался по железной пожарной лестнице, которая находилась у торцовой стены.

— Вы что, с ума сошли? — закричала Раиса Петровна, — спускайтесь. Мы все сделаем как надо.

Однако Кузьма Иванович продолжал упорно, хотя и очень медленно, лезть наверх. Один шлепанец с него свалился, и желтая пятка с потрескавшейся кожей сверкала в лучах утреннего солнца. В отчаянии Раиса Петровна полезла за ним, перемежая клятвенные обещания помочь с призывами к его сознательности. Но Кузьма Иванович только молча лягал ее босой ногой. Однако силы его, видимо, были уже на исходе, и он в конце концов сам стал спускаться вниз, но свалился и был подхвачен вышедшим на шум Владимиром Федоровичем и еще какими-то больными. Обратно в корпус его пришлось уже нести на носилках, да и Раиса

Петровна была не намного лучше. Демьян Прокофьевич, мрачно посапывая и не обращая внимания на вскрики Кузьмы Петровича, опустошил ему с помощью специального катетера мочевой пузырь и велел готовить его к операции. Кузьма Иванович вскоре блаженно заснул.

Но вот вернулся Дунаевский и в тот же день пригласил Марка Соломоновича в операционную. Мы ждали его возвращения с нетерпением. Часа через полтора Мария Николаевна вкатила в палату каталку с бледным Марком Соломоновичем. Он, однако, неожиданно тяжело соскочил с каталки, подбежал ко мне, хлопнул по плечу, закричал:

— Все как надо, Гриша! — и упал без сознания.

Марии Николаевне пришлось позвать на помощь, чтобы водрузить его на постель. А затем она быстро привела его в чувство. Целый день Марк Соломонович был радостно возбужден, сыпал цитатами из своего любимого царя Соломона, а к вечеру неожиданно настроение его совершенно испортилось.

— Гриша, — сказал он мне, — а вдруг Лева Исаакович меня обманул, просто пожалел старика?

— Да бог с вами! Что вы такое несете, — искренне возмутился я, — с какой стати ему вас обманывать?

— Ты ученый человек, Гриша, — вздохнул Марк Соломонович, но ты плохо разбираешься в людях. Тебе кажется, что все хорошо. Ты забываешь, что и при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль.

Мои попытки успокоить его ни к чему не привели. Всю ночь он вздыхал и ворочался, а наутро снова стал приставать ко мне со своими сомнениями и требовал, чтобы я что-нибудь придумал для проверки, правду ли ему сказал Лев Исаакович. Он совершенно задурил мне голову и я, в конце концов, решительно сказал:

— Попробую что-нибудь придумать, но только не приставайте ко мне, а то ничего не выйдет. И посмотрев на часы, добавил: — Если в течении часа вы скажете мне хоть одно слово, я вообще не буду ничего придумывать.

Марк Соломонович бросил на меня негодующий взгляд, но, устрашенный, промолчал. В течение этого часа он несколько раз подходил ко мне, патетически воздевал руки, но я никак не реагировал на его пируэты. Ровно через я сказал:

— Попросите у Раисы Петровны стеклянную банку, кусок марли и бинт. Накройте банку сверху марлей, немного продавите ее в центре и обвяжите бинтом. Потом пописайте в банку. Если камень раздроблен и превратился в песок, то на марле этот песок осядет и вы его увидите. Понятно?

— Ты не смеешься надо мной? — усомнился Марк Соломонович, но тут же спохватился: — Э, да ты министерская голова! Спасибо, Гришенька!

Он раздобыл банку, марлю, бинт и, подойдя к окну, приступил к предложенному мной эксперименту. Вся палата с напряженным вниманием следила за ним и ждала результата. Марк Соломонович, опроставшись, посмотрел на марлю, поднес банку чуть не к самому носу, потом взял со своей тумбочки очки, надел их, снова внимательно посмотрел и вдруг, завопив:

— Есть песок, Гриша! Ты молодец! Недаром тебя учили! — шваркнул банку об пол.

— Ребенок и старик находятся одинаково близко от небытия. Правда только с разных сторон, — улыбнулся Ардальон Ардальонович.

— Это вы о ком? — всполошился Дмитрий Антонович.

— Да о себе, конечно.

После завершения эксперимента мы вышли погулять и как-то получилось, что я оказался в саду в паре с Ардальоном Ардальоновичем. С улыбкой, едва тронувшей его тонкие губы, адвокат сказал:

— Этот Тильман, каков старик! Какая сила жизни! Про него хочется сказать, то же, что железный канцлер, граф Бисмарк, сказал про Дизраели, в то время уже лорда Биконсфильда, премьер-министра Англии:

"Der alte Jude, das ist der Mann."

— Да, да, помню: "Старый еврей — вот это человек". А разве вам не хочется сказать то же про Дунаевского?

— Нет, — отрезал Ардальон Ардальонович, — не хочется. Профессор настолько поглощен своей работой, что она вытеснила у него все остальное, в том числе и национальные черты. Он хирург-уролог, и в этом качестве он и есть человек. Так же, например, физики-теоретики — прежде всего братья по профессии, а потом уже по крови.

— Вы, я вижу, лишены антисемитизма. Не такая уж частая черта у современных москвичей.

Ардальон Ардальонович побледнел от гнева и сказал с едва сдерживаемой яростью:

— Ваши коллеги долго пытались лишить нас исторической памяти. А теперь многие из тех, кто громче всех кричит о ее необходимости, пытаются представить нас потомками охотнорядских мясников, черносотенцев доктора Дубровина или "Союза Михаила Архангела". Они подменяют историческую память напыщенным самолюбованием, глумлением и ненавистью ко всем инородцам. А в мое время российские интеллигенты, хоть

порой и рассказывали еврейские анекдоты, но антисемитам руки не подавали. Знаете ли, одной из главных причин поражения белых армий во время гражданской войны был широко распространившийся в них антисемитизм. Осмысливая крах белого движения так, и писали наиболее проницательные его участники, например, Вадим Белов. Он утверждал, что антисемитизм показатель последнего этапа разложившейся идеи осознания недостижимости поставленных целей. Интеллигенция же никогда злобным и бездарным фальшивкам вроде "Протоколов сионистских мудрецов" не зачитывалась. Мы предпочитали блистательные мистификации Мериме и Чаттертона, Рудольфа Распе и Чарльза Бертрама. А то мерзкое наследие, которое от невежественного немецкого ефрейтора, не знающего уроков истории, подхватил недоучившийся грузинский семинарист, было вообще чуждо интеллигенции, всем ее слоям и, прежде всего, либералам. Тем самым либералам, которых обвиняли во всех смертных грехах, чернили и поносили правительства и революционеры всех мастей.

— Монархистам-либералам тоже чуждо?

— Конечно, — устало ответил Ардальон Ардальонович, — например, мне.

— Первый раз в жизни вижу живого монархиста, — удивился я.

— Видите не в первый раз, — поправил адвокат, — первый раз слышите. Первый, но не последний.

— Неужели вы преданы идее монархизма?

— Просто я уверен, что единство страны должно быть персонифицировано человеком, стоящим вне политики и партий, и имеющим право миловать, исходя только из совести.

— Вы что же считаете вполне серьезно, что в нашей стране возможна реставрация монархии?

— Наоборот, думаю, что к несчастью это маловероятно. — Он устало опустился на скамейку и продолжал: — А вот само понятие «преданность» я не признаю. Оно одного корня с предательством. Слово «преданный» в русском языке имеет три значения: отданный (огню, разрушению и т. п.), «верный» (кому-либо) и тот, кого предали, обманули. Все три обозначают различные формы зависимости. Предательство — тоже форма зависимости, хотя и извращенная. Тот, кто сегодня заверяет в своей преданности, завтра предает. И все это чуждо интеллигенции, к которой, смею надеяться, я принадлежу.

— Я читал много определений этого понятия в умных словарях и справочниках, но все они кажутся ущербными. Все сводится к занятию умственным трудом.

— Сам термин «интеллигенция» появился именно у нас в России. Его употребил впервые в шестидесятых годах прошлого века писатель Боборыкин.

— Так что же по-вашему это понятие обозначает?

— Интеллигенция — это социальный слой, создающий духовные ценности и, соответственно, имеющий высокие нравственные критерии чести, правды и добра. Духовные ценности могут иметь не только материальное воплощение: — быть произведениями науки, литературы и искусства, но и оставаться чисто духовными.

— Как это? — не понял я.

— Это создание круга общения, установление взаимосвязей и взаимопонимания между людьми, образование атмосферы правдивости, демократичности, доброжелательства, неприятия всякого рода зла и насилия. И не надо смешивать это со степенью образованности. Вот, например, наш старый сапожник, как он сам себя называет, типичный российский интеллигент.

— Мне тоже кажется, что настоящая сила России прежде всего в ее открытости, в умении принимать и вбирать в себя все достойное, вне зависимости от этнических и других истоков. Долгие годы сидя в своей скорлупе, мы просто забыли об этом, у нас появилась какая-то рабская психология страха и недоверия.

Ардальон Ардальонович довольно долго молчал, видимо, колеблясь, но потом начал говорить с совершенно необычной для него горячностью:

— Диктатура пролетариата — вот тот строй, который у нас прокламирован. А ведь это ваш революционер Михаил Александрович Бакунин, хотя Маркс его и не жаловал, но он из ваших, так вот он писал, что "никакая диктатура не может иметь другой цели, крове увековечивания самой себя, и она способна породить в народе, сносящем ее, только рабство". Так и получилось. Да, режим, который держится на насилии, лжи, демагогии, на моральной нечистоплотности и коварстве правителей, духовной разобщенности и раболепии людей, неизбежно заводит людей в трясину. Я, знаете ли, до революции успел стать присяжным поверенным, а ваш Ленин…

— Ну, хватит, хватит, — довольно неприязненно прервал я. Однако Ардальон Ардальонович продолжал с той же горячностью:

— Вы многого не знаете, вы более чем на двадцать лет моложе меня. Но кое-что и вы должны помнить. Да разве и сейчас не так, что за высшую доблесть почитается, когда сын доносит на отца, фактически становится его палачом, то есть совершает самый страшный грех, единственный из всех, который нельзя

искупить никаким покаянием. А потом, — продолжал он, кривясь от отвращения, — вы же москвич. Разве вы не помните ревущие толпы перед Дворянским собранием, которое переименовали в Дом союзов, толпы, которые требовали расстрела липовых изменников родины на мерзких процессах января тридцать седьмого и марта тридцать восьмого годов? Я с содроганием вспоминаю газету с подобными же требования ми и с напечатанным в ней на первой странице стихотворением вашего лирического поэта Виктора Гусева, автора известной и повсюду исполнявшейся сладенькой песни "Полюшко поле…". На этот раз лирик напечатал кровожадное стихотворение «Родине», которое начиналось так:

"Слушай, моя Родина, пришедшая к счастью,
Слушай, народов великая мать:
Тебя эта сволочь хотела на части
Разрезать и по частям распродать."

А ведь суд-то еще шел. По закону и совести до приговора все они еще считались невиновными. Но до совести и закона ли было? Не нужно было быть опытным юристом, как я, чтобы видеть, что Вышинский — не прокурор, а гадина и мясник, что во всех иступленных самобичеваниях обвиняемых полно нелепостей, гнусного вымысла, навязанного им палачами. Единодушное, безоговорочное признание во всех их вымышленных и неправдоподобных преступлениях %u2022уже само по себе — явление ненормальное. Один из подсудимых — Ягода, бывший нарком внутренних дел, сам до ареста палачествовал, а судьи, прокурор, защитники на процессе были палачами действующими. После этих процессов кончилась эра, когда правители России были, пусть мне лично не импонирующими, но все же политическими деятелями, хотя и со своеобразной моралью: морально и нравственно то, что полезно для революции, отметавшей моральный кодекс, выработанный человечеством путем проб и ошибок за тысячелетия его существования. На смену им пришли абсолютно аполитичные, глубоко безнравственные сатрапы, готовые без рассуждения и со всем рвением выполнять команды своего кровавого хозяина. Поэтому так легко и прошли все гнусные кампании арестов и проклятий, вроде истребления «космополитов», восхваления русских «приоритетов» в чем ни попадя; такая чудовищная по подлости и цинизму провокация с "убийцами в белых халатах". Э, да что там, — повел головой Ардальон Ардальонович, — а вы знаете, что профессор Дунаевский тоже из них?

— Из кого? — не понял я.

— Ну, из этих, так называемых врачей-отравителей. Он был арестован и сидел на Лубянке. Чудом выжил.

— Знаю, знаю. Но я думаю, какое чудо, что вам самому удалось выжить.

— Совершенно справедливо изволили заметить, — язвительно ответил Ардальон Ардальонович, — я, знаете ли, не выступал на митингах, но как русский дворянин не считал возможным и скрывать свои политические взгляды. За это вскоре после гражданской войны и был отправлен в СЛОН, где просидел пять лет без малого.

— Что это, СЛОН?

— Соловецкий лагерь особого назначения. Превратить монастырь в тюрьму было одним из первых деяний новой власти. Цари ограничивались там небольшой темницей, так же, как и в Суздальском монастыре и многих других, например, Борисоглебском монастыре в Торжке.

— Значит, вы разбираетесь в словечках, которые употребляет Павлик?

— В СЛОНе разговаривали не на блатном жаргоне, а на русском литературном языке — все заключенные и даже, представьте себе, некоторые из тюремщиков.

— А что было потом? — не отставал я. Ардальон Ардальонович нахмурился, процедил:

— Вы задаете слишком много вопросов, — но все же ответил: — Я не сторонник насилия, а новой власти нужны были опытные юристы. Вот я и стал адвокатом, членом коллегии защитников, как это тогда стали называть. Я был из тех, — тут худое, нервное его лицо задергалось, — кто прикрывал этот шабаш флером законности, и это мой тяжкий грех. Ну, а в войну воевал, потом вернулся в адвокатуру — ничего больше не умею. Ну, хватит.

Я и сам понимал, что хватит, но никак не мог остановиться. Решил продолжать разговор, хотя бы и сменив тему.

— Не могу понять Мустафу. Он все время молчит, но, кажется мне он не просто дворник. А вы как думаете?

— Вы не слишком наблюдательны, — насмешливо ответил Ардальон Ардальонович, — может быть, наш общий друг Марк Соломонович прав и ваша исследовательская наблюдательность распространяется лишь на людей не моложе тысячелетнего возраста.

После этого он закурил и лицо его стало каким-то отчужденным. Мы молча прогуляли некоторое время по саду и вернулись как раз вовремя, или наоборот, это как посмотреть.

Галя, бренча, вкатила свой столик и принялась делать нам уколы. Я приготовился к очередной муке. Но, о чудо, укол был сделан совершенно безболезненно и мне, и другим. Мы все очень обрадовались, а Марк Соломонович даже поцеловал Галю и торжественно возгласил:

— В писании недаром сказано, что любовь покрывает все грехи. Спасибо тебе, девочка, и Марии Николаевне передай спасибо.

Галя счастливо улыбнулась и молча выкатила свой столик, переставший быть орудием пытки.

Вечером я пригласил Мустафу погулять по саду и там спросил:

— Могу ли я чем-нибудь помочь тебе? Он поколебался, но все же сказал:

— Может быть, и сможешь. Я действительно татарин, но я не дворник и не из Москвы. Я из Крыма, вернее теперь из Казахстана, и здесь по чужим доку ментам. Нас всех, крымских татар, в мае 1944 года в телячьих вагонах как изменников Родины насильно вывезли в Сибирь, Казахстан и Узбекистан. УСЛОВИЯ были такие, что в течение года вымерла чуть ли не половина из нас. Не знаю, как я сам выжил. Ведь у меня еще свежи были раны, полученные в боях с фашистами в партизанском отряде. И теперь нас продолжают преследовать, как диких зверей, издеваться над нами. Но свет не без добрых людей. У меня было очень плохо с почками, нужен был лучший врач-уролог, и вот Лев Исаакович спас меня.

Пораженный, я молчал, а Мустафа, помедлив, спросил:

— А может, и правда мы все изменники, фашистские прихвостни? Может, и правда, нужно было убрать нас из Крыма на голод, муки и вымирание?

— Брось! В любом народе большинство составляют женщины, дети и старики. Они же ничего не предавали. Да и из молодых и зрелых мужчин разве все или большинство предавало? Вот ты, например, был партизаном. Эта высылка — бандитизм. Знаешь, мой друг, и наш экспедиционный шофер, Шамаш — он караим, родом из Феодосии, он рассказал мне, как все было. Запиши мой адрес и телефон, может, я чем-нибудь и смогу помочь…

Мустафа утвердительно кивнул. Вернувшись в палату, мы застали ставшую уже бытовой сцену: Марк Соломонович ругался с Павликом.

— Пашка, — кричал он, размахивая своими огромными ручищами, — ты должен понимать, еще царь Соломон говорил: при недостатке попечения падает народ, а при многих советниках — благоденствует.

— Иди ты со своим Соломоном, знаешь куда! — беззлобно отругивался Павлик. Я не успел поинтересоваться, о чем спор, как в палату вошел какой-то незнакомый врач, видимо, дежурный, и с ефрейторской строгостью приказал:

— Всем ложиться, свет потушить! — Не доверяя нам, он не поленился самолично повернуть выключатель. Но спать-то как раз и не хотелось. Выждав, чтобы дать время дежурному врачу произвести свой начальнический досмотр и удалиться, я предложил Ардальону Ардальоновичу вылезти в окно покурить, тем более, что его койка, как и кровать Павлика, стояла у окна. Осторожно вылез первым, а потом помог и ему. Мы устроились на скамейке, полускрытой кустами сирени, и задымили. Большинство окон во всех корпусах больницы были уже темными. Свежо и сладко пах липовый цвет. Я не удержался и спросил:

— А как же Вас-то не арестовали снова во время всех этих кровавых боен?

— Если я Вам скажу, что их удержала моя убежденность в том, что насилие недопустимо, то Вы мне все равно не поверите. Просто я им не подошел по размеру.

— Это как? — не понял я.

— Видите ли, — назидательно сказал Ардальон Ардальонович, — у них на все существует номенклатура, особенно при таких масштабах. В том числе и на категории арестуемых. Я сделал так, чтобы не попасть ни в одну из них. Мне, видите ли, хватило и пяти лет. Кроме того, я помнил слова Монтеня, написанные им добрых 400 лет назад в его знаменитых «Опытах»: "Я, разумеется, хотел бы обладать более совершенным знанием вещей, чем обладаю, но я знаю, как дорого обходится знание, и не хочу покупать его такой ценой. Я хочу провести остаток своей жизни спокойно…" Вот я и не высовывался. Впрочем, для них и сейчас не поздно. Правда, болезнь моя неизлечима. Жизнь во мне поддерживает, думаю что ненадолго, искусство Дунаевского. А, вообще-то, невелика разница теперь — умереть в городской больнице или в тюремной.

После довольно долгого молчания я сказал:

— Какое поразительное стечение обстоятельств. В нашей палате один больной — бывший заключенный, другой — ссыльный, и лечит нас бывший зэк.

— Думаю, — сдержанно ответил Ардальон Ардальонович, — что это не случайность, а знамение времени, предвестник очистительной бури, без которой страна задохнется. Старый сапожник, например, в котором больше ума и проницательности, чем в десятке дипломированных ослов, не примите это на свой счет, остро это чувствует. Я-то, наверное, не дотяну, а вот вы,

когда она разразится, порадуйтесь и за меня.

Когда я с великой осторожностью подсадил Ардальона Ардальоновича в окно и сам влез в палату, мне впервые за все время пребывания в больнице показалось, что здесь есть чем дышать…

Утром, встав под какие-то отдаленные крики с очень хорошим настроением, я по дороге в умывальник увидел, что кровать с Кузьмой Ивановичем уже не стоит в коридоре, и еще больше обрадовался. На обратном пути решил выяснить, куда же его поместили, и стал открывать подряд все двери. С удовольствием увидел Кузьму Ивановича, возлежавшего на койке в центре одной из палат. Тут вдруг что-то оборвалось во мне. Я сообразил, что раньше на этой койке лежал раввин. Бедный старик. Я пошел к моргу, но уже на порядочном расстоянии от него увидел большую толпу и услышал стоны и причитания, увидел знакомые лица посетителей раввина.

Я вернулся в корпус, встретил в коридоре капитана, который оказывается все знал, и вошел вместе с ним к нам в палату. Все, кроме Павлика, конечно, уже встали, и Дмитрий Антонович, почему-то обвязанный вокруг живота полотенцем, направлялся в умывальню.

Я рассказал о том, что старик-раввин умер. Смерть в больнице воспринимается иначе, чем на войне. Все, подавленные, молчали. Вдруг Дмитрий Антонович сказал:

— Делов-то! Поп жидовский дуба врезал. Теперь ихнего профессора не жди, он над ним весь день кудахтать будет. Все их племя друг за дружку держится.

— Ах ты, гад! — неожиданно тонким голосом вскрикнул Павлик, — да он всех людей спасает, лечит, даже такую суку позорную, как ты. Да он, может, в той же камере сидел, что и я напередки его. Это такие, как ты, падлы, нас туда запихали. Падло ты, падло, — вскрикнул Павлик и резко вскинулся. Через всю комнату просвистел нож и глубоко вошел в дверь сантиметрах в десяти левее груди Дмитрия Антоновича. Тот охнул и с неожиданной для такого грузного человека скоростью выскочил из палаты.

— Дай перо, кэп! — хрипло попросил Павлик Владимира Федоровича, — в другой раз не промажу.

Капитан взялся за наборную в несколько разноцветных пластмассовых колец ручку, с видимым усилием выдернул лезвие и понес нож к постели Павлика, но тот вдруг запрокинул голову, застонал, впервые за все время пребывания в больнице. Руки его беспомощно и бесцельно задвигались по груди, из прокушенной губы потекла кровь, глаза закатились и светлые ресницы страшно

оттеняли закатившиеся синеющие белки.

Капитан, положив нож в карман, вышел из палаты, и через несколько минут к нам вбежала Раиса Петровна. Она взяла руку Павлика, подержала, потом откинула одеяло с проволочного каркаса, охнула, тут же снова накинула одеяло и бессильно опустилась на стул.

— Что с ним? — спросил я.

Раиса Петровна с трудом шевелила губами:

— Болевой шок и коммуникации порваны. Позовите сестру.

Мы вернулись с Галей, которая тут же принесла капельницу со стояком. Раиса Петровна ввела в вену Павлика иглу от капельницы. Они с Галей принялись что-то делать вокруг Павлика, время от времени массируя ему грудь, подымая безжизненные руки, но одеяла с каркаса больше не поднимали.

"Как он мог с такой силой швырнуть нож?" — невольно подумал я и спросил Раису Петровну:

— А где профессор?

Она каким-то извиняющимся тоном ответила:

— С утра оперирует, и Мария с ним. Сейчас у него как раз тяжелая полостная операция.

Они возились с Павликом долго. За это время пришла тетя Клава, ворча забрала веши Дмитрия Антоновича и куда-то унесла их. Потом вернулась и перестелила постель. Через некоторое время они со Степой ввезли в палату каталку с Кузьмой Ивановичем, осторожно положили его на свежезастланную постель, приладили сбоку бутылку с катетером.

Кузьма Иванович сказал, как-то вымученно улыбаясь:

— Ну как, принимаете в свою компанию? Вот Дмитрий Антонович просил поменяться, — оглядевшись испуганно, вздохнул и замолчал.' Он был робок, этот старый бобыль, вагоновожатый. А я невольно подумал: "В том, что Дмитрий Антонович попал на койку бывшего раввина, есть не то кощунство, не то перст божий…"

…Через некоторое время послышалось хриплое со свистом дыхание Павлика, но его глаза оставались закатившимися. Раиса Петровна оттерла пот с его лица, а потом и со своего и, ни к кому не обращаясь, сказала:

— Кажется, из шока удалось вывести.

Мы молчали. Она вышла, оставив возле Павлика бледную Галю, которая изо всех сил сдерживала слезы.

Прошел еще томительный час, а может быть и больше, в палату стремительно вошел Лев Исаакович в сопровождении Марии Николаевны. Лицо его было еще полузакрыто марлевой повязкой, на белом халате виднелись свежие пятна крови.

"Точь-в-точь "убийца в белом халате" с недавних карикатур", — с каким-то ужасом и насмешкой подумал я. Лев Исаакович сбросил все одеяло с Павлика. Быстро своими сильными пальцами отцепил с одной стороны проволоки каркаса и отогнул их. Я взглянул на тело Павлика и едва не потерял сознание и больше уже не смог посмотреть даже в его сторону.

Лев Исаакович что-то там делал, время от времени негромко разговаривая с Марией Николаевной. Потом он сказал:

— Позвоните мне домой, скажите, что я задержусь. Случай очень тяжелый.

— Слушаюсь, товарищ полковник медицинской сужбы, — ответила Мария Николаевна и вышла из палаты. Так к Дунаевскому еще никогда не обращались. Я удивился, но и обрадовался. Очень тяжелый случай, это, конечно, серьезно, но ведь это еще не конец, значит есть надежда.

Наступил вечер. Ярко горела лампочка под потолком и другая на треножнике, принесенном Марией Николаевной и поставленном возле кровати Павлика. Наступила ночь, но всем нам было не до сна. Вдруг я услышал голос Павлика: "Чего вы там колдуете, профессор?" — И сдержанный ответ Дунаевского: "Держись, солдат, держись". Он тоже впервые так обратился к Павлику, и я снова не понял, что за этими воинскими обращениями стоит.

Только в два часа ночи Лев Исаакович, сказав Марии Николаевне: "Еще морфий и пост на всю ночь", вышел из палаты, и скоро мы услышали затихающий шум мотора его «Победы». Мария Николаевна сама осталась у постели Павлика, то считала его пульс, то еще что-то делала, ей помогал Марк Соломонович с запавшими, потухшими глазами.

Я уснул только под утро, а когда проснулся, то с радостью увидел, что каркас и одеяло на кровати Павлика находятся на привычном месте, а сам он, хотя и еще побледневший, дышит спокойно и осматривается, как будто впервые попал в нашу палату. Возле кровати на стуле дремал Марк Соломонович, прислонив к стене свою большую голову.

В палату вошла как всегда статная, свежая, словно сразу после купания Мария Николаевна, сказала строго и ласково:

— Сначала градусники, а потом идите умываться, гвардейцы, — и подошла к кровати Павлика. Никто из нас в то утро не гулял по саду. Около часа дня пришел Дунаевский, как и обычно сдержанно поздоровался со всеми, обошел каждого, довольно долго пробыл у постели Павлика и, дав указание сопровождавшей его Раисе Петровне и дежурной сестре Любе, вышел. Я пошел следом за ним и в коридоре негромко спросил:

— Как с Павликом? Он сухо ответил:

— Я делаю все, что могу, — и ушел в другую палату.

Угнетенный я вернулся к себе и услышал, как Павлик слабо, но зло кричит на Марка Соломоновича:

— Иди спать, старый хер, чего ты тут суетишься?

— Иду, иду, — примирительно ответил Марк Соломонович и, дойдя до своей кровати, прямо рухнул на нее.

В палату вошел Степа, почему-то в белом халате, едва сходившемся на его могучей груди, с пакетом апельсинов. Он уселся на табуретку возле кровати Павлика, положил апельсины на тумбочку, правую ногу на левую и заявил:

— Ты интересуешься, Пашка, как я на человеке ездил?

— Врешь ты все, боцман, травишь капусту, — улыбаясь, ответил Павлик, который обожал всяческие истории и чем невероятнее они были, тем лучше. Степа поэтому, не ответив на его выпад, потянулся и стал рассказывать.

— Когда в октябре сорок первого эти румынские недотепы из четвертой королевской армии вошли-таки в Одессу, я с кем надо подался в катакомбы, а было мне тогда пятнадцать лет. Нас было много, и мы этих фашистских вояк учили одесской грамоте, даже автомобиль с ихним павлином-генералом взорвали, «Хорьх», такая черная колымага с желтыми фарами. А эти недоноски, что ни делали, даже газом травили, нас из катакомб выкурить не могли, а сами вглубь соваться стеснялись. Потом гитлеровцев на подмогу позвали. Те, конечно, посерьезнее, но мы с Молдаванки и не таких били. И когда вышли, наконец, весной, словно всего-то и перезимовали. Только я за эти три года мужиком стал.

— Стало быть и бабы у вас там в катакомбах были? — поинтересовался Кузьма Иванович.

— У вас, папаша, я вижу только передний интерес, — отбрил его Степа и тут же, правда, весьма туманно, объяснил: — В Одессе все было и есть для тех, кто не как верблюд своего же горба не видит, не о том я. Классик допустил перелет, когда написал — в Греции все есть. Это в Одессе все есть. Есть и греки, и даже Греческая площадь. Тут, значит, пошел я в пехотный полк, аж до самого Берлина прогулялся, а потом и к чехам занесло. А там и капитуляция. Кто выжил, тот жил как король, да и вино из королевских подвалов дегустировал на Балатоне, у мадьяров то есть. Только вот с дисциплиной этой никак у меня роман не получался. В катакомбах она совсем другая была. И воевал я, как на качелях качался, то орден навесят, то в чине понизят, то старшим лейтенантом, то рядовым, хорошо еще не в штрафной. Но все же войну кончил лейтенантом. А потом полегче стало, только за Одессу скучаю. И вдруг в августе приказ — грузиться в

эшелон. Что такое? Не говорят. Мы через всю Россию ехали. В теплушках золоченые кресла стояли, ящики с заморскими винами. На станциях народ "Ура!" кричит, "герои!", подносит кто что. Уже в пути узнали: треба японцам кое-что объяснить. Война, какая никакая. Выгрузились, пошли походной колонной по Маньчжурии. Это же видеть надо: после европейских дворцов и шоссе — пыльные дороги, нищие фанзы с голодными китайцами, мы сами им лендлизовскую тушенку скармливали.

— Это что за тушенка? — спросил Павлик.

— Американцы закон такой во время войны приняли, лендлиз называется. Это чтобы нам в долг продукты, шмотье, оружие посылать, — важно пояснил Степа. — Так вот, идем и идем, а японцев не заметно. Ихняя Квантуанская армия не хочет свидания с нами, только пятки сверкают, да еще, суки, сожженные деревни после себя оставляют. Вот так идем и идем. Ни мира, ни войны. Тоска. Так дошли до города Мукдена. Большой город, где улицы погрязнее, дома поплоше — для китайцев, где почище и получше — для японцев и европейцев. Поместили наш батальон в шикарном отеле. До «Лондонской» ему далеко, до нашей одесской, но хаза ничего, смотрится. Все спать завалились, моя рота тоже. А мне душу отвести надо, да не с кем. Поговорили с хозяином, выпили мы с ним ихней дрянной рисовой водки, саке называется. Да что с него толку — только знает дрожит, как бы у него гостиницу не отобрали. Поблагодарил я его за утешение, плюнул, вышел на улицу, не знаю к кому прибиться, а день теплый, солнечный.

Тут толпа идет, вроде нашей демонстрации, только несут не знамена, не портреты с усатым, а желтые флажки, чудища всякие, разноцветные бумажные фонарики, хотя и день был. Праздник что ли у них какой, как раз ко времени. Я обрадовался. Все-таки народ гуляет. Затесался к ним. И они обрадовались. Нахлобучили мне на голову какой-то не то колпак, не то корону, посадили на носилки. Несут. Они свои песни поют. А я ворот гимнастерки расстегнул и нашу одесскую, знаешь: "Как на Дерибасовской, угол Ришельевской, в восемь часов вечера разнеслася весть"? — Не знаю, — с интересом отозвался Павлик, — а о чем там?

— Э, да что с тебя взять, белый медведь, — махнул рукой Степа и продолжал: — Несли они меня, несли, а потом мне надоело. Спрыгнул, отстал от них, огляделся. Боже ж ты мой, вот история! Куда попал — сам не знаю. По-китайски и по-японски — ни слова. Знаю только название гостиницы, и то потому, что английское, ну той гостиницы, где мой батальон стоит. Пошел куда глаза глядят. На углу рикши стоят. Колясочки у них легкие, лакированные, спицы разноцветные. Подошел к одному, сказал

название отеля. Он улыбается, кивает головой, показывает: садись, мол! — стаер зачуханный.

Еду, еду, потом кричу: "Стой!". Он не понимает, бежит. Еле-еле втолковал ему, а то все бежал. Наконец, остановился. Я слез и говорю ему: "Эй ты, рысак! Разве так возят? Садись, я тебе покажу, как надо возить с ветерком!" Не понимает. Я думаю: так до вечера без толку кричать. Взял его за шиворот, тащу на сидение, а он упирается. Но когда я за кобуру взялся — он-таки сел. Сидит на подушке, дрожит, сам не свой, чего-то бормочет. Я впрягся, и — бегом. Бегу, бегу, куда — сам не знаю, только ордена и медали на груди позвякивают. Вдруг выскочил на широкую улицы, а там полно народа. Рикши, извозчики, автомобили, — словом, весь транспорт, увидев нас, остановился. Шум, крики, как у нас на привозе. Это мне потом объяснили, что к чему. Рикша у них считается чуть ли не самое последнее занятие. А тут офицер, победитель, европеец, при всех регалиях, какого-то нищего китайца в коляске везет. Короче говоря, сцапал меня комендантский патруль. Вкатил мне комендант пять суток губы и строевую подготовку: пошагать значит во дворе комендатуры. Вот зачем, выходит, меня десять тысяч верст везли! А отсидел — того хуже. На улице китайцы подходят, пальцами дотрагиваются, а кто к гимнастерке лоб прижимает. В какую лавку ни зайдешь, хозяин все перед тобой выкладывает и денег не берет. Это они меня к каким-то своим святым причислили. Поначалу мне даже нравилось, а потом сил моих не стало. Ладно — в солдаты, а в святые я не нанимался. Еле допросился перевода в другую часть, подальше от Мукдена. А вернулся домой после войны — море потянуло. — Степа широко улыбнулся: — Ну, вот, чирик! Выписываюсь я: мы еще с тобой в Одессе бычков с моря потаскаем.

Он осторожно обнял Павлика, халат при этом соскользнул и виден стал синий китель с золотыми шевронами и орденскими планками.

Павлик засопел в ответ, одобрительно пробурчал:

— Ты мужичок, Степа!

Боцман, пожав каждому из нас руку, сказал:

— Жду вас в городе-герое Одессе, хуторяне. Адрес «Россия», бывший "Адольф Гитлер", а на берегу — Молдаванка, Прохоровская, восемьдесят три, там каждый знает, — и удалился, большой, добродушный, приветливый. После его рассказа и прощания успокоившийся Павлик уснул. Впрочем, ненадолго.

Он проснулся со стоном. Лев Исаакович, которого я тут же позвал, пробыл у Павлика около трех часов и ушел мрачный. На мой вопрос ответил только одним словом: "Посмотрим".

Вечерело. Павлику стало немного лучше, но глаза его лихорадочно блестели. Он позвал меня и сказал глухо:

— Кончаюсь я, Борисыч, да и слава Богу! Сил больше нет терпеть. Не лезь со своими словами — они мне не нужны. Лучше послушай. Ты ведь историк. Может, когда и пригодится тебе моя история.

Он стал говорить тихо и горячо, все более возбуждаясь. Время от времени ненадолго впадал в забытье, потом снова начинал говорить, и каждый раз точно с того места, на котором оборвался:

— Слесарил я на заводе в Ногинске, а в сорок шестом загремел в солдаты. Попал в пехотный полк, тут же неподалеку, в Московской области. Служба как служба. Знаешь, солдат в пехоте: первые полгода называется «дух», "салабан" или «салага» — его любой старослужащий по морде садануть может и послать куда хочет, даже вместо себя в наряд; вторые полгода — «помазок» или «шнурок». Это уже полегче — не так тобой помыкают. Другой год службы: сначала будешь «черпак» — тебя не задирают, ты уже сам на «салабанов» покрикиваешь. Последние полгода — «старик». Его и сержанты не трогают, а то в сортире утопит. Когда увольнения в запас ждешь — называется «квартирант». После увольнения, пока из части не ушел, — «ветеран» или «дембби». От них и лейтенанты шарахаются. Вот дослужился я до «черпака», легче стало. И тут, понимаешь, такая канитель вышла. В воскресенье как-то с утра получил увольнительную. Мы с корешем в буфете кирнули, погуляли. Вернулся я к обеду, а тут, туда их мать, суп гнилой, даром что с мясом. Дух от него такой, что нутро выворачивает. Солдаты, кто молчком, кто матерясь, миски отшвыривают. Пришел дежурный старший лейтенант: "В чем дело, — говорит, — отчего шум?" Был бы трезвый — смолчал бы, наверное, а тут понесло: "Мы что, — говорю, — матросы с «Потемкина», чтобы нас червивым мясом кормить?" Он взвился: "Ах ты, контра!" — и к особисту. Взяли меня в тюрягу Московского гарнизона. Долго не думали: десятку как в яблочко влепили. Попал я в лагпункт… Да ты держи меня за руку, держи…

Я послушно взял горячую худую руку Павлика в свои руки, а он, облизывая пересохшие губы, продолжал:

— В Сибирь, Борисыч, в гиблое место. Лабытанаги называется. Это по-ихнему, по-ненецки. Там ненцы живут, оленей разводят, только помирают они все больше.

— Кто умирает? — не понял я.

— Да и ненцы и олени — все помирают, а больше всех мы — зэки. Да ты не перебивай меня. Я успеть хочу. На другом берегу Оби городишко Салехард, раньше Обдорск назывался. А я в зону

попал. Бараки холодные, мерзлые. Нары — вагонка в два этажа. С пяти утра к воротам, а потом вкалывать с тачкой и лопатой, насыпь для железной дороги делать. Жратва — черный хлеб с отрубями да теплая вода с рыбьими костями, редко когда с гнилой картошкой. Норму разве вытянешь при такой жратве? А нет — в карцер на 400 грамм хлеба и воду, да еще изобьют. Добро если кулаками, а то железной трубкой или дрыном. А тут ворье, урки — сами не вкалывают, а пайка им идет за наш счет. Да бьют чем ни попадя и крадут хлеб и чуни, а то и просто снимут и сдрючат с кого что с воли осталось. Свитер там, или шарф, или там еще что. Меня тоже несколько раз избили и обобрали. Только я на них шестерить не стал. Но вижу, все молчат, а одному разве с ними сладить? Стал я к ним поближе прибираться, на их проклятой фене ботать научился. Они все, как вши: налезут быстро и не заметишь, а вывести — попробуй! Вот и у меня осталось. Около урок, хотя и полегче жить стало, но еще тошней. Сколько раз думал повеситься, да там и это не просто. Стукачи ссученные повсюду. Но вот прибыл новый этап с «фашистами», как урки трепались. А там одни солдаты, российские солдаты и офицеры то есть. Кто за что: военнопленные из гитлеровских лагерей, власовцы, бандеровцы, зеленая литва и эстонцы, а то и вроде меня, чурики. Двое даже из тех, что Берлин брали. Народ все тертый, боевой и не доходяги. Разной твари по паре то есть, но тут в зоне все как из одной части. Нескольких урок отделали так, что все они подальше держаться стали. Да и бригадиры, и нарядчики, и сами надзиратели их боялись. По баракам параша пошла: вохра и суки жаловались на этап начальнику лагеря, а он так сказал: "Норму выполняют? Ну и все. Мне план нужен, а с урками и доходягами плана не будет, не наскребешь, так что оставьте их."

— Пашенька, — вдруг прервал его Марк Соломонович, — отдохни, ведь уже за полночь.

Он, оказывается, может быть, и давно уже, возле кровати Павлика на табуретке сидел. Тот зыркнул из-под светлых ресниц, процедил:

— Заткнись! Я и так на бессрочный отдых ухожу. Марк Соломонович покорно замолчал.

— Ну вот, — продолжал Павлик, часто и неровно дыша. — Тут мне один старший лейтенант говорит: "Ты, солдат, с урками не шейся. Тебе с нами дорога" — "А куда здесь дорога, кроме как в деревянный бушлат?" Он усмехнулся: "Поживем, — говорит, — увидим." Зашел я как-то в мехмастерские, там лопаты, кайла точили, тачки чинили и всякое из железа работали. Дело знакомое. Тут я и вправду кое-что увидел. А как-то, в начале

августа это было, вывели нашу бригаду из зоны еще не усталую после ночи-то. Стар ший лейтенант этот что-то крикнул, и тут весь конвой перерезали. Ребята знатные ножи понаделали. Взяли у вохры автоматы, кому досталось. Бригада по команде за кочками залегла. Мне тоже кто-то ноле сунул. А погодя новую бригаду из зоны выводят. Только до нас дошли, старший лейтенант скомандовал: "Бей катов!" Вохра как увидела наших с автоматами и ножами, побросала все и бежать. Это они против доходяг зверствовали, а тут никто из них далеко не ушел. Потом подошли к зоне, уложили попок на вышках, вохру на вахте. Наших двоих тоже задело. Однако ворота открыли и в зону ворвались, кончать кого надо. Потом на поселок охраны напали. Они и оглядеться не успели, как их всех уложили. Тут уж на складе оружием разжились вдоволь. Полковника Воронина, начальника лагеря, живьем взяли. Привели в зону — судить. Там уже почти все урки разбежались — кто куда. А из 58-й больше половины с нами встали, остальные в бараках спрятались, а кто ушел невесть куда. Тут начальник лагеря встал на колени и говорит: "Братцы, вы меня прикончите и правильно сделаете. Только сначала выслушайте!"

Потолковали мы между собой: "Мы тебе не братцы, но говори". Там решили, тем более, что от него самого особого зла не видели.

Он и говорит: "Я из крестьянских детей. В германскую в прапорщики вышел с двумя Георгиями. В гражданскую в Красной армии под командой Тухачевского воевал и после в ней остался. До комдива дослужился. В тридцать седьмом меня посадили. Побоями и пытками командирский лоск сбили, да и повязку с глаз тоже. Дали десятку. Все я прошел, что и вы проходили: и тюрьмы, и этапы в Столыпиных и телячьих, и лагеря, и бараки, и БуРы, и ШИЗО. А в сорок пятом, видно, усатому еще больше зэков понадобилось. Меня вдруг — в баню, приодели, а потом самолетом да на Лубянку к самому со стеклышками. Я начал было говорить, что безвинно сижу, но он меня прервал, а сам руки назад, как зэк, по кабинету из угла в угол ходит и говорит: "Генерала мы тебе не дадим, комдив, а дадим полковника. Будешь начальником лагеря, для народа, для страны железные дороги строить, уголь добывать. А не хочешь — в том же лагере и сгниешь."

Подумал я, а уж доходил тогда, а тут еще бабушка надвое сказала: может быть, и дождусь часа. Вот и дождался. Вы все обречены, ребята. Но я опытный командир и всю лагерную систему знаю. Если поверите мне — со мной дольше продержимся. Хоть душу отвести, со сволочью этой посчитаться и

чтоб люди узнали что и как. А не поверите — застрелите. Я это все одно заслужил".

Снова потолковали, решили — верим. Стал он у нас вроде военный командир. Начальником штаба — тот самый старший лейтенант. Вот и штаб, и разобрались по взводам — часть как часть. Дисциплина. Решили соседний лагпункт освободить. Он недалеко на каменюгах стоял, у каменоломни. Полковник, даром что одноглазый, ему на следствии выбили, а в том лагере все загодя выглядел, на память, где там что, показал и начертил. Сходу взяли поселок охраны и зону. Ни одного человека из наших не зацепило. Харчами, оружием здорово разжились, да и солдат прибавилось. Целый полк образовался. Дальше пошли, в низину спустились. Там болота, тундра, гнус, но нам все нипочем. Зэки-то снова солдатами стали, да какими! Всем полком думали, что дальше делать. Решили дойти до Воркуты, взять ее штурмом. Там мощная радиостанция. Обратимся в Организацию Объединенных Наций и в Верховный Совет, расскажем, что с людьми в наших тюрьмах и лагерях делают. Будем просить помощи и еще, чтобы член политбюро к нам приехал. Так и пошли, пошли. Лагпункты, как орешки щелкаем. Растет наша сила! Выслали на нас вохровские части, так те годились только безоружных зэков пинать и убивать. А мы их размолотили в одночасье и духа не осталось.

У нас уже разведрота была. Разведка ближняя, дальняя, все как положено. Полевые кухни, походные каптерки. Как-то разведка докладывает: танки против нас двинули…

Тут голова Павлика запрокинулась, тело его задрожало. Марк Соломонович выскочил из палаты и почти тут же вернулся с неизвестно откуда взявшейся Марией Николаевной. Она быстро и точно сделала Павлику инъекцию морфия, он перестал дрожать и уснул.

— Вам ведь с утра на работу, Мария Николаевна, — посетовал Ардальон Ардальонович.

— Ничего, завтра день без операций. А он, — кивнула она на Павлика, — часа два проспит. Только вот на всякий случай свет не тушите, если, конечно, согласны.

— А как же, — отозвался Кузьма Иванович со своей койки, лежа на спине после операции. — А как же!

Мустафа молча отвел Марка Соломоновича к кровати и чуть не силой заставил его лечь. Сам же сел на табуретку возле Павлика.

Мы с Марией Николаевной, у которой был ключ от двери корпуса, вышли в сад и сели на скамейку, прятавшуюся среди кустов сирени. Она молча закурила свой "Беломор".

— У тебя кто-нибудь есть, Маша? — поинтересовался я. — Ну, муж, родители и все такое…

— Были, а теперь нет. Погибли, кто на фронте, кто в оккупации, кто в лагерях.

— Но ведь ты красивая, для тебя женихи и теперь найдутся.

— Моими женихами вся дорога от Москвы до Берлина вымощена. Нет уж, пусть Галя свое счастье ищет…

— Дай закурить, — поспешно попросил я.

Мы молча просидели, наверное, около часа, а потом Маша сказала:

— Пойдем в палату, время подходит.

— Не слишком ли ты часто ему морфий колешь?

— Глупый ты, глупый, — ласково и печально протянула она. — Ты что же ничего не понимаешь?

Возвращаясь в корпус, я увидел, что окно кабинета Дунаевского светится. Спросил:

— Там! — Она молча кивнула.

— Отчего же он к Павлику не подходит, — удивился я.

Она ответила тихо, как будто нас кто-то мог услышать:

— Знаешь, по медицине для Павлика уже давно летальный исход должен был наступить. Как он держится, понять нельзя. Конечно, Лев Исаакович, что мог, сделал. Да, понимаешь, когда он с ножом дернулся, все порвал, и теперь уже не поправишь. Наверное, он держится на том, что ему очень рассказать надо, а может, если продержится, снова организм чудо сделает, успеет. Ничего нарушать нельзя. Если Лев Исаакович сейчас придет, Павлик может решить — третий звонок, и прощай. А так пусть рассказывает, вдруг да успеет.

— Рассказать, что ли?

— Организм успеет совладать, — терпеливо объяснила она, — а Лев Исаакович глаз не смыкает.

Когда мы вошли в палату, там по-прежнему горел свет и Павлик все еще спал. Но через несколько минут проснулся, и Мария Николаевна снова сделала ему укол. Он, однако, на этот раз не уснул и, найдя меня воспалившимися глазами, сказал:

— Сядь и возьми меня за руку. — А потом продолжал, как будто и не прерывался его рассказ и даже чему-то улыбнулся своими искалеченными губами. — Танки-то танки, да они по тундре, по болотам не пошли — увязли. А мы идем, лагеря освобождаем, всех катов в расход. Небось жалеешь эту мразь, — неожиданно обратился он к Марку Соломоновичу.

— Всякую тварь жалко, Пашенька, — смиренно ответил тот, вставая, — Однако Господь наслал на египтян десять казней не за то, что они обратили евреев в рабство и четыреста лет их так

держали, а за то, что они хотели помешать евреям освободиться, когда они это смогли.

Павлик подозрительно посмотрел на Марка Соломоновича, наморщил лоб, но вскоре продолжал:

— Сук ихних, вохровских, мы не трогали, ну и ребятишек, конечно, тоже. Уже до Воркуты километров пятьдесят оставалось. Там уже семьи ихние вывозят, архивы жгут. Тут наша разведка донесла — десант в заслон перед Воркутой выбросили. Ничего, братва. Мы еще поглядим, кто кого, десантники или мы, кровью мытые-перемытые, да все больше нашей я кровью. Тут, однако, штурмовики, как коршуны налетели. Ладно — вохра, каты они и есть каты. А ведь это летчики, солдаты. На бреющем летают. Ревут моторы, пулеметы трещат, патронов не жалеют. С воздуха расстреливают, высматривают, кто еще шевелится — добивают. А с земли им стоны и мат, надо думать через трескотню слыхать. Многих перебили, многих, да не всех. Притомились видно, да и не углядели. Меня пули ихние поганые не достали. Это уж потом один из заградотрядов прихватил. Били так, что долго кровью харкал. Отвезли почти к самой Воркуте и в особый лагерь — это каторга, значит, для политиков. На ватнике спереди и сзади, на шапке и на штанах — номера, на тряпках пришить всем приказано, на окнах бараков — решетки. Усатый распорядился для пятьдесят восьмой особые лагеря сварганить. Видно, чтобы быстрее их уморить и чтобы урки от них чего не набрались.

Работа — кайлом в шахтах уголь добывать. Часов по четырнадцать вкалывали. Пайка — хуже некуда. Да и карцеры особые есть — стоячие. Бокс такой холодный, метра два высотой, тесный, в нем не повернешься, не то, чтобы сесть или лечь. Через несколько часов откроют — без сознания оттуда зэк валится, а зимой — мертвые ледяные чурки выпадали.

Только осмотрелся я — такого еще не видел. Никто ничего не ворует, не орет, не психует. На нарах хлебные пайки лежат, карандаши, всякая там дребедень. На полу чуни стоят — никто не тиснет. И книги есть, не на раскурку. Разговаривают, спорят, а не то что «фени», матерного слова не услышишь. На каких только языках не лопочут. Веришь ли, меня, дурака, сосед немецкому языку учил. Держи меня за руку, крепче держи, — вдруг перебил сам себя Павлик. Глаза его закатились, дыхание стало каким-то прерывистым, поверхностным.

Через несколько минут, вслед за Марией Николаевной в палату быстро вошел Дунаевский и бесстрастно сказал:

— Прошу всех отойти.

Они что-то долго делали с Павликом. — Дыхание его, наконец, стало более глубоким и ровным.

— Морфий, — коротко бросил Дунаевский, — хорошо, чтобы он уснул. Я у себя, — и вышел.

Мария Николаевна сделала новый укол, но он не уснул. Наоборот, глаза его сузились и, найдя взглядом Марка Соломоновича, он, с трудом разлепив спекшиеся губы, покрывавшиеся неровной белой каемкой, сказал, почему-то слегка заикаясь:

— Прости меня, отец, за все, если можешь и спасибо тебе.

Марк Соломонович закричал:

— Не смей, Пашка! Господь не допустит пролития крови невинной, — но Павлик не слушал его.

Он вновь сказал мне:

"Сожми мою руку", — и продолжал говорить. Он то останавливался на несколько секунд, то снова говорил, все быстрее и быстрее, отчего не только отдельные слова его, но иногда и целые фразы трудно было понять.

— Там со всех концов России народу хватало. Но не как у урок — все друг за дружку держатся и придурки не такие как везде. Стукачи, если и были, помалкивали, человек пять-шесть замочили, вот они и молчок. Когда усатый откинул копыта, все наши зэки свои номерные шапки вверх кидали, "ура!" кричали. На амнистию стали надеяться, она и вышла, да только не нам, а блатным. Зато когда Лаврушку ухлопали, портреты его из КВЧ и отовсюду убрали, тут стал волноваться народ. Но только нам еще горше стало. Лютовала вохра и вся их кодла. Может, чуяла, что мы уже не такие стали, что не конца срока ждем, не на него надеемся. Я, представляешь, шесть лет с нашими каторжными отбухал, а все привыкнуть к ним не мог, как они живут, как говорят. Но и как раньше жить тоже не мог, тянулся к ним. Когда мороз и угольную пыль глотал, когда кайлом из последних сил махал, все с ними полегче казалось. Полегче, да нелегко. Но рядили наши не как в ИТЛ: "Умри ты сегодня, а я завтра!", а по другому: "Живы будем — не помрем!"

Комитет у них появился — человек десять примерно, всех их никто не знал. На виду только главный, совсем пацан, Дима звали. Был он студент из Москвы, на инженера учился, когда десятку схлопотал. Так если кто ослабнет совсем от кайла, от пыли этой угольной клятой, комитет ему хлеб давал и напередки — свой. Так и держались друг за дружку. Стал я чуять, что-то готовится, а что, понять не могу — на резню не похоже. Спросил у Димы, а он только ощерился: "Потерпи, солдат, скоро узнаешь".

По лагерю параши ползут и ползут. Этапы новые редко приходить стали и все больше не с воли, а из других лагпунктов и командировок. От них тоже параша — полыхает в лагерях. Вот

зима настала, такой лютой еще не было, за 50 градусов заходило, а нас все одно в шахты гонят — там, дескать, теплее. Дима сказал, в этих местах такие зимы — в норме, ведь за полярным кругом стоим. Кодда не хуже мороза лютует. Из стоячих карцеров все чаще мертвые ледяные чурки выпадали. Вот как-то настало утро, а оно там зимой, да и целый день, как ночь, все одно — тьма. Время по звону рельсы узнавали. Выстроили нас в утреннюю поверку и на развод: в шахты идти. Поверку прошли, а как скомандовали: "Первая бригада, марш!" — все стоят и не шевелятся. Майор пузатый, начальник лагеря то есть, сразу с лица спал, снова, теперь сам, команду кричит. А мы молчим и стоим. Тут его, да и всю кодлу из зоны как ветром сдуло. Майор закричал, чтобы прожектора и лампы вырубили. Стоим в темноте. Молчим. А он, видно, сообразил, раскумекал, что в темноте-то и подорвать из зоны легче, приказал снова врубить свет.

Тут Дима вышел перед строем, сказал:

— Комитет предлагает соблюдать порядок и дисциплину. На работу не выйдем, пока наши требования не выполнят. А требования такие, — вынул бумажку, прочел: — Снять номера с одежды и решетки с окон бараков. Отменить стоячие карцеры. Бараки на ночь не запирать. Рабочий день сократить до восьми часов. Запретить побои зэков. Кто в забое вкалывает — увеличить пайку, вызвать члена Политбюро партии, чтобы знал, как зэки живут. Может кто дополнить хочет?

Все молчат. А Дима и сказал:

— Если кто несогласный, пусть выйдет к вахте. Ни один зэк не вышел. Тогда Дима сам на вахту пошел. Там ихний лейтенант сидит — прямо неживой от страха, видно, помнит, а может слышал, как кололи их на стройке, да только там разве. Дима ему бумажку с требованиями передал. Все разошлись по баракам. Пайка в этот день как всегда была. Столовая работала исправно и на другие дни тоже. Но никто из вохры и надзирателей в зону и не сунулся. Даже попок с вышек сняли. Видно, наслышаны были о лагерных восстаниях. Майор снаружи через мегафон орал:

— Стране уголь нужен. Опомнитесь! Всех сгноим! Дима ему с крыши барака закричал:

— Хуже быть не может. И так сгниваем. Стране уголь нужен, а нам жизнь, а не убийство!

Так четыре дня прошло. Утром строимся. Сами поверку проводим, все как положено. По баракам расходимся, в столовую — строем. На пятый день после обеда за зоной все загрохотало и зарычало. А потом стало тихо. Прожектор навели на бронетранспортер. На нем стоит коротышка в полушубке и башлыке, кричит через мегафон:

— Граждане зэки! Я — генерал-лейтенант Деревянко. Прибыл к вам по вашей просьбе. Мы рассмотрим ваши пожелания и просьбы.

Мы-то не просили, а требовали, и не его, а чтобы член Президиума, ну да ладно, послушаем, что он еще скажет.

Ваши просьбы мы удовлетворим. Номера с одежды можете спороть. (А мы уже и так спороли.) Стоячих карцеров больше не будет. Рассмотрим и другие ваши просьбы. Но вот мои условия: завтра с утра — на работу, стране уголь нужен, соображаете? Вы же советские люди. А еще — выдать зачинщиков. А нет — завтра все будете уничтожены. Зона окружена танками. Так что — думайте!

Тут лучи прожекторов стали шарить вокруг зоны. Смотрим, — и правда, танки со всех сторон, стволы на нас наведены. Зима ведь, тундра замерзла, вот они и прошли. Всю ночь думали. Решили — на работу пойдем, но никого не выдадим. Утром, как построились, Дима и весь комитет сами к вахте вышли. Я за ними: "Не надо," — говорю.

А Дима отвечает: "Надо, Пашка, надо. Зачем всем погибать. Мы свое сделали". С тем и ушли через вахту на зону. Больше их никто не видел.

А Деревянко орет через мегафон:

— Строем, по бригадам выходить из зоны. Каждой бригаде по отдельной команде!

Ворота раскрылись. Стали выходить. Медленно дело шло. Вот и наша бригада вышла. За зоной все прожекторами высвечено. Стоят бронетранспортеры и около них автоматчики. Генерал Деревянко и пузатый майор со всех сторон надзирателями и вохрой окружены. Они им на зэков пальцами показывают и нашептывают. Майор командует, кому из бригады налево идти, кому — направо. Кому налево — те сгинули. А я попал с теми, кто направо. Повели нас в шахту, спустились, мать честная, креплений нет, а где и есть, то совсем трухлявые. Двенадцать часов отбухали. Вернулись в зону — нет решеток на окнах бараков. Стоячие карцеры разрушены. Все-таки не зря Дима погиб. Так и стали нас с утра на эту гиблую шахту гонять. Кто-то на утренней поверке крикнул: "Обещали рабочий день сократить!"

Майор ласково так ответил:

— Пока вы волынку тянули, план по добыче угля сорвался. Нагоните план, тогда подумаем.

Только они, я считаю, и до сих пор думают. А в шахте один за одним пошли обвалы. Вот и я в такой попал.

— А что было дальше? — глухо спросил Марк Соломонович.

— Все, — тихо проговорил Павлик и шепотом повторил: —

все…

Я почувствовал, что рука его, которую я держал, напряглась и вдруг опала. Это действительно было все. Ардальон Ардальонович осенил Павлика крестным знамением. Марк Соломонович сел на пол и, дико сверкая огромными глазами, застонал, делая руками такие движения, как будто вырывал волосы из своей совершенно лысой головы: — О, вей из мир! — закричал он, — Господи, почему не спас ты праведника? Ведь мерзость душе твоей — пролитие крови невинной. О, вей из мир! Горе мне!

— Отмучился, — жалостливо сказал со своей койки Кузьма Иванович. — Приведенный Марией Николаевной Дунаевский осмотрел Павлика, коротко сказал, ни к кому не обращаясь:

— Снимите каркас, — и вышел.

Ушла и Мария Николаевна, сначала поцеловав Павлика в лоб. Лицо его, раньше такое подвижное, с непрерывно меняющимся выражением, было спокойным и строгим. Ардальон Ардальонович и Марк Соломонович стали возле койки Павлика, один в головах, другой в ногах, и застыли. Через некоторое время их сменили мы с Мустафой. Марк Соломонович убрал каркас. Все молчали. Рассвело. В палату, бренча своим столиком, вошла Галя и, взглянув на кровать Павлика, заплакала. Потом она подошла к койке и накрыла его с головой простыней. Несколько минут пыталась пересилить себя, но не смогла и ушла, так и не сделав нам утренней порции уколов. Мы испытали при этом невольное облегчение, хотя Галя здорово усовершенствовалась, но все-таки…

Вслед за тем в палату, сановито отдуваясь, вошел высокий плотный милиционер без халата. За ним в открытую дверь виднелось бледное лицо Дмитрия Антоновича и его указующий перст. Милиционер уставился на койку, где лежало накрытое простыней тело Павлика, пожал плечами и вышел.

Вскоре появилась тетя Клава и Кнопка. Кряхтя, переложили они Пазлика на каталку и повезли в морг. Пока они снимали с него рубашку, перетаскивали, снова накрывали простыней, я отворачивался, потому что не было сил смотреть на изуродованное тело.

Вслед за каталкой пошли все однопалатники, кроме Кузьмы Ивановича, а по дороге к нам присоединился Владимир Федорович. В морг входить не разрешалось. Постояв возле закрывшихся, как в преисподнюю дверей, мы стали расходиться. Но Ардальон Ардальонович, поманив меня рукой, встал по одну сторону дверей, а я по другую.

— Скоро вас сменим, — увидев это, сказал капитан. Однако

прошло всего несколько минут и к нам подошел Дунаевский.

— Прошу вас немедленно снять пост. Разделяю ваши чувства, но это может повредить персоналу, — и, повернувшись, тут же ушел.

Я чувствовал, что ноги у меня дрожат, колени подгибаются, все тело бьет озноб.

— Откуда у вас силы, — обратился я к старому адвокату, — чтобы после такой ночи стоять на посту?

Он ответил не то с легкой насмешкой, не то с кокетством:

— Почтенная Мария Николаевна время от времени величает нас гвардейцами. Так я, изволите ли видеть, действительно воевал в российской гвардии и даже не в одной, а в трех.

— Не знаю, сохранят ли ваши последователи ваши принципы, — усомнился я.

— И я не знаю, — помрачнел Ардальон Ардальонович. — Это самый больной вопрос.

"Так, значит, попал в точку, — подумал я. — Кстати, выходит, что последователи у него имеются."

Когда мы вернулись в палату, мы увидели, что кровать Павлика заново застелена, а на подушке лежит несколько красных роз.

— Маша, конечно, кто же еще, — ответил на мой вопросительный взгляд Марк Соломонович, который за это время осунулся и стал сутулиться.

Нехотя позавтракав, мы до самого обхода молча сидели в палате. Около часа дня вошли Дунаевский, Раиса Петровна и Галя. Осмотрев каждого из I сделав вместе с Раисой Петровной лечебные назначения, Дунаевский обратился к нам.

— Через час на эту койку поступит новый больной, цветы надо убрать.

— Льва Исаакович, — искательно обратился к нему Марк Соломонович, — разрешите отнести цветы к изголовью мальчика.

— Это невозможно. Тело Павла Васильевича уже увезли те, кто предъявил права на него.

— Куда увезли? — с глухой яростью спросил Мустафа.

Дунаевский пожал плечами.

— Они предъявили полномочия и сказали, что Павел Васильевич — спецпокойник.

— Нехристи окаянные! — послышалось с койки Кузьмы Ивановича, но Дунаевский никак на это не прореагировал и вышел со всей свитой.

Ардальон Ардальонович сказал с несколько ненатуральным адвокатским пафосом:

— Профессор все же занимает вполне определенную

позицию, которую никак не забывают друзья и не прощают враги.

Марк Соломонович ничком лег на койку и замер. Остальные, как потерянные, слонялись по палате. Впрочем, вскоре и Ардальон Ардальонович улегся в постель. А потом и вправду привезли нового послеоперационного больного, пожилого, с седыми вьющимися волосами. Он еще находился под воздействием наркоза и только постанывал, а иногда и хрипло кашлял.

Под вечер в палату вошла Мария Николаевна и предложила мне:

— Выйдем в сад.

Мы прошлись по аллее и сели на знакомую уже скамейку среди кустов сирени.

— Вот теперь я тебе кое-что расскажу, — повернулась ко мне Мария Николаевна. — В пятьдесят втором Льва Исааковича арестовали. А нам объявили, что он вредитель и еврейский националист. Потом меня вызвали на Лубянку. В кабинете парень лет тридцати в сиреневом костюме и с каким-то стертым лицом, говорил очень вежливо. Посетовал на низкую зарплату у медсестер, на тяжесть работы в урологическом отделении, потрепался о том о сем, и вдруг спросил:

— Знаете ли вы, Мария Николаевна, что за месяц до ареста бывшего профессора, врага народа Дунаевского у него на операционном столе умер больной.

— Знаю, — ответила я.

— А знаете ли вы, что он был ответственным советским работником?

— Нет, не знаю. Я знаю, кто чем болен.

— Так вот, — важно объявил следователь, — сообщаю вам, что он был ответственным советским работником. И еще. Показаниями патологоанатомического вскрытия, данными судебно-медицинской экспертизы установлено, что это было злодейское умерщвление, осуществленное матерым врагом Дунаевским. Познакомьтесь с актом экспертизы!

Когда я прочла, он и говорит:

— Нам и так все ясно, но для полноты картины подпишите и вы, как операционная сестра, соответствующие показания. Я тут уже набросал примерно.

— Нет, — ответила я, — не подпишу.

— Почему? — удивился следователь.

— Дело обстояло совсем не так, как здесь описано.

— Но вы видите, какие авторитетные деятели медицины, профессора подписали акт.

— Это дело их совести. А было совсем не так. Вранье они

подписали.

— Вы же коммунистка, должны понимать, в чем заключается ваш долг, — начал нервничать следователь.

— Я и понимаю. Он заключается в том, чтобы добросовестно делать свое дело и говорить правду.

— А откуда вы знаете эту правду?

— Я, как вы сами сказали, операционная сестра. Я читала историю болезни этого человека, была на операции, держала его пульс и вообще помогала профессору. Я знаю, как было на самом деле.

— А как было? — прищурился следователь.

— За несколько лет до этого у больного пришлось удалить почку. Потом в оставшейся почке образовался камень. Вокруг него все больше разрасталось гнойное поле. У больного все чаще и болезненнее наступали почечные колики. Необходимо было удалить камень. После успешной операции больной мог бы жить еще многие годы, а без операции он неизбежно умер бы через несколько месяцев. Был и серьезный риск. У больного слабое сердце, стенокардия, а операция тяжелая. Но без нее он умер бы и очень скоро. Созвали консилиум, рассказали все больному, родственникам. Решено было все-таки операцию делать. Но сердце не выдержало, и он умер. Профессор Дунаевский сделал все, что мог. Вот это я готова подписать.

— А знаете ли вы, — зловеще сказал следователь, — чем вам грозит защита уже изобличенного врага народа?

Тут я встала и сказала:

— Ах, ты, падла! Я старший лейтенант медицинской службы. У меня осколок до сих пор у виска сидит!

Рассказывая мне, она тут приподняла прядь волос, как обычно закрывающую правый висок, выходит не случайно, и я увидел косой шрамик и небольшой бугорок под ним у виска. А Мария Николаевна продолжала:

— Меня немец четыре года пугал, испугать не смог. Так ты думаешь, испугать? Тут, знаешь, — обратилась она ко мне, — на фронте всякому научишься, я его таким матом обложила, что он только рот разинул и молча мне пропуск подписал, даже время поставил. А недели через две меня снова на Лубянку потянули. Новый следователь уже в форме с капитанскими погонами. Начал он с того, что извинился передо мной за того — разве, мол, он нас, военных, может понять. Разговаривал очень вежливо, а потом попросил подписать те же показания.

— Ну и что же ты ему ответила? — спросил я, Мария Николаевна полсала плечами.

— Я просто рассмеялась ему в лицо и протянула пропуск для

подписи.

— А потом?

— Что потом? — синие глаза Марии Николаевны потемнели, сузились, отчетливее проступили скулы на смуглом лице. — Не перевели из операционных сестер на пост. А что они еще могли сделать? Где найдешь сестер, а особо в урологический корпус? Так до весны и проработала. На похороны Сталина ходила, плакала, дура. Однажды дежурила я, должна была инъекцию пенициллина делать одному больному. Уж и шприц из стерилизатора достала. Вижу, в коридоре старичок какой-то стоит в коричневом пиджаке. Непорядок. Пошла сказать, чтобы он халат надел и обмерла: Дунаевский. Он, хотя и постаревший, побледневший, морщин прибавилось, но он. У меня шприц упал, разбился. Первый раз субординацию нарушила, бросилась к нему, стала обнимать и целовать, А тут врачи, сестры и нянечки со всего корпуса сбежались. Что делалось! Лев Исаакович хотел что-то сказать, несколько раз открывал рот, но так ничего и не сказал, махнул рукой и пошел к себе в кабинет.

— Насчет него, наверное, не только тебя вызвали. А как другие держались?

— Наверное, — согласилась Мария Николаевна, — да кто же скажет? Знаю только, что тогда у нас в больнице часто митинги устраивали — арестованных врачей проклинали. Так о профессоре Дунаевском никто слова худого не сказал, правда и хорошего тоже.

— А ты, случайно, не знаешь, как держался Дунаевский на следствии?

— Откуда же мне знать? — удивилась Мария Николаевна, — и не без гордости добавила: — Уверена в том, что как всегда. Не как всегда был всего несколько минут, когда после освобождения вернулся в корпус.

— Маша, — сказал я после долгого молчания, — не знаю, слышала ли ты, ведь Павлик со мной перед смертью кое-чем поделился?

— Так я потому же, — просто ответила Мария Николаевна.

— Спасибо тебе, спасибо, — сказал я и только тут почувствовал, как сильно устал… Попрощавшись, я с трудом добрался до своей кровати, с внезапно обострившейся болью в боку и, едва раздевшись, тут же уснул.

Проснулся я от бренчания процедурного столика, который на этот раз вкатила Люба.

Койка Ардальона Ардальоновича была полностью закрыта простыней. Ночью он молча умер, унося свою тайну. Я приподнял край простыни. Ардальон Ардальо-нович лежал на спине. Нижняя

губа была прокушена и на подбородке запеклась тонкая, уже коричневая струйка крови. Видимо, Павлик, искалеченный, полуживой Павлик, очень много значил для обитателей нашей палаты, поддерживал нас всех, да и научил кое-чему.

Морщины на лице Ардальона Ардальоновича разгладились, и теперь сходство с молодой женщиной, навещавшей его, стало особенно заметным. Значит, все-таки это его дочь, потому что вряд ли по возрасту она могла быть его сестрой…

Тело Ардальона Ардальоновича скоро увезли. Никогда я уже не узнаю того, что хотел узнать о старом адвокате…

Лев Исаакович, как обычно, в сопровождении Раисы Петровны и дежурной сестры Любы, появился на утреннем обходе.

— Профессор, — сказал Мустафа, — я сегодня должен уйти из больницы.

— Зайдите ко мне после обхода, — оборвал его Дунаевский.

Когда очередь дошла до меня, он, осмотрев, приказал сестре:

— Обработайте шов, — а потом обернулся ко мне: — Завтра хочу вас выписать. Долечиваться будете амбулаторно.

Я начал благодарить, но Лев Исаакович, не дослушав, перешел к койке Кузьмы Ивановича…

За Мустафой вскоре пришли двое каких-то мужчин, по виду его соплеменников. Он переоделся в клетчатую рубашку, синие брюки и сразу стал выглядеть на десять лет моложе. Пожал всем руки, поблагодарил за компанию и вышел в сад, а я вслед за ним.

— Я с себя вины не снимаю и хочу искупить ее, друг, — сказал я.

— Знаю, знаю, — ответил Мустафа, — мы еще встретимся…

Потом я пошел звонить в главный корпус по телефону-автомату моим друзьям. Жена моя была далеко в Крыму на съемках своего первого художественного фильма по рассказу Куприна. Еще несколько лет назад молодой кинорежиссер не имел никаких шансов получить возможность снимать картину. Тогда наиболее именитые режиссеры делали три-четыре фильма в год. Их смотрел вождь прогрессивного человечества и от его мнения целиком зависела не только судьба фильма, но и участь его создателя, иногда трагическая. Так было со второй серией фильма "Иван Грозный". Автор сценария и режиссер его, знаменитый Сергей Михаилович Эйзенштейн, создал фильм огромной силы, он был подлинным человеком искусства и потому не мог воспевать палача. Это стоило ему жизни. Фильм был обруган и запрещен, даже негатив уничтожен по указке хозяина. (Кто-то из отважных сохранил одну из немногочисленных копий). Эйзенштейна обозвали «гамлетистом» и предъявили ему ряд

других, столь же нелепых, обвинений, запретили снимать фильмы, т. е. фактически приказали умереть. (О-тец родной любил такие приказы и не гнушался отдавать их буквально, например, в отношении Зорге, нашего разведчика в Японии).

Лето Сергей Михайлович проводил на своей даче в Кратово, по большей части на веранде второго ее этажа. Там висел тугой разноцветный мексиканский гамак, на столе лежало огромное сомбреро, причудливые маски и всякие экзотические вещи, привезенные из его давней поездки в Мексику, где он снял фильм, который, по указу хозяина, не был выкуплен. Живший напротив Эйзенштейна знаменитый гомеопат Жаке, вскидывая горбоносую седую голову, прописывал ему какие-то шарики, стараясь ими отдалить предсказанную гипнотизером Вольфом Мессингом смерть в 50 лет. Эйзенштейн храбрился, острил, строил планы написания истории мирового кино. (Немало, кстати, смутив меня предложением сотрудничать с ним в этом, и для начала написать историю колеса), был то ироничен, то задумчив. Все чаще и сильнее были у него сердечные приступы, и 10 февраля 1948 года на своей квартире в Москве он умер от инфаркта пятидесяти лет от роду. Сильному поношению подверглись за свои не угодившие "лучшему другу кинематографистов" фильмы и режиссеры Луков и Довженко. Однако, по большей части, кинематографисты хорошо изучили вкусы своего лучшего друга и старались, ни в коем случае не раздражая его, создавать все же художественные фильмы, и иногда это удавалось, хотя реакция вождя народов всегда была непредсказуема. Был только один режиссер, который действовал наверняка и твердо знал, что за каждый новый фильм он получит Золотую медаль лауреата Сталинской премии первой степени. Это был когда-то далеко не бездарный Михаил Чиаурели, который на все лады, не останавливаясь перед самой наглой фальсификацией и безудержной лестью, воспевал своего кумира (фильмы «Клятва», "Падение Берлина", "Незабываемый 1919 год").

Но вот прошли два с небольшим года после того, как великий вождь умер, набальзамированный труп его был помешен в мавзолей рядом с телом Ленина, и на фронтоне мавзолея к слову «Ленин» было добавлено слово «Сталин». Верхушка пирамиды кровавой тирании была скошена смертью. Это сказалось во многих областях. Фильмов, например, стали делать больше и на запрет или выпуск их на экран уже недостаточно было движения пальца или брови одного властителя.

Растерявшиеся киночиновники, от мнения которых внезапно стало что-то зависеть, к чему они не были приучены, которые пуще смерти боялись ответственности, вынуждены были

допускать к кинопроизводству и молодых…

Так или иначе, жена была далеко, и я позвонил моим друзьям, супругам Свете Корытной и Яше Харону. Попросил их купить побольше цветов, коробок конфет и тортов и приехать завтра утром ко мне. Бешеные старики-вахтеры все равно не выпустили бы меня с территории больницы за покупками. Потом я позвонил нашему экспедиционному фотографу Андрею Петренко и попросил его, захватив Харонов, приехать за мной на моей машине…

До самого закрытия корпуса бродил я по аллеям больничного сада, возбужденный мыслью о предстоящей завтра выписке. Пришел я и к моргу. Там, оказалось, есть еще совсем другая дверь, которая была широко раскрыта и вела в довольно большую комнату. В центре ее на пьедестале стоял гроб с телом Ардальона Ардальоновича, окруженный многими венками цветов. Я подошел к гробу и поклонился Ардальону Ардальоновичу. Потом поцеловал руку его дочери и вернулся в сад, пройдя мимо довольно большой группы людей, в основном молодых…

Когда я вернулся в корпус, двери уже запирали. Все койки в нашей палате были снова заняты. Послеоперационные новички из числа жепеэшников хрипели и стонали, еще не прийдя в себя от наркоза. Я лег на койку, и передо мной с беспощадной ясностью сменяя друг друга, вставали сцены из рассказанного мне Павликом и Марией Николаевной. Понимая, что так, да еще под хрипы и стоны, я всю ночь не усну, я попросил Галю сделать мне укол понтапона и решил думать совсем о другом — о моих друзьях, которые должны были наутро забрать меня из больницы.

Впрочем, и их судьба была не из легких. Остроумный изящный Яков Евгеньевич Харон окончил Берлинскую консерваторию. Он жил в Германии с родителями, работавшими в нашем торгпредстве. Сразу по окончании консерватории вернулся в Москву, стал работать на Мосфильме звукорежиссером с такими мастерами, как Г.Рошаль, В.Строева, Е.Дзиган, И.Пырьев и др. Его талант, любовь и преданность искусству кино, понимание специфических особенностей киноязыка, позволяли ему создавать сложные звуковые образы, навсегда вошедшие в историю кино, например, щемящий звук струны летящей в море гитары, расстрелянной вместе с группой моряков в фильме "Мы из Кронштадта".

Яша покорил всех молодостью, изысканностью манер, юмором и даже некоторым снобизмом. В 1937 году он был арестован. После неправдоподобных по зверству, извращенности и жестокости пыток ОСО дало ему 10 лет как немецко-фашистскому шпиону. В лагере он встретился с инженером Юрой

Вейнертом, таким же, как он «шпионом», также получившим 10 лет — тогда еще больше не давали. Встав над страшными условиями существования, друзья придумали мифического французского поэта Гийома дю Вентре (от Георгия Вейнерта), очевидца и одну из жертв Варфоломеевской ночи, лихого гасконца, друга Агриппы д'Обинье и самого Генриха Наваррского. От имени этого поэта они сочиняли на смешливые и гневные, любовные и саркастические сонеты. Многие из лирических сонетов были посвящены маркизе Л., т. е. Люсе, любимой девушке Юры, работавшей тогда в ВТО.

Путем, неведомым властителям, но испокон века существующем для гонимых, томик стихов Гийома дю Вентре попал к нам из бесовского царства концлагерей. На обложке изящно оформленного томика было написано: "Гийом дю Вентре. Злые песни Сонеты. Перевод со старофранцузского Г. Вейнерта и Я.Харона. Chalon sur Marne — Комсомольск-на-Амуре". В предисловии излагалась краткая биография поэта, описывались бесчинства Лиги, Варфоломеевская ночь, изгнание и т. д. Сообщалось о трудностях перевода со старофранцузского, приводилась строфа на старофранцузском и различные варианты ее перевода. Был помещен портрет автора в шляпе со страусовым пером, с локонами, падавшими на плечи — искусная дорисовка фотографии Юры. Далее шли 64 сонета, позже их стало 100. О них, да и подробно о судьбе авторов, надо писать особо. Если Бог даст мне силы, я надеюсь это сделать. Пока же ограничусь самыми краткими сведениями. Эпиграфом ко всему сборнику сонетов можно было бы поставить строфу из одного:

Что когти филина орлиным крыльям?
Не раздробить морским валам гранит!
Так мысль моя над смертью и Бастилией
Презрительное мужество хранит.

… Стремясь попробовать облегчить страшную участь Яши и Юры, мы давали почитать сонеты не только друзьям, но и разным писателям, имеющим вес в официальном мире. Среди отдавших должное блестящему гасконцу были К.Симонов, известный шекспировед Морозов и даже Илья Эренбург. Однако на все просьбы помочь узникам, поклонники их творчества только беспомощно разводили руками. Поэт Николай Адуев, единственный из всех, сказал: "Я всю жизнь занимаюсь историей французской литературы эпохи Лиги и Варфоломеевской ночи. Не было такого поэта Гийома дю Вентре. Это мистификация, но мистификация блестящая по таланту и вкусу."

Однако и Адуев ничем не мог помочь — у него самого дела тогда шли не блестяще.

В 1947 году, отсидев полные 10 лет, Яша и Юра вернулись в Москву. Юра женился на Люсе, ждавшей его все эти годы. Яша снова стал работать в кино и прожил какое-то время у нас, хотя был лишен права проживания в Москве и вынужден был уехать на Свердловскую киностудию.

Через полгода они оба были снова арестованы. После этого беременная Люся умерла, а Юра, узнав о ее смерти, бросился вниз головой в ствол шахты уже в лагере… Яша же после «следствия», заполненного в основной игрой со следователем в шахматы, получил бессрочную ссылку.

Он познакомился с одаренной, умной, хотя и до предела изможденной молодой женщиной, Светланой Корытной. Отец ее был одним из крупных партийных деятелей, другом Хрущева. Мать — Белла Эммануиловна, мягкая, обаятельная женщина, была сестрой известного советского военачальника, командира первого ранга Ионы Эммануиловича Якира, со второй половины тридцатых годов — начальника важнейшего в стратегическом отношении Киевского военного округа. В 1937 году был арестован и расстрелян Корытный, а вскоре и Якир вместе с Тухаческим, Егоровым, Корком и другими виднейшими советскими военачальниками. Заключили в тюрьму, а затем в лагерь и Беллу Эммануиловну. Четырнадцатилетнюю Стеллу также арестовали, временно поместили в детдом. Она потом побывала с перерывами в нескольких тюрьмах и лагерях и, в конце концов, была отправлена в вечную ссылку. Она познакомилась с Яшей. Они полюбили друг друга, хотя даже в официальном оформлении брака власть предержащие им отказали. Бесприютные, бесправные, истощенные долгими годами голодной жизни и муками, сознанием гибели самых близких людей, пытками, они любили друг друга неясно и преданно, может быть, особенно потому, что и это последнее прибежище их истомленных душ — их любовь, да и жизнь, в любой момент могла быть уничтожена палачами по злобе, по прихоти, а то и просто ненароком.

Но вот умер Сталин. Хрущев, стал первым секретарем ЦК (пост генерального секретаря был таинственно еще в 1952 году на XIX съезде КПСС уничтожен самой партийной верхушкой и восстановлен только при Брежневе). Хрущев, хорошо знавший и любивший Корытного, Якира, их семьи, наше Беллу Эммануиловну в каком-то из лагерей, нашел Стеллу. Их вернули в Москву, поселили на Первой Мещанской. В один из первых вечеров, когда мать и дочь еще даже не пришли в себя от радости

встречи после долгой разлуки, приехал к ним в гости Хрущев. Провел у них весь вечер, пили чай, вспоминал Корытного и Якира, говорил, что разыщет вдову и сына Якира, мыкавшихся где-то по лагерям, и горько плакал, вспоминая погибших друзей. Он сказал Стелле:

— Никто не может заменить тебе отца. И я не смогу. Но если что, ты давай, обращайся ко мне.

Еще не пришедшая в себя Стелла ограничилась благодарностью. Но через несколько дней, помня о любимом, она, с трудом дозвонившись Хрущеву, сказала, что хочет его видеть по важному делу. Хрущев велел ей немедленно приехать. В просторном кабинете он усадил ее в кресло и спросил в чем дело. Стелла, запинаясь, стала рассказывать ему о своей любви, о судьбе Яши, о том, что он не может приехать из ссылки, о том, что он ни в чем не виноват… Тут Хрущев побагровел от гнева, ударил кулаком по столу и закричал:

— Там не было и нет виновных, там только несчастные! Лучше скажи мне фамилию, имя и где находится.

Через несколько дней Яша, полностью реабилитированный, был с чистыми документами в Москве. И почти сразу же познакомил нас со Стеллой, с которой мы тут же подружились. Она попросила, чтобы мы называли ее Светой, а то Стелла слишком торжественно. В дальнейшем рассказе я и буду так ее называть. Вскоре они в ЗАГСе оформили свой брак, что мы и отметили бутылкой шампанского и тортом. Потом я сказал Яше:

— Дай мне рубль.

Он вытащил из кошелька трояк, но мне нужен был именно рубль. Порывшись, Яша достал требуемую кредитку и спросил:

— Зачем тебе?

— У меня, понимаешь, есть отличный путеводитель по Парижу, изданный в Петербурге в 1913 году. Он начинается с раздела "Как поехать в Париж". И первая фраза там такая: "Если Вы хотите поехать в Париж, позовите дворника и дайте ему рубль. Он сходит в полицейскую часть и принесет паспорт для поездки за границу".

— Так ты что, хочешь отправить нас со Светкой в Париж? — усмехнулся Яша.

— Пока нет, но надо соблюдать традиции и устроить свадебное путешествие. Пошли, сядем в нашу «Победу», и я вас покатаю.

Молодые супруги обрадовались. Я действительно возил их по Москве и Подмосковью, останавливаясь в наиболее живописных местах… Света и Яша потом говорили мне, что это

было замечательное свадебное путешествие.

Жизнь каждого из них оборвалась в разное время трагически и страшно. Но тогда еще их дом стал центром притяжения многих хороших, удивительных людей, и сами они были совершенно счастливы. Теперь, в той самой потрепанной уже «Победе», приехали они утром в Басманную больницу и остановились перед урологическим корпусом. За рулем сидел, как я и просил, наш экспедиционный фотограф Андрей Петренко, бабник и сибарит, но мастер на все руки, даже чемпион Молдавии по мотогонкам, легкий и приятный в общении человек. Он отпросился у моего заместителя на десять дней в Москву для выяснения каких-то сложных взаимоотношений с женой.

Я вышел к машине, взял одежду и сувениры, вернулся в палату. Скинул больничные доспехи, переоделся. Потом роздал коробки конфет санитаркам и сестрам и пошел в ординаторскую. Профессора Дунаевского не было — его опять вызвали куда-то на консультацию. Раиса Петровна покраснела, когда я поблагодарил ее и преподнес цветы. Потом я подарил букеты Марии Николаевне и Гале, вложив в каждый записку с моим адресом и телефоном.

Попрощался с Кузьмой Ивановичем, пожелал ему скорейшего выздоровления. Обнялся с Владимиром Федоровичем. Обнял я и Тильмана и сказал:

— Спасибо за все, Марк Соломонович!

— Тебе спасибо, Гришенька, — печально ответил старый сапожник, видимо вспомнив, что эти слова слышал недавно от другого человека. — Как только меня выпишут, я приеду к тебе. Видит Бог, мы еще встретимся и услышим, как милосердие и премудрость возвысят голос свой в домах, на площадях и на улицах, в городах, селах и на дорогах. Вот только он не услышит. Это был золотой мальчик, Гриша, и он был великий мученик. Мне стало без него совсем зябко. Знаешь, какое мое еврейское счастье: в начале лета сорок первого я оправил семью на отдых в Белоруссию к родственникам. Ни один из них не вернулся, а вот теперь…

Я подошел к окну. Возле него стояла койка, на которой умирал Павлик. Я положил на подоконник большой букет цветов и вышел в сад. Расцеловался с Марией Николаевной и Галей, которые пошли меня проводить, сел в машину. Мы выехали за ворота Басманной больницы "в мир, открытый настежь бешенству ветров…" Как мы ждали тогда первых порывов этого ветра, предвестника очистительной бури…

Всполохи все более частых, приближающихся зарниц в разных частях небосклона помогали верить, что это неотвратимо.

Пусть не навечно, пусть с перерывами, но все равно неотвратимо…

Прошло несколько дней и, вызванный срочной телеграммой, с еще не зажившим полностью швом, я вылетел в экспедицию.

Июль 1955 — апрель 1987

Брусчатка

Я приехал в Вильнюс летним погожим днем 1968 года в приподнятом настроении, хотя совсем не легкой и не простой была для меня эта командировка. Сделав намеченные на тот день дела, зашел на Краковскую улицу к дорогому другу — Нехаме. Она была все такая же красивая, но побледнела и осунулась. Впрочем, мы оба так обрадовались друг другу, что вскоре она разрумянилась, оживилась. С трудом подавил я ее стремление накормить меня всеми деликатесами еврейской кухни, хотя все-таки кое-каким из них отдал должное, и мы, развалившись в креслах, принялись непринужденно болтать.

Мы виделись в последний раз два года тому назад в Москве на ее концерте в зале имени Чайковского и после концерта у нас дома.

Нехама пела без микрофона. Ее то звенящий, то гибкий, то бархатистый голос завораживал зал, битком набитый публикой.

Я совершенно не знаю еврейского языка, как и многие сидевшие тогда в зале, но все было и так понятно. Скитания, несчастья, обиды, гибель, неутешная скорбь, но сквозь все это, причудливо вплетаясь, звенел смех — неудержимый, удалой, отчаянный. С каждой новой песней крепли невидимые нити, связывающие маленькую женщину в белом на сцене и зал. А когда Нехама запела любимую людьми всех национальностей "Хава нагила", ее подхватил весь зал. Кто подпевал, кто отбивал ритм ладонями или каблуками. А потом были поздравления, цветы, шампанское…

— Много у тебя было концертов за эти два года? — спросил я.

— Ни одного, — со спокойной грустью ответила Нехама.

— Почему? — поразился я.

— Разве ты не знаешь, — усмехнулась Нехама, — что лучший способ сохранить певца, — это заставить его замолчать?

Да… все к тому и шло. Погодя, я спросил:

— Я завтра с утра свободен. Можно зайти к тебе?

— Конечно, — оживленно отозвалась Нехама, — я покажу тебе достопримечательности Вильнюса.

— Вот как! — засмеялся я. — Да ты еще пешком под стол ходила, когда я в сороковом и в сорок первом служил здесь в армии. Лучше скажи, как старый город, улица Иезуитов и соседние улицы?

— Весь этот квартал снесен, — спокойно ответила Нехама, — там построены новые дома, разбиты скверы. Жизнь идет.

Да, конечно, жизнь идет, но сердце у меня сжалось.

— А музей гетто? — напряженно спросил я.

— Его больше нет, — все так же спокойно ответила Нехама.

— А рисунки? Нехама пожала плечами:

— Они исчезли. Впрочем, говорят, что несколько штук уплыли за океан. Хочешь кофе?

Я утвердительно кивнул. Нехама отправилась на кухню, а на меня нахлынули воспоминания.

В старый город с узенькими улочками и подслеповатыми домами мы с женой и актером Зускиным попали вскоре после окончания войны. Во время немецкой оккупации нацисты обнесли здесь небольшой участок колючей проволокой, поставили вышки с пулеметами, охрану с овчарками и устроили еврейское гетто. Восемьдесят тысяч человек оказались скученными на пятачке в ужасающих условиях. В зловонном аду, в который вскоре превратилось гетто, был только один двор. На глухих желтых стенах окружавших его домов национал-социалисты приказали черной краской нарисовать мощных атлетов, упражняющихся на кольцах, брусьях, других гимнастических снарядах, сделать надписи на русском и еврейском языках: "Занимайтесь физкультурой!", "В здоровом теле — здоровый дух" и тому подобное. Сюда матери приводили детей, чтобы они могли здесь подышать хотя бы чем-то, напоминающим воздух. Но в этот же двор выходили зарешеченные окна полуподвальной тюрьмы, откуда день и ночь слышались крики и стоны истязуемых. Из этой тюрьмы был только один путь: в Понары — железнодорожную станцию в предместье Вильнюса, в районе которой нацисты создали на огороженном пространстве место бойни для десятков, а, может быть, и сотен тысяч евреев, доставленных сюда из ближних и дальних мест Европы, в том числе и из вильнюсского гетто. Привезенных ставили на колени на краю рвов, стреляли в затылок или просто убивали ударами железных палок. По мере заполнения рвов вырывали новые. Впрочем, — случалось, привезенных просто бросали под колеса проходящих поездов, приказывая машинистам не только не тормозить, но и не замедлять хода. Все это с огромной болью описал очевидец — выдающийся польский писатель, ученый и публицист Юзеф Мацкевич в документальном очерке "Понары — База", опубликованном впервые в Риме в польском журнале "Ожел Бялы" в 1945 году, а затем в книге "От Вилии до Изара", вышедшей в 1992 году в Лондоне в издательстве "Overseas Publications Interchange Ltd".

После изгнания нацистов в одном из домов, окружавших двор, был устроен музей гетто. Когда мы втроем, моя жена,

Зускин и я, пришли в этот двор, рисунки и надписи на стенах были еще совсем свежими. Видно, их не раз заставляли подновлять. Только кое-где их подпортили оспинки и щербинки от пуль и осколков.

В музее, среди кандалов, орудий пыток, фотографий, все кричало, все было тем, что великий немецкий гуманист нашего столетия Альберт Швейцер называл "братством боли".

Самыми душераздирающими были рисунки одного из участников — мальчика, попавшего в гетто десяти лет от роду. Он прожил немыслимо долгую жизнь для обитателя гетто — целых два года. Видно, дорожили им и его искусством обреченные, оберегая его ценой собственных жизней — другой цены в гетто не было — от голодной и холодной смерти, от рук палачей.

Все эти два года мальчик рисовал много, исступленно. Он рисовал гетто, рисовал то, что видел вокруг. Рисовал углем на обрывках газет, бумаг и обоев, рисовал карандашом, а несколько рисунков — каким-то чудом, — даже акварелью. Портреты узников гетто. А вот целая картина «Выбраковка». Прямо на мостовой в старинном резном кресле сидит в форме СС пожилой офицер с утомленным лицом. К нему тянется очередь обреченных, облаченных в лохмотья призраков без пола и возраста. Офицер легким движением руки показывает — направо или налево. Ясно, что тем, кому направо, один путь — в Понары, а кому налево — можно еще какое-то время гнить в гетто. А вот и автопортрет мальчика на фоне синих и черных небес. Тонкое библейское лицо, огромные, видимо черные, глаза, вобравшие в себя последние взгляды множества людей…

Неподалеку от гетто находился францисканский монастырь. Его величественный строгий серый собор стоит и сейчас, скрывая немалое количество тайн. Я был знаком с настоятелем монастыря, и некоторые из этих тайн он мне раскрыл. (Кстати, советские власти пощадили здание монастырского собора, но взорвали еврейскую синагогу XII века в Вильнюсе — одну из старейших в Европе, на что не решились даже нацисты.)

Гитлер не жаловал христиан. Недаром, вскоре после прихода к власти в апреле 1933 года он публично заявил в Рейхстаге: "Или христианин, или немец, нельзя быть одновременно и тем и другим."

Особенно недолюбливал он католиков, в частности францисканцев, прижимал их, но расправиться на свой манер опасался, тем паче в католической, упрямой Литве, твердой в вере.

Отец-настоятель происходил из старинного польского

аристократического рода, окончил Ягеллонский университет в Кракове, Оксфорд и Духовную академию в Риме. Ему претил "новый порядок", установленный гитлеровцами, он не одобрял их цели и методы. Кроме того, братья- францисканцы были смиренными служителями Бога — Бога, но не дьявола. В противовес конвейеру смерти, устроенному нацистами, они, под эгидой своего настоятеля, создали конвейер жизни, конвейер спасения. Выкрадывали людей из гетто и советских военнопленных из лагеря, переправляли их в безопасные места или скрывали у себя в монастыре. Хотели они спасти и мальчика, но не успели. В который уже раз руки убийц оказались проворнее рук спасителей. Но рисунки мальчика монахи заполучили, сохранили и передали в музей гетто. Об этом мне рассказывал не только настоятель, но и один из спасенных, выкраденных из гетто. Еврей по национальности, физик-теоретик по профессии, он был спрятан в монастыре, принял католичество, а затем и постриг, и разделил с остальными монахами их судьбу. Отец-настоятель вместе со своей братией тщаниями генералиссимуса через несколько лет после войны принял мученический венец..

…Мы долго рассматривали рисунки мальчика. А Зускин, знаменитый шут в трагедии Шекспира "Король Лир", поставленной в Еврейском театре на Малой Бронной в Москве, в жизни неистощимый выдумщик, не нашел тогда никакой, даже самой немудрящей шутки, чтобы хоть как-то сдержать волнение. Он плакал, и плакал навзрыд. Может быть, предчувствовал, что в сталинских застенках его участь будет еще страшнее, чем судьба мальчика. Во время "борьбы с космополитизмом" Зускин с тяжелым нервным заболеванием был помещен в больницу, где его в лечебных целях надолго усыпили. Спящего его взяли "сталинские соколы" и перевезли на Лубянку, откуда он не вышел…

На другое утро, как и условились, я пришел к Нехаме. Она уже ждала меня у подъезда, улыбнулась своими карими с зеленым просверком глазами, предложила сесть в машину. Мы поехали, и я сказал даже с некоторой досадой:

— Ты, я вижу, все-таки решила показать мне достопримечательности Вильнюса, так я их знаю лучше тебя.

— Того, что я тебе покажу, ты еще не видел, — тихо отозвалась Нехама.

Мы приехали на одну из окраин, куда уже наступал город бетонными рядами своих безликих Черемушек. Оказались у старого еврейского кладбища. Чугунные ворота его были повержены. Возле них находилось какое-то хлипкое сооружение, обитое фанерой, на двери которого висела бумажка с надписью

на литовском и еврейском языках: "Изготовление памятников "и советы.

Я подумал о том, что памятник мне ни к чему, а вот хороший совет очень не помешал бы, но войти не решился.

На кладбище было шумно. Сверкая огромными стальными ножами, натужно ревя, разравнивали площадку бульдозеры, рыли котлован зубастые экскаваторы. Молодые машинисты работали весело, азартно, с огоньком. Трескались под гусеницами и превращались в осколки каменные надмогильные плиты, в перевернутых пластах оранжевой глины кое-где чернели пятна земли или праха, копошились толстые жирные личинки майских жуков, кое-где виднелись трухлявые кости. Скрежетали гусеницы о камни, рычали моторы, сыпались из ковшов экскаваторов комки глины, в горячем воздухе стояла густая сладковатая пыль. Пахло соляркой, разогретым металлом, машинным маслом, каким-то тленом. В стороне лежал штабель из целых могильных плит, видимо, имеющих особое предназначение.

По кладбищу, чудом не попадая под гусеницы бульдозеров, бродили, казалось, совершенно бесцельно, какие-то старые евреи с пейсами и. что-то невразумительно бормотали. Некоторые из них, несмотря на теплый день, были облачены в длинные, на лисьем меху, крытые сукном шубы, в полах которых они то и дело путались. Они словно сошли со страниц книг Шолом Алейхема и, потерянные, невесть что делали здесь.

От едкой пыли, густых запахов, от этих бродячих теней мне стало душно, стало плохо, и я взмолился:

— Уедем отсюда!

— Хорошо, — каким-то странным тоном сказала Нехама.

Мы выехали из города и, проехав минут двадцать, остановились на довольно крутом подъеме. Внизу посверкивал медлительный Нерис. За рекой простирались заливные луга, откуда тянуло запахом свежей травы и полевых цветов. Вдали синел лес. Я с наслаждением вдыхал свежий, душистый воздух.

Через некоторое время обернулся к Нехаме. Она каким-то напряженным, загадочным взглядом глядела на каменную брусчатку, которой было вымощено шоссе. Я тоже стал всматриваться и чуть не вскрикнул. Бруски были сделаны из надмогильных плит еврейского кладбища. То там, то здесь попадались на брусках обрывки клинообразных надписей.

— Что здесь написано? — хрипло спросил я у Нехамы, указывая на один из брусков.

— "Сара, дочь…", а чья дочь, неизвестно, дальше отбито, — безучастно ответила Нехама.

— Это шоссе делали нацисты? — с какой-то нелепой

надеждой спросил я, уже догадываясь об ответе.

— Дорогу закончили мостить в этом году, — также безучастно ответила Нехама.

Мы довольно долго молчали, а потом я пробормотал:

— Хоть бы они клали камни надписями вниз…

— Им было все равно, как класть, — каким-то потухшим, помертвевшим голосом сказала Нехама, — а те, кому было не все равно, клали надписями кверху.

* * *

Я пишу эти строки почти четверть века спустя после того, как закончил «Брусчатку». С тех пор Россия все глубже погружается в липкую вонючую трясину антисемитизма. Продолжается осквернение еврейских кладбищ и синагог, совершаются поджоги еврейских квартир, избиения и убийства евреев и евреек, детей и взрослых, призывы к еврейским погромам, мерзкие клеветнические антисемитские выпады в книгах, журналах и газетах, выпады, в которых самое активное участие принимают даже известные и в прошлом не бездарные писатели, такие как Бондарев, Белов, Распутин. Ответственность за нынешний разгул антисемитизма несут и властители России, ни разу не выступившие прямо против этого порождения дьявола, а также высшие иерархи русской православной церкви, никак не прореагировавшие, например, на чудовищное убийство православного священника, талантливейшего христианского писателя и проповедника отца Александра Меня — этнического еврея.

Всякие «памятники» все более наглеют, все сильнее вооружаются, готовятся к погромам и к захвату власти. Они мечтают заменить наш российский бело-сине-красный флаг своим — черно-красно-коричневым. Им претит христианство. Как они хотели бы заменить его некоей, подходящей к их зверовидной «психологии» религией. Не поленилась, чтобы получить у меня консультацию на этот счет, приехать ко мне на дачу и некая активистка национал-социал-патриотической «Памяти». Очень ей хотелось получить на вооружение для своей организации древнерусское язычество. Я, давая ей вполне добросовестные разъяснения, очень разочаровал ее, но можно быть уверенным в том, что подобные попытки поисков в российской истории некоей альтернативы христианству, несмотря на их полную

бесперспективность, будут продолжаться. И это в то время, как во всем мире все большую силу набирает экуменическое движение, причем даже выходящее за рамки христианства и охватывающее все цивилизованные религии.

Так что, будем сидеть сложа руки? Или все-таки последуем примеру Куприна, Короленко и многих других подлинно русских писателей и общественных деятелей?

Аллея под клёнами

Посвящается Илье Габаю

Мы сидели с ним у костра в самом центре экспедиционного лагеря. Остальные сотрудники экспедиции давно уже спали. Костер постепенно затухал, становилось темнее. Все теснее обступали нас деревья и строгие силуэты палаток. Лицо его едва различалось. Только когда он помешивал хворостиной уже покрывавшиеся темной коркой угли, на мгновение вспыхивали и тут же потухали стекла его очков.

Оставалось всего несколько часов до подъема. Пора, давно уже пора было разойтись по своим палаткам, но я все медлил. Он лее, наверное, из-за обычной своей деликатности не решался уйти от костра первым. А может быть, мы оба предчувствовали, что скоро расстанемся, и я дорожил каждой минутой, которую мог провести с ним, каждой возможностью поделиться тем, что волновало.

— Скажи, — спросил я, — случалось ли тебе бывать в Москве на старинном Введенском кладбище?

— Нет, — с некоторым удивлением ответил он и осторожно спросил: — А что?

— Там находится могила доктора Гааза. Она помещается по правую сторону центральной аллеи, если идти от главного входа.

Каждый раз, навещая могилу отца, я, хоть на короткое время, подхожу и к этой могиле. Все необычно здесь. Необыкновенный человек погребен под чугунной оградой. Необыкновенной была его жизнь, целиком посвященная любимому делу. Необычны и могила его, и судьба этой могилы.

За оградой мраморный темный постамент. На нем обелиск из грубо обработанного серого гранита, который венчает черный мраморный крест. В центре обелиска надпись на латинском языке. В переводе она звучит так: "Фридрих Иосиф Гааз. Родился 10 августа 1780 года. Скончался 16 августа 1853 года". Ниже, на мраморном постаменте надпись уже на русском языке:

"Спешите делать добро". Ф.П.Гааз.

Черные чугунные перила ограды перевиты тяжелыми железными цепями с кандалами на концах. Это настоящие цепи и настоящие кандалы…

Фридрих Гааз в течение двадцати четырех лет, с 1829 по 1853, был главным московским тюремным врачом. Все свои медицинские познания, всю теплоту своего сердца он

отдавал заключенным, стремясь облегчить их страдания. Сострадая им, Фридрих, или, как его называли все в Москве, Федор Павлович, "святой доктор", "божий человек", посвящал им не только все свое время, помыслы и заботы, но и раздавал им свое жалованье и вообще все, что имел. Целые годы потратил доктор на то, чтобы добиться отмены этапирования заключенных в Сибирь в тяжелых кандалах. За долгие недели, иногда месяцы этапа, закованные в эти кандалы заключенные не только испытывали неимоверные физические и нравственные страдания, но многие из них даже умирали от заражения крови из-за кандалов, нестерпимо затиравших кожу.

Бесстрашно вступив в борьбу с всевозможными тюремщиками, далее министрами, Гааз в конце концов добился смягчения этого варварского правила, чем облегчил страдания и спас жизнь множеству людей.

Федор Петрович выполнял свой долг человеколюбия, постоянно сталкиваясь с чудовищной тупостью и равнодушием бюрократической системы, с плохо скрытой ненавистью к нему, как к беспокойному человеку и к «иноземцу». Еще бы — немец, католик! Так относились к нему многие представители высшего духовенства и другие "истинно русские" столпы самодержания.

Он оставался верен себе и своему святому дело до последнего вздоха. После его смерти бывшие пациенты соорудили эту могилу с ее торжественным и мрачным убранством и вырезали на постаменте любимое изречение доктора: "Спешите делать добро".

Скончался Федор Петрович в 1853 году, вот уже более 120 лет назад. Давным-давно умерли не только самые молодые из его пациентов, но даже и их дети.

Но вот диво дивное! Свыше 20 лет ежегодно прихожу я на могилу отца. Случается бывать на этом кладбище и когда хоронят здесь близких мне людей. Всякий раз хоть на минуту подхожу я к могиле Федора Петровича Гааза. И всегда, всегда убрана могила живыми цветами, и, словно только что начертанная, горит надпись: "Спешите делать добро".

Костер совсем догорел. Мой друг, ни разу меня не прервав, еще некоторое время молчал. Потом я услышал его голос:

— Вы не пытались узнать, кто приносит цветы на могилу доктора?

— Пытался. Даже спрашивал у женщины, кото рая охраняет этот участок кладбища. Знаешь, что она мне ответила? — "Такие же люди, как вы".

— Она сказала так потому, что вы тоже стали приносить цветы на эту могилу? — не то спросил, не то догадался он.

Я подтвердил. А он, поэт и филолог, обладая сложным ходом

литературных ассоциаций, задумчиво добавил:

— Люди типа Гааза — это вечное чудо. Чудо великодушия и самоотверженности, к которому нельзя же, согласитесь, взять и обязать человека. Кажется мне сейчас или это неверное ощущение, что в "Былом и думах" — в одной из любимых мной в последние два года книг — взята какая-то невольно снисходительная интонация по отношению к Гаазу. Да это, должно быть, и естественно: масштабные крупные фигуры как-то заслоняют такие нешумные дела людей, вроде бы поменьше. Даже слово есть «филантропия». Но ведь слово это в действительности многозначно. Надо, справедливости ради, отметить и то, что за прошедшие 120 лет, я сужу чисто эмпирически, некоторые врачи более «строго» относятся к своим обязанностям. Вы рассказали о могиле, и я подумал, что можно закоснеть и в антидогме, антикульте. Я так неприязненно относился всегда к мемориалу — и имел в последние годы поводы убедиться в беспочвенности своей предвзятости. Ваш пример — после дома на Мойке потрясшего меня как-то, — велик и убедителен.

В полной темноте мы молча встали и направились каждый к своей палатке. УХОДЯ, я уносил с собой чувство неразрывной духовной связи с ним, связи, которой, может быть, суждено пережить нас обоих.

Послесловие

"Нас все обмануло, и средства, и цели, но правда все то, что мы сердцем хотели", — писал Наум Коржавин об этом поколении.

Георгий Борисович Федоров (ГэБэ) родился в 1917 году — символическом для советских людей. Его сверстников называли "ровесники Октября", и им полагалось этим гордиться. ГэБэ однако неизменно повторял, что он родился 15 мая, когда во главе Временного правительства еще стоял приличный человек — князь Львов.

Большевики призывали, не щадя сил, строить первое в мире государство рабочих и крестьян на развалинах старого мира. То, что старый мир был разрушен до основания, ГэБэ испытал на самом себе: из-за голода и разрухи в Петрограде, где он родился, он начал ходить только в три года. Его отец, преподававший латынь и русскую литературу в классической гимназии до революции, не мог прокормить семью и вывез жену и детей под Рязань, в имение Корзинкино, чудом не разграбленное окрестными крестьянами. Потом семья переехала в Москву и поселилась на Тверской улице, в доме водочника Смирнова, напротив бывшего Елисеевского магазина. Впоследствии этот дом был снесен.

В 1935 году был заново открыт исторический факультет МГУ, куда ГэБэ и поступил сразу после школы. Вскоре «развенчали» Покровского, имя которого носил университет; были арестованы наиболее почитаемые педагоги — профессора с дореволюционным стажем, а также Бухарин и Радек, которые там тоже преподавали.

В эти годы ГэБэ решил стать археологом. Он любил говорить шутя: "Все, что происходило в России после XVII века меня не интересует". Но, прочитав эту книгу, мы видим насколько лее он жил современностью…

По окончании Университета, в 1940-м году, ГэБэ тут же призывают в армию. Его часть находилась в Прибалтике; этот период он описал в рассказе "Записки оккупанта". В начале войны ГэБэ был тяжело контужен и парализован. После госпиталя и демобилизации он вернулся в Университет и был зачислен ассистентом на кафедру археологии, которую возглавлял профессор А.В.Арцеховский — знаменитый ученый, первый обнаруживший берестяные грамоты во время раскопок в Новгороде. Потом эвакуация с Университетом в Ашхабад. Там ГэБэ участвовал в раскопки городища Таш-Рабат (Данданкан) в Каракумах.

После окончания войны ГэБэ возглавлял археологические экспедиции в России, Литве, Молдавии, Украине и Румынии. Его узкой специальностью была медиевистика, но круг его научных интересов был значительно шире и включал все первое тысячилетие н. э. Его докторская диссертация была посвящена этому периоду в истории Прутско-Днестровского междуречья. Им опубликовано более 200 научных трудов. Его научные открытия вошли во все энциклопедии мира. Так, он нашел, раскопал и исследовал десятки поселений вдоль Днестра, принадлежавших древнерусскому племени тиверцев, упомянутому в летописях. До этих открытий ГэБэ, поиски тиверцев продолжались безрезультатно более ста лет.

Автор множества повестей и рассказов (первый из которых, "В лесном селе", был напечатан в "Новом мире Твардовского), он стал членом международного ПЕН-клуба.

У него в экспедиции в разное время работали землекопами только что вернувшиеся из лагерей поэт Наум Манд ель (Коржавин), сценаристы Валерий Фрид и Юлий Дунский; изгнанный из института археологии АН СССР в разгар антисемитизма Михаил Рабинович; исключенный из партии за книгу "1941. 22-е июня" Александр Некрич; известные диссиденты Илья Габай, Вадим Делоне, Вера Дашкова; правозащитник и поэт, доктор физико-математических наук Гера Копылов и другие. Это спасло многих из них от преследований по обвинению в тунеядстве.

ГэБэ не раз вызывали на допросы, устраивали обыски в квартире. Все это не могло не отразиться на его здоровье, стоило ему нескольких инфарктов, но он никогда не терял оптимизма и юмора. Прекрасный рассказчик, он заставлял слушателей смеяться и плакать; его обаяние, интеллигентность и эрудиция никого не оставляли равнодушными. Поражало его блестящее знание русской литературы и поэзии: часами он мог читать стихи наизусть.

Мы познакомились в канун 45-го года. В мае, сразу после окончания войны, я была зачислена фотографом в его экспедицию в Новгород, где ГэБэ вел раскопки около взорванного в войну храма Спаса на Нередице. С тех пор мы практически не расставались и прожили вместе почти полвека — до 7 февраля 1993 года, дня его скоропостижной кончины в Лондоне. Мы похоронили ГэБэ на кладбище Ганнерсбери. На надгробном камне начертано: "Он всегда спешил делать добро", ведь призыв доктора Гааза — человека поразительного благородства, о котором рассказал нам ГэБэ в новелле "Аллея под кленами" — он сделал принципом всей своей жизни.

Не раз поэты посвешали ему стихи. Вот строчки из стихотворения Александра Седова:

"… Видно, — от бесчисленных обид,
нанесенных разуму неволей,
сердце археолога болит!
Но опять любовь сильнее боли.
Он с улыбкой: он не побежден
подлостью, болезнями… При этом —
как друзьям помочь умеет он
пониманьем, шуткой и советом,
в тайниках души спасти опять
от наносов века слой за слоем
и "дневной поверхности" отдать
вечное, бессмертное, святое…"

Марианна Рошаль-Строева

Публикация завершена 5 ноября 2007

notes

Notes